Сочинения

Э. ОРЖЕШКО

~~А8807~~ | 5570 ~~5134~~

0-65 | Оржешко, Э.

Собрание сочинений т. 2

Над Неманом т. 2 25р

Выдан	30 р.		~~40р~~
12/IX ~~Кулеша~~			1896 г.
3/X ~~Трисвятцкий~~			
13/X Мусятина			
21/X Киселева			

Г1861

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

263.24/4m

Колич. предыд. выдач _____

Собраніе сочиненій

Элизы Оржешко.

Томъ второй.

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій знаменитыхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія
собранія сочиненій:

А. С. Пушкина, подъ редакціей П. О. Морозова и В. В. Каллаша;
М. Ю. Лермонтова, подъ редакціей Арс. И. Введенскаго;
Н. В. Гоголя, подъ редакціей В. В. Каллаша;
И. А. Крылова, подъ редакціей В. В. Каллаша;
А. В. Кольцова, подъ редакціей Арс. И. Введенскаго;
А. Н. Островскаго, подъ редакціей М. И. Писарева;
Н. Г. Помяловскаго, съ біограф. очерк. Н. А. Благовѣщенскаго;
С. Т. Аксакова, подъ редакціей А. Г. Горнфельда;
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ автора;
Г. А. Мачтета, съ критико-біографич. очеркомъ и портр. автора;
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ автора;
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ автора;
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ автора;
С. В. Максимова, съ біограф. очеркомъ П. В. Быкова;
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ автора;
Георга Брандеса, съ предисловіемъ М. В. Лучицкой;
Элизы Оржешко, подъ редакціей С. С. Зелинскаго;
Чарльза Диккенса, со вступит. статьей Д. П. Сильчевскаго;
Гюи де-Мопасана, съ критико-біографическ. очеркомъ З. А. Венгеровой;
Эдгара По, съ критико-біографическ. очеркомъ М. А. Энгельгардта;
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями Ѳ. Д. Батюшкова и Е. В. Аничкова.

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

О-65

Собраніе сочиненій

Элизы Оржешко.

Съ портретомъ автора, автографомъ, біографіей и вступительной статьей.

Переводъ съ польскаго,

подъ редакціей

С. С. Зелинскаго.

Томъ второй.

Надъ Нѣманомъ.

Часть II-ая.

Дмитровская
Централизованная
Библиотечная система
Московской области

Библиотека завкома № 51
Катуаровского з-да инсп. упоров
МПС-СССР
Инвентарный №

Инв. №
Библиотека

С.-Петербургъ.
Типо-литографія Товарищества „Просвѣщеніе"
Забалканскій пр., соб. д. № 75.

Наш сборник начинается со статей Плеханова, разоблачающих замаскированные буржуазные атаки на марксизм, предпринятые в 1894—1895 гг. П. Вейзенгрюном и П. Эрнстом. П. Эрнст, одно время принадлежавший к немецкой социал-демократии и скатившийся впоследствии в лагерь фашизма, и в особенности П. Вейзенгрюн под видом «дополнений» к марксизму и освобождения его от мнимой «односторонности» сознательно искажали материалистическое понимание истории, пытаясь приспособить его для употребления «философов» реакционной буржуазии, на смерть перепуганных революционным движением рабочего класса.

Плеханов блестяще вскрывает всё скудоумие и лживость этих двух жалких кропателей буржуазной философии, показывая, что их широковещательные декларации об «усовершенствовании» марксизма и освобождении его от односторонности — не что иное, как повторение задов неокантианской философии, утверждающей, что «мы не знаем того, что есть, мы знаем только то, что нам к а ж е т с я вследствие данной организации наших органов чувств» (цит. по Плеханову, стр. 6 настоящего сборника).

В этих, к сожалению лишь частично сохранившихся, статьях Плеханов раскрывает, что ученые адвокаты эксплоататоров пытаются выдать кантианскую теорию познания за «единственно монистическую» и «преодолевающую ограниченность» материализма и идеализма, пытаются найти «философию, которая с преимуществом быть эклектической соединяла бы другое — не казаться таковой». К критике неокантианской теории познания Плеханов приступает в связи с распространением бернштейнианской ревизии марксизма в социал-демократическом рабочем движении в 1898—1899 гг.

Борьбе Плеханова с бернштейнианством посвящена вторая группа печатаемых в нашем сборнике материалов, начинающихся с лекции — «О мнимом кризисе марксизма», прочитанной Плехановым летом 1898 г.

Плеханов, вопреки примиренческой позиции Каутского и других теоретиков 2-го Интернационала, уже в этой лекции доказывает, что философский ревизионизм Бернштейна, К. Шмидта и др. представляет нападение на научный социализм в «его целом», что тем более опасно благодаря тому, что «критиков» бернштейнианского толка во 2 Интернационале считали марксистами и революционными социал-демократами, лишь только «дополняющими» и «уточняющими» якобы «устаревшее» учение Маркса — Энгельса.

Бумага безъ примѣси древесной массы



Оглавленіе.

Стр.

Глава X 1

„ XI 45

„ XII 99

„ XIII 153

„ XIV 239

„ XV 321

„ XVI 367

Глава X.

Янъ съ силой оттолкнулъ отъ берега лодку, выстланную вѣтками серебристаго тополя, и затѣмъ вскочилъ въ нее. Съ весломъ въ рукахъ, одѣтый въ короткую до колѣнъ сермяжку, обшитую зеленой тесьмой, въ шапкѣ до половины надвинутой на лобъ, онъ улыбаясь спросилъ свою спутницу:

— Удобно-ли вамъ?

— Превосходно, — отвѣчала она.

Душистое, зеленое сидѣнье дѣйствительно было очень удобно; бѣлое платье дѣвушки наполовину прикрывало его. Уже нѣсколько лѣтъ она ни разу не подумала надѣть это простое и дешевое, но свѣжее платье, кокетливо открывавшее ея шею и руки. Такъ же давно она не укладывала своихъ волосъ въ такую прическу, какъ сегодня. Черные волосы ея, зачесанные назадъ и открывающіе прекрасныя линіи ея низкаго лба, были свернуты плотнымъ узломъ на затылкѣ, слегка потемнѣвшемъ отъ загара. Было уже нѣсколько часовъ пополудни, когда она спускалась съ высокой горы и, остановившись на полдорогѣ, на небольшой площадкѣ, гдѣ, почти на одной линіи съ усадьбой Анзельма, росъ толстый вѣтвистый тополь, наклонилась и взглянула внизъ. Янъ, стоявшій внизу, на узкой полоскѣ песчанаго берега, замѣтилъ ее и высоко поднялъ шапку надъ своей свѣтло-золотистой головой.

— Здравствуйте! — звучно закричалъ онъ.

— А дядя? — спросила Юстина.

— Боленъ. Вчера, простившись съ вами, онъ ушелъ къ себѣ и заперся на крючекъ. Въ окно только видно, что онъ лежитъ на постели, прикрывъ глаза рукою, можетъ быть спитъ или только такъ глубоко задумался? Богъ его знаетъ.

Они медленно плыли вверхъ по рѣкѣ. Съ одной стороны высилась обнаженная, желтая стѣна, увѣнчанная неподвижнымъ боромъ, съ другой—подымалась высокая зеленая гора, на вершинѣ которой бѣлые и сѣрые дома околицы съ ихъ крылечками, сверкающими окнами и дымящимися трубами, точно нанизанныя на нитку бусы, показывались одинъ за другимъ изъ зелени могучихъ деревьевъ и прозрачныхъ рощицъ. Отъ каждой усадьбы сбѣгали къ рѣкѣ тропинки, которыя, извиваясь по всевозможнымъ направленіямъ, исчерчивали сѣтью бѣлыхъ линій весь неровный бугристый склонъ горы. Знойное солнце обдавало безконечную ленту рѣки потокомъ искръ, а тутъ и тамъ лучи его, преломлявшіеся въ волнахъ, пылали цѣлыми кострами ослѣпительнаго пламени. Иногда костры эти выбрасывали изъ себя короткіе снопы искръ, блѣднѣли и гасли, и тогда подъ нѣжнымъ рисункомъ мелкой зыби сквозили темныя отраженія плывшихъ по небу тучъ. Это не были тучи, предвѣщавшія близкую грозу или бурю, а скорѣе бѣлыя облака съ темной, вздувшейся серединой и расплывчатыми краями, безпрерывно мѣняющими свои очертанія. Низко и тихо ползли они въ душномъ, парномъ воздухѣ и, поминутно то открывая, то закрывая раскаленный дискъ солнца, создавали игру свѣта и неожиданныхъ тѣней. Тамъ, гдѣ рѣка далеко впереди лодки сворачивала за темный

боръ, тучи толпились, сливались и вставали на краю неба клубящейся темной стѣной съ серебристыми краями.

— Можетъ быть сегодня будетъ дождь или буря, — замѣтилъ Янъ, сидѣвшій наклонивъ голову на узенькой скамеечкѣ у самаго носа лодки и медленно раздвигавшій весломъ воду.

Между тѣмъ на высокой зеленой горѣ исчезли послѣдніе дома околицы, и сейчасъ же за ними гора обрывалась глубокой, сильно расширявшейся къ верху разсѣлиной, которая открывалась на рѣку исполинскимъ треугольникомъ далеко уходившихъ вглубь стѣнъ. Янъ движеніемъ головы указалъ Юстинѣ на оврагъ Яна и Цециліи съ его непроницаемыми зарослями, отливающими разнообразными оттѣнками зелени, испещренной яркими пятнами цвѣтовъ и ягодъ.

Юстина слегка приподнялась на сидѣньи, стараясь найти въ этомъ хаосѣ красокъ и линій старый памятникъ.

— Онъ такъ хорошо скрытъ отъ свѣта, что ни съ какой стороны его нельзя увидѣть, — сказалъ Янъ. — Только осенью, когда всѣ деревья и кусты уже потеряли листья, онъ смутно мелькаетъ передъ глазами того, кто тогда плыветъ по рѣкѣ. Не наскучило ли вамъ еще плыть?

Онъ разсказалъ, что къ могилѣ изъ Корчина и Богатыровичей ведутъ двѣ дороги. Можно переправиться на другую сторону рѣки противъ усадьбы или противъ околицы, а потомъ добрый часъ еще идти лѣсомъ; или же нужно плыть дальше съ полчаса еще и высадиться на берегъ на пескахъ, откуда до могилы не будетъ и версты. Онъ поплылъ этой другой дорогой, потому что хочетъ показать ей пески.

— Я послѣ разскажу, — прибавилъ онъ, — почему мнѣ захотѣлось, чтобы вы увидѣли эти мѣста. Для меня они представляютъ...

Онъ не окончилъ и, щурясь отъ солнца, сталъ внимательно слѣдить за пчелой, которая съ глухимъ жужжаніемъ летѣла низко надъ водой. Возвращавшіяся съ противоположнаго берега пчелы отъ времени до времени пролетали надъ головами плывущихъ, но эта опускалась все ниже, блестя на солнцѣ своей липкой золотой ношей, точно каплею расплавленнаго янтаря. Янъ не спускалъ глазъ съ ея неувѣреннаго, все ниже спускавшагося полета, и въ ту минуту, когда ея крылышки стали уже касаться поверхности воды, онъ ловкимъ движеніемъ подставилъ ей весло, на которое она опустилась съ глухимъ стукомъ. Затѣмъ онъ бережно и осторожно приподнялъ весло и спустилъ обезсилѣвшее насѣкомое на бортъ лодки.

— Жаль, если утонетъ трудолюбивое созданіе,— замѣтилъ онъ. Можетъ быть ты моя? — улыбнулся онъ пчелѣ, неподвижно сидѣвшей на краю лодки.

За исполинскимъ треугольникомъ, открывающимъ входъ въ оврагъ Яна и Цециліи, зеленая гора смѣнилась обрывистой, гладкой, обнаженной возвышенностью, краснѣвшей залежами мергеля и увѣнчанной у самой вершины широкимъ, выступающимъ карнизомъ ярко-желтой глины. Подъ этимъ карнизомъ темнѣли круглыя, необыкновенно правильныхъ очертаній, отверстія, тянувшіяся длиннымъ рядомъ на одинаковомъ разстояніи другъ отъ друга.

— Что это? — спросила Юстина.

Но прежде чѣмъ спутникъ ея успѣлъ отвѣтить, въ глубинѣ одного изъ этихъ отверстій что-то зачернѣло, блеснуло бѣлое пятно, а вслѣдъ затѣмъ

тонкая птичка съ бѣлоснѣжной грудью и длинными крыльями, сверкая черно-синимъ опереніемъ съ быстротой молніи устремилась внизъ и, описывая зигзаги, пролетѣла почти надъ ихъ головами.

— Ласточка! — вскричала Юстина.

— Это гнѣзда ласточекъ, — подтвердилъ Янъ, глядя на круглыя отверстія. Ужъ такая ловкая эта птица, что даже въ этой голой, твердой стѣнѣ сумѣла выдолбить себѣ жилище. Когда-то эти дворцы страшно интересовали меня и, повѣрите-ли? я убѣдился, что ласточки устраиваютъ тамъ у себя настоящія комнаты и корридоры... вотъ и другая летитъ, и третья, и четвертая...

Изъ комнатъ и корридоровъ въ обнаженной, гладкой стѣнѣ все чаще вылетали птицы, мелькая черными крыльями и бѣлоснѣжной грудью на красноватомъ и желтомъ фонѣ мергеля и глины и быстро опускались къ водѣ. Шелестъ ихъ крыльевъ пробудилъ пчелу, силы которой были возстановлены отдыхомъ; она поднялась съ борта лодки и съ громкимъ, торжествующимъ жужжаньемъ улетѣла по направленію оврага и околицы.

Янъ слѣдилъ за нею внимательнымъ взоромъ.

— Вотъ и спаслось трудолюбивое, доброе созданіе,—медленно проговорилъ онъ съ ясной и довольной улыбкой на губахъ и въ глазахъ.

— Все же одной смертью меньше и одной каплей меду больше въ мірѣ,—прибавила Юстина и, казалось, что ясная, радостная улыбка Яна отразилась на ея лицѣ.

— Вы сказали истину,—проговорилъ онъ, погружая весло въ воду; смерти и горя всегда довольно на свѣтѣ, а каждая капля утѣхи дорого достается...

— Откуда вы знаете это?—спросила она съ живостью.

Онъ посмотрѣлъ на нее долгимъ, страннымъ взглядомъ; легкая иронія засвѣтилась у него въ глазахъ.

— Господа думаютъ, — началъ онъ, — что простой человѣкъ не можетъ имѣть ни своихъ собственныхъ мыслей, ни чувствъ. Но можетъ быть тутъ-то и есть ошибка...

Онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но удержался и, только, поправивъ рѣзкимъ движеніемъ шапку на головѣ, началъ энергичнѣе грести.

— Знаю и вѣрю, — проговорила Юстина серьезно.

— Что вы знаете? — немного порывисто спросилъ онъ.

— Что это правда, — отвѣчала она и вся вспыхнула.

Въ его пристально устремленномъ на нее взглядѣ промелькнуло сожалѣніе.

— Ни стыдиться, ни печалиться тутъ нечего, — проговорилъ онъ уже мягче, — такой ужъ вы родились и къ этому привыкли.

Въ эту минуту они услыхали жалобный визгъ собаки, и протяжный, глуповатый голосъ проговорившій:

— Добрый вечеръ вамъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ берега, въ крошечномъ челнокѣ, прикрѣпленномъ къ жерди, вбитой въ рѣчное дно, сидѣлъ Юлекъ Богатыровичъ съ опущенной въ воду удочкой, а на берегу на маленькомъ зеленомъ мысѣ сидѣлъ Саргасъ; вытянувъ туловище и не спуская глазъ съ своего хозяина, онъ все громче и протяжнѣе визжалъ. Этотъ плечистый парень съ большимъ краснымъ лицомъ и выбивающейся изъ-подъ шапки копной огненно-рыжихъ волосъ, неподвижно сидящій надъ водой въ крошечной скорлупкѣ, казался какимъ-то почти фантасти-

ческимъ явленіемъ. Его можно было принять за сказочнаго водяного, который только на время и то до половины принялъ человѣческій образъ, оставаясь другой половиной своего тѣла въ родной стихіи.

Но улыбка, которой этотъ человѣкъ привѣтствовалъ подплывавшихъ, была зато вполнѣ человѣческой. Впрочемъ, видно было, что той же самой широкой, дѣтской улыбкой, открывавшей рядъ бѣлоснѣжныхъ зубовъ, онъ привѣтствовалъ все, что ни встрѣчали на небѣ и на землѣ его продолговатые синіе глаза, смѣющіеся такъ же невинно и дружелюбно, какъ его ротъ.

— А куда? — спросилъ онъ глядя на Яна и Юстину, но не дѣлая ни малѣйшаго движенія.

— На Могилу, — отвѣчалъ Янъ.

— Хе-хе-хе! Только не засиживайтесь долго.

— Это почему же?

— А потому, что передъ закатомъ ливень хлынетъ... хе-хе-хе!

Лодка Яна почти задѣла челнокъ, на которомъ сидѣлъ водяной исполинъ, продолжавшій смѣяться.

— Почему не возьмешь Саргаса въ лодку.

— Мѣшаетъ.

— Глупое животное, могъ бы и переплыть, если уже такъ скучаетъ безъ хозяина.

— Я не позволилъ.

Онъ быстрымъ движеніемъ выдернулъ изъ воды удочку, на концѣ которой, описавъ дугу, сверкнула въ воздухѣ серебряной искрой маленькая рыбка.

Янъ и Юстина плыли дальше. Янъ говорилъ о Юлькѣ. Странный это былъ парень. Съ самаго дѣтства прослылъ онъ дуракомъ; отецъ даже билъ его часто за нерасторопность, и въ семьѣ онъ всегда занималъ послѣднее мѣсто. Ну вотъ онъ и прирось

за то къ рѣкѣ; кажется, точно онъ душу свою оставилъ въ этомъ Нѣманѣ, такъ всегда торопится онъ къ нему. Да, впрочемъ, ему рѣдко случается долго не бывать на рѣкѣ; на водѣ онъ ѣстъ, на водѣ же или на берегу онъ и ночуетъ часто. Къ работѣ по хозяйству онъ относится слишкомъ лѣниво, да и не способенъ онъ къ ней, за то ловитъ множество рыбы, продаетъ ее въ сосѣднемъ мѣстечкѣ, а деньги аккуратно отдаетъ отцу; Нѣманъ да еще вотъ этотъ песъ, Саргасъ—вотъ его единственные друзья. Когда три года тому назадъ онъ долженъ былъ идти въ солдаты, такъ онъ по цѣлымъ днямъ вопилъ о томъ, какъ онъ безъ Нѣмана жить будетъ, и вдругъ свело ему два пальца на правой рукѣ. Ни съ того, ни съ сего такъ и свело и сталъ калѣкой. Положимъ, всѣ-то хорошо знаютъ, что объ этомъ думать. На это-то ума у него хватило. Будто и дурачекъ, а самъ хитрый. Теперь вмѣсто него долженъ идти слѣдующій сынъ и изъ-за этого у нихъ въ семьѣ такой раздоръ идетъ. Но вотъ уже, — прервалъ онъ самого себя,—и пески видны.

Берега рѣки между тѣмъ становились все болѣе бѣдными и дикими. По одну сторону рѣки, тамъ, гдѣ четверть часа тому назадъ живописной идиллiей улыбались сѣрые и бѣлые домики околицы, а за ними громадный оврагъ раскрывалъ свою исполинскую пасть, до краевъ наполненную зеленью, теперь на вершинѣ гладкой красноватой стѣны изрѣдка виднѣлись тощіе хлѣба, кое-гдѣ осѣняемые кривой вербой или старой грушей. По другую сторону рѣки берегъ понижался постепенно почти до уровня воды, а густой боръ отступалъ въ глубину, какъ бы отодвигаясь передъ обширнымъ пространствомъ бѣлыхъ песковъ, подымающихся небольшими волни-

стыми буграми. Лодка направилась къ этимъ пескамъ и, проскользнувъ какъ змѣя между большими камнями, выступавшими изъ мелкой воды, пристала къ берегу.

— Подождите, пожалуйста, и посмотрите кругомъ, — проговорилъ Янъ притихшимъ голосомъ.

Юстина послушно остановилась и обвела окрестности глазами. Они находились среди песчанаго пространства, часть котораго они уже прошли не безъ труда. Это было похоже на озеро, съ одной стороны окаймленное темнымъ полукругомъ бора, а съ другой — отдѣлявшееся отъ рѣки цѣпью песчаныхъ холмовъ. Всѣ эти пески, какъ и поверхность воды, были подернуты безчисленными морщинками мелкой зыби, и хотя воздухъ казался совершенно неподвижнымъ, но надъ ними тутъ и тамъ курились клубы бѣлаго тумана, низко надъ поверхностью земли перемѣщавшагося съ мѣста на мѣсто и разсыпавшагося мельчайшей пылью.

Боръ, какъ бы нехотя отодвигавшійся вдаль, оставлялъ за собою широкую опушку колючихъ мелкихъ зарослей, просвѣчивающихъ бѣлыми песками, и только за ними снова постепенно вставалъ высокой темной стѣной. У корней опушки далеко разстилался своими сухими печальными гирляндами розоватый верескъ, а затѣмъ уже отъ края до края этой пустыни не было ничего, кромѣ глубокихъ, подернутыхъ зыбью песковъ, да дымящихся клубовъ бѣлаго тумана, исчезавшаго надъ круглыми, лысыми вершинами песчаныхъ холмовъ. И нигдѣ ни дерева, ни цвѣтка, ни малѣйшаго стебелька; ни одного звука, кромѣ карканія вороны, тяжело взлетавшей со стороны рѣки и исчезавшей въ бору; никакихъ красокъ, кромѣ бѣлизны песковъ и сѣровато-розоваго вереска; никакого движенія,

кромѣ тяжело ползущихъ по небу длинныхъ, подернутыхъ сѣрой мутью облаковъ; никакихъ ароматовъ, кромѣ сухой, удушливой пыли, которая казалась дыханіемъ этого унылаго мѣста.

Ноги Юстины вязли въ мелкомъ, сухомъ, горячемъ пескѣ. Взглядъ ея съ удивленіемъ скользилъ по этой, никогда не виданной ею пустынѣ, на которую не глядѣлъ также почти никогда еще ни одинъ человѣческій глазъ, такъ какъ никакой трудъ, никакая выгода, ни одно намѣреніе, ни одна дорога не направляли сюда путника. Но когда Юстина взглянула на своего спутника, она почувствовала еще большее удивленіе.

Янъ снялъ шапку и задумчивымъ взоромъ водилъ глазами по обнаженнымъ вершинамъ холмовъ. Онъ имѣлъ видъ человѣка, который стоитъ у порога храма и смотритъ на алтарь. Можно было подумать, что нигдѣ онъ не чувствовалъ себя настолько человѣкомъ, нигдѣ не испытывалъ онъ столько возвышенныхъ чувствъ и мыслей, удаленныхъ отъ предѣловъ обыденной жизни, какъ въ этомъ глухомъ и пустынномъ мѣстѣ.

— Давно я здѣсь не былъ, — началъ онъ голосомъ человѣка, стоявшаго у порога святилища,—лѣтъ пять, а то и шесть будетъ уже. Дядя предпочитаетъ ходить на могилу по той, другой дорогѣ, потому что разъ какъ-то шелъ онъ этими самыми песками, да какъ упалъ на песокъ, такъ цѣлый часъ подняться отъ слезъ не могъ.

— Почему же онъ такъ плакалъ? — спросила Юстина съ волненіемъ, въ причинѣ котораго она сама не могла дать себѣ отчета.

— Потому что онъ былъ долго боленъ и почти не выходилъ изъ дому и тогда впервые послѣ сво-

его выздоровленія попалъ въ это мѣсто, гдѣ онъ въ послѣдній разъ былъ въ многочисленномъ обществѣ.

Она поняла и больше ни о чемъ не распрашивала.

Янъ, не сводя взора съ холмовъ, продолжалъ:

— Этотъ уголокъ земли занимаетъ въ моихъ воспоминаніяхъ очень важное мѣсто, потому что здѣсь, вонъ съ того холма, я въ послѣдній разъ видѣлъ своего отца.

И онъ при этомъ указалъ пальцемъ на одинъ изъ холмовъ.

— Видите вы вонъ тамъ, тотъ третій отъ бора холмъ ... И днемъ, и ночью, лѣтомъ и зимою онъ стоитъ всегда пустой, и ни одна былинка на немъ не растетъ. А однако же былъ когда-то одинъ такой вечеръ, когда онъ сверху до низу былъ весь истоптанъ конскими копытами, и не мало слезъ на него тогда упало.

— Вы хорошо помните все это?

— А какъ же. Вы даже не повѣрите, до чего я все хорошо помню. Семь лѣтъ было мнѣ тогда какъ разъ, восьмой пошелъ, такъ можетъ и не удивительно, что я такъ помню все.

Они уже ушли впередъ на нѣсколько десятковъ шаговъ.

Янъ снова обернулся къ холму и остановился.

— Нѣмана отсюда не видно,—началъ онъ, — но мы тогда съ этого холма часа два, а можетъ быть и три смотрѣли на рѣку, по которой сновали челноки и лодки, подвозившіе людей съ одной и другой стороны, а отъ одного берега до другого ходилъ небольшой паромъ. Всѣ они прошли и проѣхали черезъ эти пески и скрылись изъ виду. Наступилъ майскій вечеръ. Какъ сейчасъ помню, луна уже взо-

шла довольно высоко и стояла какъ разъ надъ этими песками. На рѣкѣ царила тишина, только въ бору пѣлъ соловей. Тогда отецъ поцѣловалъ мать, что-то пошепталъ ей, а потомъ поднялъ меня на руки и сталъ цѣловать. Раньше онъ никогда не цѣловалъ меня такъ, потому что онъ былъ человѣкъ скорѣе угрюмый, чѣмъ веселый, и чаще молчалъ, замкнувшись въ себя, чѣмъ высказывался. Совсѣмъ не такъ, какъ дядя Анзельмъ, который былъ веселый, разговорчивый, душа на распашку. Кажется, что за эту замкнутость и угрюмость больше всего и полюбилъ панъ Андрей моего отца. Но въ эту минуту отецъ, прощаясь со своимъ ребенкомъ, вышелъ изъ своей замкнутости и, стиснувъ меня до боли, цѣловалъ безъ конца. Въ эту же самую минуту панъ Андрей прощался со своей женой и сынкомъ; тутъ-же стояла и панна Марта, которая тогда еще была молода и прощалась съ дядей, надѣвъ ему еще раньше на шею освященный образокъ; были здѣсь еще разные люди, и дворовые, и изъ околицы, всѣхъ, можетъ, человѣкъ двадцать, и хотя очень громко никто не говорилъ, но все же отъ разговоровъ стоялъ такой гулъ, точно гудѣли нѣсколько ульевъ съ пчелами. Къ тому же еще двѣ осѣдланныя лошади, стоявшія у подошвы холма фыркали и нетерпѣливо рыли копытами землю. Когда отецъ пересталъ цѣловать меня и выпустилъ изъ объятій—я не помню, вспоминается мнѣ только, что я увидѣлъ его еще одинъ разъ, когда онъ верхомъ рядомъ съ паномъ Андреемъ ѣхалъ черезъ эти пески. Должно быть я тогда такъ плакалъ, что изъ за слезъ не могъ увидѣть его раньше, а когда увидѣлъ, то онъ былъ уже на половинѣ дороги между холмами и лѣсомъ. Мѣсяцъ ярко освѣщалъ пески, а въ его свѣтѣ отецъ и панъ

Андрей ѣхали одинъ возлѣ другого на одинаковыхъ коняхъ. Ѣхали они ни слишкомъ скоро, ни слишкомъ тихо, а кони подъ ними выступали мѣрно, точно подъ музыку. Не обернувшись ни разу, перерѣзали они наискось пески и тамъ ... видите вы то мѣсто, гдѣ ели мѣшаются съ соснами? Тамъ за этими деревьями они навсегда скрылись изъ глазъ нашихъ... Соловей пѣлъ въ бору ...

Онъ вытянулъ руку и указывалъ ей то мѣсто, куда они теперь направлялись. По мѣрѣ того, какъ они приближались къ лѣсу, песокъ подъ ихъ ногами дѣлался тверже: они ступали теперь по широко стлавшимся розоватымъ гирляндамъ вереска. Нѣкоторое время они молчали.

— И вы никогда болѣе не видѣли своего отца?

— Только одинъ разъ послѣ того, какъ мы разстались съ нимъ въ послѣдній разъ, я услыхалъ о немъ. Вѣрно это уже было послѣ Иванова дня, а можетъ быть и позже, потому что хлѣба на поляхъ уже дозрѣвали, а кое-гдѣ уже и жать начинали. Вотъ разъ и стояли мы въ околицѣ надъ самымъ обрывомъ, тамъ знаете? гдѣ у насъ во дворѣ липы растутъ. Немного насъ было, такъ развѣ нѣсколько человѣкъ, потому что другіе тоже стояли или сидѣли у себя по дворамъ, и всѣ, обернувшись въ сторону песковъ, прислушивались къ гулу и грохоту, доносившемуся оттуда. А тамъ все гремѣло и грохотало то протяжно, то отрывисто, то быстро, то прерывисто, точно громы всего свѣта собрались тутъ и били въ одно это мѣсто. Соловей уже тогда не пѣлъ, но зато стаи птицъ вылетали изъ бора и съ пронзительными криками носились надъ нимъ, надъ рѣкой, или, какъ ошалѣлыя, летѣли, куда глаза глядятъ, лишь бы подальше ... Надъ песками же гро-

хотъ продолжался и только къ вечеру сталъ понемногу уменьшаться, пока не затихъ совершенно; но взамѣнъ его по всему бору поднялся страшный человѣческій крикъ и шумъ. Я тогда такъ перепугался, что весь сталъ трястись и уцѣпился за мать, которая закрывала глаза фартукомъ и тихо плакала передъ сбѣжавшимися сосѣдками, которыя что-то шептали ей. Потомъ однако и крики прекратились. Наступила ночь. Должно быть тучи густо заволокли все небо, потому что стало очень темно, но несмотря на ночную пору, люди продолжали кучками сидѣть и стоять по дворамъ и все смотрѣли въ сторону песковъ, а вмѣсто тѣхъ пронзительныхъ птичьихъ криковъ, которые днемъ оглашали околицу, ночная тьма наполнилась шопотомъ людей, подобно шуму вѣтра. Среди этого шопота услыхали мы, однако, какъ на противоположной сторонѣ рѣки вода сильно плеснула, а затѣмъ послышался уже тихій, но непрерывный плескъ. Кто-то бросился въ рѣку, плылъ и переплылъ, потому что изъ подъ нашихъ липъ видна была какая-то тѣнь, подымавшаяся на гору, то быстро, то потихоньку, пока она наконецъ не сдѣлала послѣдній прыжокъ и не очутилась прямо передъ нами. Мать перекрестилась, крикнула: „Анзельмъ“ и закружилась на мѣстѣ, какъ безумная, но старый Якубъ, который тогда былъ еще не совсѣмъ сумасшедшимъ, взялъ дядю за руку, повелъ его въ хату и зажегъ свѣтъ. Куча народу втиснулась тогда въ избу. Меня снова начало трясти, какъ въ лихорадкѣ, когда я взглянулъ на дядю. Боже милостивый! На что онъ былъ похожъ. Лицо у него было черное, какъ у негра, только глаза свѣтились, какъ у волка; одежда вся въ лохмотьяхъ; одна рука висѣла неподвижно, какъ плеть, а по волосамъ и одеждѣ стекали

потоки воды. Онъ тяжело дышалъ и не могъ выговорить ни слова, а только иногда такъ стоналъ, точно въ немъ что-нибудь обрывалось. Кругомъ него люди шептались, спрашивали, даже дергали его за руки и за полы, а онъ все ничего. Разъ только взглянулъ онъ на меня, и слезы ручьемъ покатились по его почернѣвшему лицу. Онъ схватилъ меня за воротъ рубахи и такъ неожиданно дернулъ къ себѣ, что я даже закричалъ отъ страху. А потомъ сталъ онъ мнѣ говорить. Сначала онъ говорилъ неясно, и я не могъ ничего разобрать, но потомъ, самъ ужъ не знаю почему, я понялъ, что онъ мнѣ велитъ бѣжать въ Корчинъ къ пану Бенедикту, который тогда сидѣлъ дома и сказать ему ... „О, Боже милостивый, скажи ты ему, что панъ Андрей сюда ...“ и на лобъ себѣ указалъ ... „А твой отецъ сюда ...“ и на грудь показалъ. А потомъ прибавилъ еще „Обоихъ нѣтъ“, и спросилъ у меня: „понялъ?“ ... Я то понялъ ... такъ хорошо понялъ, что и до сегодняшняго дня ...

И до сегодняшняго дня воспоминаніе это прерывало его голосъ, который, однако, въ другое время увѣренно распѣвалъ такія громкія пѣсни.

Оба они замѣтили, что уже находятся въ лѣсу, но не видѣли кругомъ себя ни деревьевъ, ни игры свѣта и тѣней, не слыхали птичьяго щебетанія, которое все громче раздавалось вверху надъ ними.

Онъ шелъ съ низко опущенной головой, глядя въ землю и, казалось, совершенно позабылъ о своей спутницѣ; она же, наоборотъ, повернувшись къ нему лицомъ, ни на минуту не спускала съ него своихъ глазъ, горѣвшихъ мрачнымъ любопытствомъ изъ подъ черныхъ бровей и рѣсницъ.

— Такая меня тогда жалость охватила, что я и страхъ весь позабылъ. Дорогу на барскій дворъ я зналъ хорошо; отецъ бралъ меня туда съ собой, и панна Марта часто присылала за мной. Дорога была недлинная. Ну вотъ и помчался я тогда въ темнотѣ шатаясь отъ слезъ, но все-таки мчался до тѣхъ поръ, пока не ворвался въ сѣни, гдѣ тогда сидѣлъ лакей, который сначала было не хотѣлъ пускать меня дальше, но, пожалѣвъ заливавшагося слезами ребенка, пустилъ. Тогда я черезъ столовую и еще черезъ какую-то другую комнату ворвался въ кабинетъ пана Бенедикта и, свалившись прямо къ его ногамъ, громко завылъ. Онъ стоялъ между каминомъ, на которомъ горѣли дрова, и письменнымъ столомъ, всѣ ящики котораго были выдвинуты. Тѣнь его я увидѣлъ на стѣнѣ прежде, чѣмъ его самого, и мнѣ показалось, что на этой тѣни всѣ волосы стояли дыбомъ, какъ растрепанный снопъ колосьевъ. Онъ нагнулся, узналъ меня и поставивъ на ноги, спросилъ: „Ну что?“ А я, задыхаясь отъ слезъ, могъ только проговорить ему: „Дядя велѣлъ сказать, что панъ Андрей сюда“ и показалъ себѣ на лобъ, „а мой отецъ сюда“ и на грудь показалъ. И прибавилъ еще: „обоихъ нѣтъ“. Только что я проговорилъ эти два слова, какъ въ комнатѣ раздался какой-то страшный крикъ, не то человѣческій, не то звѣриный, и тогда только я увидѣлъ, что сидѣвшая на креслѣ или на диванѣ въ уголкѣ комнаты жена пана Андрея свалилась на землю, какъ снопъ. Она упала на спину и лежала съ неподвижнымъ, бѣлымъ какъ мѣлъ лицомъ и закрытыми глазами. Панъ Бенедиктъ только схватился за голову и обѣими руками дернулъ звонокъ, такъ сильно, что шнурокъ остался у него въ рукахъ, и какъ только въ комнату вбѣжала

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Московской области

панна Марта, онъ указалъ ей на лежавшую въ обморокѣ, а самъ выбѣжалъ изъ дому и во весь духъ побѣжалъ къ околицѣ. И я тоже бѣжалъ за нимъ, но не могъ догнать, потому что былъ очень утомленъ, такъ что когда я вошелъ въ хату, то панъ Бенедиктъ былъ уже тамъ, и я не знаю, о чемъ онъ раньше говорилъ съ дядей. Одно только услыхалъ я, какъ панъ Бенедиктъ спросилъ: „А Доминикъ?“ Дядя же показалъ себѣ на ноги и руки такимъ движеніемъ, точно связывалъ ихъ, и продолжалъ стоять, прижавшись спиной къ стѣнѣ. Одна рука у него висѣла неподвижно, а другой онъ какъ-то безсознательно водилъ по своему почернѣвшему лицу. Ноги подъ нимъ дрожали, а съ волосъ все еще каплями стекала вода. Панъ Бенедиктъ не крикнулъ и не заплакалъ, а только отошелъ къ окну и, глядя въ ночную темноту, нѣсколько разъ помянулъ имя Божіе такимъ голосомъ, какой бываетъ у умирающаго.

— Ужасно!—прошептала Юстина.

Точно вспомнивъ объ ея присутствіи, Янъ обернулся вдругъ къ ней и долго глядѣлъ, какъ по лицу ея изъ подъ опущенныхъ рѣсницъ одна за другой, тихо и медленно катились слезы. Затѣмъ онъ взглянулъ впередъ и быстро тронулъ ее за руку.

— Остановитесь и посмотрите.

Она остановилась и тутъ только замѣтила, что они уже находятся въ глубинѣ бора. Теперь только до ушей ихъ долетѣлъ оглушительный птичій хоръ, который съ начала лѣса росъ, усиливался и, наконецъ, здѣсь гудѣлъ такимъ хаосомъ звуковъ, въ которомъ не было никакой возможности разобраться. Вмѣстѣ съ тѣмъ ее охватилъ сильный ароматъ смолы, можжевельника и чабра, смѣшанный съ тѣмъ затхлымъ, напоминающимъ кладбище, запахомъ, ка-

Инвентарный № ____

кой издаетъ находящаяся вѣчно въ тѣни, покрытая бѣлой плѣсенью, почва.

— Взгляните впередъ,—повторилъ Янъ.

То, на что онъ ей указывалъ, было просто большой поляной, или лѣсной луговиной, правильно охваченной тѣсно замыкавшимся полукругомъ волнистыхъ возвышенностей, по которымъ взбирались и спускались, все гуще толпясь и тѣсно переплетаясь между собою вѣтвями, старыя сосны, ели и молодыя поросли. Мѣстами длинными стѣнами и толстыми колоннами темной, почти черной зелени стояли широкія, спускающіяся до земли вѣтви елей, перемѣшанныя съ густой щетиной молодой еловой поросли, перепутанной жесткими гирляндами дикаго хмѣля. Въ другихъ мѣстахъ стройныя, высокія сосны съ прямыми гладкими стволами, только у самыхъ вершинъ раскидывавшимися широкими коронами, подымались надъ узорчатымъ ковромъ раскинувшагося прихотливыми вѣерами папоротника и разноцвѣтныхъ бархатныхъ мховъ. Эти рѣзныя, прозрачныя, переплетающіяся между собою линіи папоротника, легкія и воздушныя, отливающія всевозможными оттѣнками зелени, и эти выглядывавшія изъ подъ нихъ или совсѣмъ смѣнявшія ихъ полосы изумрудныхъ, коричневыхъ и сѣдыхъ мховъ, разстилались далеко, безконечными пространствами, исчезая въ зарослях и вновь появляясь въ свѣтлыхъ промежуткахъ бора. Въ свободныхъ пространствахъ между деревьями и въ тѣнистыхъ мѣстахъ, по гладкимъ стволамъ сосенъ, по мхамъ и папоротникамъ, вверху и внизу, всюду бѣгали, мелькали, скользили полосы, потоки и стрѣлы солнечныхъ лучей, то вспыхивая пожаромъ, то разсыпаясь роемъ искръ, точно свѣтлые и мрачные геніи лѣса въ таинственномъ молчаніи

занимались какой-то блестящей и головокружительной игрой.

Но на полянѣ, окаймленной лѣсными зарослями, не было этой игры. Въ высотѣ надъ нею округлялся куполъ небесной лазури, поминутно заслоняемый проносившимися тучами; внизу покрывала ее пелена смягченнаго солнечнаго свѣта, прерываемая длинными, неподвижными столбами тѣней, отбрасываемыхъ еловыми чащами. Ее устилалъ коверъ низкой неровной травы, изрѣдка усѣянной лиловымъ чабромъ, бѣлымъ тысячелистникомъ, мелкими бутонами дятлины и иммортелей. По краямъ ея рэсли и выбѣгали на середину кусты можжевельника, усыпанные твердыми, точно покрытыми черной блестящей росой, ягодами, выдѣляясь на темномъ фонѣ зелени ржавокраснымъ цвѣтомъ своей листвы, какъ большія кровавыя пятна. Изъ-подъ сухихъ, колючихъ вѣтвей можжевельника выглядывали желтые цвѣты волчьей пасти и выползали далеко стлавшимися гирляндами разнообразные виды павилики, плюща и дикаго хмѣля. Тутъ и тамъ, подъ кустами и въ низкой травѣ, краснѣли и желтѣли грибы самыхъ причудливыхъ формъ или бѣлѣла, издавая запахъ затхлости, земляная плѣсень. Въ глубинѣ подъ темной колоннадой нѣсколькихъ, переплетавшихся между собою елей, покрытый столбомъ падающей отъ нихъ тѣни, возвышался невысокій, продолговатый холмъ съ отлогими склонами, не то валъ, не то курганъ, очевидно, насыпанный человѣческими руками и, какъ и вся эта поляна, поросшій низкой, неровной травой.

Янъ молча указалъ Юстинѣ на этотъ холмъ; она тоже молча кивнула головой: она знала, что это была братская могила.

— Сколько?—тихо спросила она.

— Сорокъ,—отвѣтилъ онъ, ускоряя шаги.

Сухія, черныя шишки затрещали подъ ихъ ногами; въ зашелестѣвшихъ вѣтвяхъ ели промелькнулъ пушистый бѣличій хвостъ; гдѣ-то громко свистѣлъ дроздъ, немного дальше заливались щеглы, а еще дальше ворковали дикіе голуби, и раздавался со всѣхъ сторонъ ритмическій стукъ долбившихъ дятловъ и желнъ; откуда-то съ сильнымъ чириканіемъ взвилась стая мелкихъ лѣсныхъ воробьевъ; красно-крылая сойка мелькнула лазурной грудью и усѣлась на сосновой вѣткѣ; въ воздухѣ, точно въ исполинской курильницѣ, струились сильные, заглушаемые запахомъ земляной плѣсени, ароматы смолы, можжевельника и чабра.

Когда они остановились передъ могилой, на которой кое-гдѣ росли высокіе прямые стебли лѣсныхъ колокольчиковъ, готовыхъ, казалось, при малѣйшемъ порывѣ вѣтерка зазвенѣть своими нѣжными лиловыми головками, Янъ, стоя возлѣ могилы съ непокрытой головой, медленно проговорилъ:

— Точь въ точь, какъ въ пѣснѣ:

Только черный воронъ каркнетъ,
Только тучка дождемъ плачетъ...

Минуты проходили за минутами, прошелъ и цѣлый часъ, а Юстина все продолжала сидѣть на склонѣ могилы, погруженная въ мысли и ощущенія, почти совершенно новыя для нея.

Дитя времени, тянувшагося тяжелой, сѣрой, однообразной полосой, она въ самомъ отдаленномъ своемъ прошломъ никогда не переживала ни одной изъ тѣхъ возвышенныхъ и горячихъ минутъ, которыя охватываютъ пламенемъ и уносятъ въ высоту сердца даже самыхъ маленькихъ незамѣтныхъ людей.

Ея колыбель стояла въ сумракѣ и молчаніи, прерываемомъ только робкимъ шопотомъ обыденныхъ личныхъ интересовъ, вращающихся низко надъ самой землей, или жалобами, подобными тѣмъ, какими плачетъ вѣтеръ, замкнутый въ тѣсномъ пространствѣ. Она росла среди заботъ и несчастій, ограниченныхъ тѣснымъ домашнимъ кругомъ, и развивалась въ атмосферѣ наслажденій и огорченій, источники которыхъ она черпала только въ своемъ сердцѣ. Все, что ее окружало, утопало въ заботахъ, трудахъ, рѣдкихъ надеждахъ и утѣшеніяхъ, частыхъ опасеніяхъ и разочарованіяхъ, но всегда только личныхъ, узкихъ, обыденныхъ... Кругомъ нея человѣческія мысли, какъ птицы съ перебитыми крыльями, трепетали слабо, тяжело, постоянно описывая одни и тѣ же крошечные круги; человѣческія чувства, какъ бабочки послѣ блестящаго періода любви и энтузіазма, скорченныя, помятыя и измученныя падали на землю. Ни разу въ жизни своей не видѣла она тѣхъ молній, которыя съ высоты идеаловъ проникаютъ въ душу обитателей земли. Ни разу передъ глазами ея не взвивался къ небу яркій порывъ героизма. Никогда не видѣла она проявленій беззавѣтной храбрости и самопожертвованія, не видѣла борьбы, размѣры которой измѣрялись бы не величиной состоянія или счастьемъ отдѣльныхъ личностей, а имѣли бы своей задачей благо человѣчества, народъ, идею. Въ силу мірового закона на землю падали молніи, взвивались къ небу доблестные подвиги, кипѣла борьба, но все это происходило далеко, далеко отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она родилась, росла и развивалась. Ни музыка, которой съ дѣтства занимался съ ней отецъ, ни уроки гувернантокъ, ни совѣты и замѣчанія относительно правилъ житейскаго приличія, на которыя не скупилась пани Эмилія,

ни совмѣстное чтеніе съ любимымъ человѣкомъ стиховъ Мюссе и романовъ Фелье не подняли предъ ея глазами той завѣсы, которая, приподнявшись здѣсь въ эту минуту, открывала передъ ней столько новаго, высокаго и важнаго.

Несчастье рѣдко бываетъ хорошимъ учителемъ, а угнетеніе, подобно исполинскому молоту, втаптываетъ въ пропасть даже вершины. Въ жизни отдѣльныхъ личностей и народовъ бываютъ моменты, наполненные страданіями въ такой мѣрѣ, что ничто больше не въ состояніи помѣститься въ нихъ. Дочерью подобнаго момента была Юстина, и потому-то изъ этой могилы хлынулъ въ нее потокъ такихъ мыслей и чувствъ, которые если даже и не были совсѣмъ новы для нея, то во всякомъ случаѣ до сихъ поръ никогда не переживались ею и не представлялись ей съ такою яркостью и отчетливостью. Она настолько погрузилась въ нихъ, что совершенно позабыла о себѣ. Можетъ-быть, въ первый разъ въ своей жизни забыла она о себѣ такъ вполнѣ и абсолютно и только не могла не чувствовать того, что сердце ея растетъ, расширяется и пылаетъ, точно изъ-подъ этой травы, къ которой она прильнула грудью, выходитъ и проникаетъ въ нее невидимое пламя.

Одиночество и забвеніе говорили съ ней. Сколько разъ весна, лѣто, зима и осень смѣняли другъ друга надъ этимъ холмомъ, скрывавшимся за озеромъ безплодныхъ песковъ, замкнутымъ въ тѣсномъ кругу стараго бора! Сколько шумныхъ, торжествующихъ, веселыхъ событій, малѣйшее эхо которыхъ никогда не долетало сюда, пронеслось за это время надъ міромъ. Уплывали дни за днями, одинъ годъ смѣнялся другимъ; гдѣ-то далеко танцоры и влюбленные

соединялись въ веселые пары; земледѣльцы съ плодами своихъ трудовъ возвращались къ домашнимъ очагамъ; увѣнчанные славой воины несли побѣдныя знамена; на кладбищахъ пылали факелы погребальныхъ шествій, и цвѣли розы, посаженныя любящими руками. Здѣсь надъ этой могилой стояли вѣчная тишина и одиночество. Свѣтъ не знаетъ о ней ничего, и только небесный сводъ зажигаетъ надъ ней въ тихія ночи погребальныя факелы звѣздъ и лампаду луны, а въ бурныя и дождливыя — накрываетъ ее саваномъ тучъ и плачетъ могучимъ похороннымъ гимномъ вихрей. Лѣто и весна поютъ надъ ней звучнымъ хоромъ птицъ, а зима, осыпая деревья снѣгомъ и инеемъ, превращаетъ ихъ въ мраморные и хрустальные надгробные памятники. Тогда здѣсь бываетъ холодно и пусто; блѣдное солнце миріадами искръ расцвѣчиваетъ снѣжный коверъ поляны, а въ хрустальныхъ кружевахъ деревьевъ, превращенныхъ въ надгробные памятники, засвищетъ иногда красногрудый снигирь, хлопнетъ траурными крыльями сорока, или сѣрыя вороны, эти кумушки лѣса, опустятся на мерзлыя вѣтви и съ хриплымъ карканіемъ заговорятъ о сплетняхъ земли... совсѣмъ, какъ въ старой пѣснѣ:

Только черный воронъ каркнетъ
Только тучка дождемъ плачетъ...

Развѣ еще земля и деревья повѣютъ могильными ароматами можжевельника и плѣсени, а въ лѣтніе вечера высокіе колокольчики, колеблемые воздушной лаской, зазвонятъ на заупокойной молитвѣ, которую шепчетъ только трава, покрывающая поляну...

Юстина подняла голову. До слуха ея долетѣлъ монотонный, почти серебристый звукъ, похожій на

журчаніе воды, мягко падающей съ высоты. Она подняла глаза и увидала предъ собой спускавшуюся по темной зелени елей широкую, трепещущую, серебристую полосу, походившую на потокъ текущей и переливающейся крупными каплями воды. Что это было? Какой-то волшебный каскадъ, проливаемый растроганной лѣсной нимфой надъ этой одинокой могилой? Это была группа тонкихъ осинъ, тѣсно растущихъ одна подлѣ другой, покрытыхъ роскошной листвой и переплетающимися вѣтвями. Случайно, какъ это впрочемъ нерѣдко бываетъ, выросли онѣ среди хвойной чащи, серебристымъ потокомъ прорѣзая ея мрачную зелень, а ихъ мелкіе, круглые листочки, трепетно сверкавшіе точно серебряныя капли, неумолчно, монотонно шептали и шептали...

Вблизи осинъ, прислонившись спиной къ гладкому стволу сосны, стоялъ Янъ, скрестивъ руки на груди и разсѣянно оглядывая деревья. Юстина на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ шаговъ ясно видѣла его профиль и всю его фигуру, рельефно выдѣлявшуюся въ полосѣ солнечнаго свѣта на темномъ фонѣ лѣса. Она долго смотрѣла на него и раза два покачала головой, какъ бы отъ удивленія. Можетъ-быть, она думала о тѣхъ неожиданныхъ случайностяхъ жизни, которыя свели ее съ этимъ человѣкомъ, еще такъ недавно совершенно незнакомымъ ей, и привели ее сюда. Потомъ въ ея устремленныхъ на него глазахъ загорѣлся огонекъ, и растроганная улыбка раскрыла ея губы. Что-то роилось въ ея умѣ и загоралось въ сердцѣ; роилось все быстрѣй и горѣло все жарче; наконецъ, сдѣлавъ быстрое, почти порывистое движеніе, она встала и, должно-быть, не желая топтать могилу, стала обходить ее кругомъ, приближаясь къ Яну. Она шла быстрыми

легкими шагами, и сухія иммортели и сосновыя иглы шелестѣли подъ ея ногами. Онъ услыхалъ этотъ шелестъ, повернулъ къ ней лицо, разжалъ руки и пошелъ ей навстрѣчу. Но едва онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, какъ она уже стояла передъ нимъ и съ опущеннымъ вспыхнувшимъ лицомъ, не подымая опущенныхъ влажныхъ рѣсницъ, протянула ему обѣ руки.

Не порывистымъ и страстнымъ, но, напротивъ, мягкимъ и робкимъ движеніемъ взялъ онъ ихъ и, низко нагнувшись, прильнулъ къ нимъ губами. Когда онъ выпрямился, она подняла рѣсницы, и глаза ихъ въ первый разъ за все время знакомства встрѣтились долгимъ взглядомъ, полнымъ робкаго пыла; затѣмъ, съ трудомъ отрываясь другъ отъ друга, они обернулись къ могилѣ.

— Пойдемъ, — проговорила Юстина, продѣвая ему подъ локоть свою руку.

— Пойдемъ,—повторилъ онъ.

Они повернули къ выходу, и когда они шли такъ, рядомъ, ровнымъ и дружнымъ шагомъ, наклонившись другъ къ другу лицами, на которыхъ играло нѣмое волненіе, можно было подумать, что—удивительное дѣло!—именно въ этой обители смерти въ нихъ заговорили громкимъ голосомъ сильнѣйшія ощущенія жизни. Они шли между рѣдко стоявшими деревьями, черезъ полосы свѣта и тѣней, обходя мѣста слишкомъ густо поросшія папоротникомъ, ступая чаще всего по ковру мягкихъ мховъ, кое-гдѣ щетинившихся молодыми ростками елочекъ и осинъ, или испещренныхъ красными и темносиними ягодками брусники и черники. Нѣсколько минутъ оба они молчали. Раза два Юстина подымала глаза на своего спутника, какъ бы желая что-то сказать ему, но

снова опускала рѣсницы. Лицо ея выражало робость, смѣнившую ту гордость, или вѣрнѣе ту холодную маску высокомѣрнаго равнодушія, которую она давно уже носила предъ людьми. Казалось, что она какъ-будто сняла съ себя какой-то предохранительный панцырь, и что забота о сохраненіи столь легко уязвимаго женскаго достоинства покинула ее; что она, довѣрчивая и спокойная, чувствуетъ себя только робкой въ присутствіи этого человѣка, который, тщательно скрывая въ своей широкой груди волненіе, почтительно велъ ее по этимъ безлюднымъ мѣстамъ. Онъ тоже любилъ природу, но зналъ ее лучше и жилъ къ ней ближе, нежели она; въ скрытыхъ отъ всего свѣта глубинахъ ущелья и бора онъ указывалъ ей древніе памятники и забытыя могилы. Неужели же въ ея головѣ могла промелькнуть мысль, что онъ былъ выше ея?

Какъ-бы удивительна и даже непонятна ни показалась кому-либо подобная мысль, но она несомнѣнно появилась въ умѣ этой дѣвушки, которая путемъ горькихъ разочарованій и обидъ узнала уже не мало жизненныхъ истинъ, и передъ которой жизнь сорвала со многихъ явленій туманный покровъ иллюзіи. Мысль эта несомнѣнно должна была появиться у нея, потому что она сперва робко и отрывистыми словами, а потомъ все довѣрчивѣе и увѣреннѣе начала говорить ему о томъ, что составляло самое большее мученіе всей ея жизни, и что она чувствовала всего сильнѣе при видѣ даже обыденнаго человѣческаго труда, не говоря уже о тѣхъ высокихъ задачахъ и самопожертвованіи, съ призраками которыхъ она встрѣтилась лицомъ къ лицу у памятника Яна и Цециліи и на братской могилѣ. Эту муку уже нѣсколько лѣтъ причиняло ей

сознаніе собственной полной, безнадежной безполезности.

Откуда появилось у ней это чувство? Она понимала это очень хорошо, такъ какъ не разъ долго задумывалась надъ этимъ. Прежде всего получилось оно изъ жизненныхъ опытовъ, уничтожившихъ и разрушившихъ многія ея мечты и заблужденія; затѣмъ, быть можетъ, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ идей и стремленій современной жизни, издали доносившихся до нея, наконецъ, можетъ быть, вслѣдствіе того, что она была очень горда. Тѣ, среди которыхъ она жила, упрекали ее въ гордости и ничуть не ошибались. Дѣйствительно она была настолько горда, что ее глубоко унижали всѣ оказываемыя ей благодѣянія и услуги, за которыя она ничѣмъ не могла отплатить. Наибольшее вліяніе произвели на нее дни и годы, напрасно и безполезно потраченные ею. Иногда она сравнивала себя съ камнемъ, безполезно засорявшимъ какой-нибудъ кусочекъ поля, на которомъ могла бы вырости хоть какая-нибудь горсть колосьевъ. Стыдно и скучно! Съ томительной скукой просыпалась она по утрамъ, предвидя теченіе длиннаго дня, который потянется за безцѣльной полосой, каждый вечеръ засыпала съ тѣмъ-же чувствомъ тяжелой скуки. Часто чувствовала она въ себѣ протестъ молодости, здоровья и силъ, который подхватывалъ ее и толкалъ къ какому-нибудь трудному и необычайному напряженію тѣла и духа. Тогда ей хотѣлось куда-то идти, кому-то въ чемъ-то помогать, хотѣлось имѣть какую-нибудь цѣль, къ чему-нибудь стремиться, иногда она готова была хотя бы каменья таскать съ мѣста на мѣсто или схватить пилу и пилить дрова, лишь бы только стать на что-нибудь годной, только бы

разогрѣть стынущія руки и охладить пылавшую голову.

Но ни въ положеніи ея, ни во всемъ, что ее окружало, не было ничего, къ чему она могла бы приложить свои силы. Правда, старикъ отецъ дѣйствительно иногда нуждался въ ея услугахъ, но это были мелкія услуги, не отымающія много времени,— изъ нихъ самою главною была совмѣстная игра. Впрочемъ и всѣ остальные обитатели Корчина занимались каждый своимъ собственнымъ дѣломъ, не нуждаясь въ ея помощи и не допуская ея участія. Всякій разъ, когда она пробовала почти насильно вмѣшиваться въ ихъ дѣла, она чувствовала себя пятымъ колесомъ въ телѣгѣ. Никто даже и не допускалъ, чтобы въ ея душѣ могла существовать подобная потребность; никому даже и въ голову не приходило что-нибудь подобное. Она была бѣдной родственницей, которая могла еще выйти замужъ, чѣмъ же еще больше могла она быть? Для времяпрепровожденія у нея были книги, рояль, прогулки въ саду, визиты сосѣдей, — чего же еще больше могла она требовать?

Она однако требовала большаго и требовала настолько сильно, что нѣсколько разъ ее серьезно безпокоила мысль оставить Корчинъ и уѣхать куда-нибудь далеко, въ какой-нибудь городъ, гдѣ она могла бы найти трудъ, независимость и цѣль жизни. Но прежде всего имѣла-ли она право взять съ собой и обрекать на борьбу и лишенія своего отца, этого избалованнаго старика, который въ Корчинѣ чувствовалъ себя, какъ въ раю? или оставить его на шеѣ у родственниковъ, у которыхъ было довольно и своихъ собственныхъ заботъ? Затѣмъ, дитя деревни, она боялась разлуки съ нею такъ, какъ если бы ей

предстояло внезапно разломать свою жизнь на двѣ половины. Только одинъ разъ была она съ пани Эмиліей въ большомъ городѣ, который произвелъ на нее впечатлѣніе духоты, тѣсноты, хаоса и блеска не имѣвшаго для нее никакой привлекательности. Она не знала свѣта, не знала его требованій и условій и у нея не хватало рѣшимости броситься въ его омутъ. Наконецъ, она не особенно довѣряла и своимъ способностямъ. Она не принадлежала къ категоріи тѣхъ, которые воображаютъ, что съумѣютъ взяться за всякое дѣло, а также и тѣхъ, которымъ мечты о достиженіи высокаго положенія придаютъ силы и бодрость. Поэтому она обдумывала, колебалась, впадала въ глухой протестъ или мертвую апатію, а дни и годы какъ блестящія, но пустыя внутри бусы, одинъ за другимъ скатывались въ бездну времени.

Обо всемъ этомъ она говорила теперь все быстрѣе, съ постепенно возраставшей живостью. Поспѣшно, взволнованнымъ потокомъ срывались съ ея губъ признанія, которыхъ она до сихъ поръ не дѣлала никогда и ни передъ кѣмъ. Все смѣлѣе и шире раскрывала она передъ Яномъ свою душу, такъ какъ чувствовала, что тотъ, кому она говорила, слушалъ ее тоже всѣми силами своей души и вполнѣ понималъ ее.

Невольно наклонившись къ ней и прислушиваясь съ напряженнымъ вниманіемъ, Янъ отъ времени до времени утвердительно кивалъ головой.

— Конечно,—говорилъ онъ.—А какъ же... разумѣется. Все это правда.

Разъ, когда она замолчала, онъ, подумавъ, сказалъ:

— Все это правда; и стыдно и тяжело пользоваться богатствомъ, да не своимъ; стоять высоко, да

не на своихъ собственныхъ ногахъ; быть молодымъ и сильнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, жить въ вѣчномъ отдыхѣ подобно дряхлому старику...

Въ другой разъ онъ проговорилъ точно самому себѣ;

— Ни птица, ни мышь... будто нетопырь.

И этимъ представленіемъ онъ характеризовалъ въ своемъ умѣ ту смѣсь богатства и бѣдности, образованія и невѣжества, довольно высокаго общественнаго положенія и полнаго жизненнаго ничтожества, которую она олицетворяла собой. Никогда еще не чувствовала она себя понятой такъ вѣрно, такъ тонко понятой, какъ теперь этимъ человѣкомъ, который измѣрялъ ее жизнь и положеніе мѣрой труда и собственной независимости. ... Онъ говорилъ, что не понимаетъ, какъ можетъ она выдержать подобную муку, потому что если бы его заставили сидѣть по цѣлымъ днямъ сложа руки и ожидать изъ милости каждаго куска хлѣба, пріюта и одежды, то онъ навѣрное или утопился бы давно, или повѣсился бы на первой вѣткѣ

— Ребенокъ или старикъ—дѣло другое, но какъ вы могли до сихъ поръ выдержать—удивляюсь, потому что, слава Богу, и здоровья и силъ у васъ, хоть отбавляй... кажется, если бы ведра съ водой вамъ на плечи, то и тутъ вы бы не испугались. ...

Она засмѣялась и отвѣтила, что навѣрное понесла бы; таскаетъ же ихъ Антолька, хоть она почти еще дитя и вдвое худѣе ея. ...

Но онъ, хоть и не понимавшій возможности подобной жизни, все же и не ставилъ этого ей въ вину. Такъ ужъ она родилась и такъ сложилась ея судьба, что она сдѣлалась точно нетопыремъ, который не то мышь, по землѣ бѣгающая, не то птица, подъ

небеса взлетающая. Давно уже догадывался онъ, что она не была счастлива; отъ людей онъ слыхивалъ и то и другое. Что же именно? онъ не говорилъ этого ясно, но однажды у него невольно вырвалось одновременно съ гнѣвнымъ жестомъ:

— Эхъ! Не пошелъ онъ въ своего отца, этотъ Сигизмундъ Корчинскій.

Онъ не окончилъ, смутился, встревоженный опасеніемъ, не разсердилъ ли онъ ее и, отвернувъ лицо, смущенно сталъ объяснять, что людямъ ртовъ не заткнешь. Болтали, а онъ дивился и изъ любопытства началъ присматриваться къ ней каждый разъ, когда ему случалось встрѣтить ее. Это случалось иногда. Она его не видѣла, но онъ видѣлъ ее то въ костелѣ, то когда она шла съ панной Мартой или гуляла съ гостями. Посмотрѣлъ онъ тогда на нее разъ — другой изъ любопытства, а потомъ уже ему вѣчно хотѣлось бы глядѣть на нее, а каждый разъ, какъ онъ видѣлъ ее, сердце въ немъ молотомъ било. Развѣ онъ знаетъ почему? Можетъ быть еще никто на свѣтѣ не дошелъ до того, чтобы объяснить, почему у одного человѣка родится такая пріязнь къ другому, что кажется, если бы онъ клещами старался вырвать ее изъ своего сердца, то и то не вырвалъ бы. Ему однако кажется, что первой причиной этого расположенія было то, что онъ угадалъ въ ней печаль и горе. Случается вѣдь что лицо человѣка выдаетъ все, что таится глубоко въ сердцѣ. Не разъ думалъ онъ, что Господь Богъ далъ ей такую красоту и поставилъ такъ высоко, а счастья не далъ. И сколько бы ни приходилось ему думать объ этомъ, такъ ему точно расплавленный свинецъ въ сердце вливали, такую онъ чувствовалъ въ немъ боль, и такъ ему плакать хотѣлось.

Если бы только онъ могъ, онъ все бы бросилъ и на край свѣта пошелъ бы за живой водой для нея, такъ ему было жаль ее. Но о такой водѣ говорится только въ сказкахъ, и нѣтъ ея нигдѣ на свѣтѣ. А потому послѣ каждаго раза, какъ онъ ее видѣлъ, онъ весь день пѣлъ, или ему хотѣлось запѣть эту пѣсню:

Вышла дѣвица, вышла красная,
Какъ маковъ цвѣтъ;
Руки ломаетъ, слезы утираетъ,
Опостылѣлъ свѣтъ. ...

Разъ, когда онъ, возвращаясь изъ костела, встрѣтилъ ее съ панной Мартой, а потомъ поплылъ съ дядей на могилу, и съ противоположнаго берега увидалъ ее стоявшей у окна, то не могъ утерпѣть и запѣлъ къ ней эту пѣсню, но она навѣрное не глядѣла тогда на него и не слыхала того, что онъ пѣлъ. ...

Напротивъ, она видѣла его тогда и пѣсню эту слышала и даже запомнила такъ хорошо и голосъ и лицо его, что встрѣтившись послѣ этого съ нимъ въ полѣ, она сразу узнала его.

— Не можетъ быть,—вскричалъ онъ, вспыхнувъ отъ радости. Такъ вы хоть одинъ разъ взглянули тогда на меня, а я ужъ думалъ, что никогда не дождаться мнѣ подобнаго счастья. ...

Онъ немного нагнулся, заглянулъ ей въ лицо и сдѣлалъ такое движеніе, какъ будто хотѣлъ схватить ея руку, но только дотронулся до ея рукава и, опустивъ руку, выпрямился и глубоко вздохнулъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ, какъ это бывало съ нимъ всегда въ минуты смущенія или волненія, быстро взглянулъ вверхъ. Юстина въ это время подняла на него глаза и нѣсколько секундъ не опускала ихъ.

Она замѣтила, что, когда онъ такъ смотритъ вверхъ, голубые глаза его казались наполненными расплавленнымъ серебромъ.

Вдругъ они остановились. У ногъ ихъ, выдѣляясь блѣдно-желтой полосой среди зелени, травы и мху, лежало толстое полуотесаное бревно, окруженное слоемъ щепокъ.

— А-а, — удивился Янъ, останавливаясь передъ этимъ препятствіемъ. — Мнѣ кажется, что, когда мы шли туда, то не проходили мимо этого бревна.

— Не проходили,—подтвердила Юстина.

Онъ внимательно посмотрѣлъ кругомъ.

— Что это со мной сталось? Кажется, я хорошо знаю этотъ боръ, а между тѣмъ повелъ васъ совсѣмъ не той дорогой, какой слѣдовало. Слѣпота какая то на меня нашла, что ли. . . .

Теперь онъ внимательно смотрѣлъ на небо, которое уже только кое-гдѣ надъ вершинами деревьевъ просвѣчивало небольшими голубыми пятнами изъ-за тучъ, сливавшихся въ большія темныя массы. У подножья бора угасли всѣ еще недавно такъ ослѣпительно игравшіе лучи солнца, а по вершинамъ его начиналъ шумѣть вѣтеръ пока еще короткими отрывистыми порывами. Птицы защебетали съ удвоенной энергіей, и вѣтви наполнились тревожнымъ шелестомъ крылышекъ. Янъ еще нѣкоторое время осматривался, чтобы дать себѣ ясный отчетъ о расположеніи мѣстности, въ которой они находились.

— Ну, дѣло еще не такъ плохо,—сказалъ онъ.— Мы идемъ въ ту же сторону, но только болѣе длинной дорогой. Теперь намъ нужно только держаться все вправо, и черезъ четверть часа мы выйдемъ на берегъ прямо къ нашей лодкѣ, а черезъ пески не придется уже проходить.

Онъ перескочилъ черезъ бревно и протянулъ руку, чтобы помочь своей спутницѣ, но она сама уже успѣла очутиться по другую сторону бревна, и только край ея платья зацѣпился за вѣтку придавленнаго бревномъ можжевелеваго куста. Онъ нагнулся и въ одно мгновеніе, освободивъ прозрачныя складки кисеи отъ удерживающихъ ихъ колючекъ, съ быстотой молніи прижалъ ихъ къ губамъ. Юстина не могла этого замѣтить, тѣмъ болѣе, что онъ сейчасъ же выпрямился и, озираясь кругомъ еще затуманеннымъ, но съ виду равнодушнымъ взоромъ, проговорилъ тономъ случайнаго замѣчанія:

— Прекрасныя деревья. Панъ Корчинскій могъ бы взять хорошія деньги, если бы продалъ этотъ лѣсъ, но какъ-то все не продаетъ. ...

И черезъ нѣкоторое время продолжалъ:

— Намъ принадлежитъ добрый кусокъ этого лѣса, то есть не дядѣ и мнѣ, а сообща, всей околицѣ. Всѣ имѣютъ право рубить его, а такъ какъ при рубкѣ этой нѣтъ никакого порядка, то изъ-за нея происходятъ вѣчныя ссоры и раздоры. Лѣсъ изводятъ такъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ и щепки отъ него не останется, и другъ съ другомъ за чубы водятся изъ за него. И съ паномъ Корчинскимъ тоже изъ за этого лѣса вѣчная война идетъ, и если бы онъ былъ добрый, то давно бы уже или обмѣнъ какой съ нами сдѣлалъ, или размежеваніе какое, лишь бы только самому не тягаться по судамъ и людей не таскать. Еще и намъ могъ бы помочь завести какой-нибудь порядокъ. Но онъ и говорить съ нами не хочетъ, развѣ только по поводу какого-нибудь дѣла словно къ собакамъ отзовется, а иной разъ, встрѣтившись, и не взглянетъ по человѣчески, а какъ волкъ въ землю смотритъ.

Онъ махнулъ рукой и слегка оттопырилъ губы.

— Что тамъ объ этомъ говорить. Теперь каждый только о себѣ заботится и себя одного любитъ. Панъ Корчинскій также когда-то былъ другимъ, а потомъ что-то его измѣнило... неизвѣстно только, что это можетъ быть такое.

Юстина попробовала оправдывать своего родственника и опекуна, разсказывая о его тяжелыхъ трудахъ и матеріальныхъ затрудненіяхъ. Но ей не было надобности много защищать его предъ этимъ человѣкомъ, сердце котораго было еще такъ молодо, свѣже и не было еще отравлено злобой.

— Конечно, конечно, — повторялъ Янъ, кивая утвердительно головой,—непріятности и всякія кляузы родятъ въ человѣкѣ озлобленіе. Я самъ помню, что когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ Фабіанъ преслѣдовалъ меня, вѣчно задиралъ и поле мое, какъ свое, запахивалъ, такъ меня однажды такая злость взяла, что я какъ пришелъ домой, такъ схватилъ стоявшій на столѣ горшокъ и швырнулъ объ землю, а сестру, тогда еще маленькую, изругалъ и даже противъ дяди ощетинился. А все это я сдѣлалъ не по доброй волѣ, а со злости, изъ за непріятностей и напраслины. Когда часто страдаешь, то трудно бываетъ иной разъ стерпѣть.

Онъ разсказывалъ, что, живя въ околицѣ, приходится переносить много обидъ и непріятностей. Въ одномъ гнѣздѣ неодинаковыя птицы выводятся. Щенята отъ одной собаки и тѣ бываютъ разнаго нрава. Такъ и между людьми. Есть въ околицѣ люди хорошіе и спокойные, но есть и такіе, что, какъ собаки, вѣчно съ сосѣдями грызутся, а все зло больше отъ того происходитъ, что, имѣя мало, каждый

гонится за большимъ, и люди, живя въ такой тѣснотѣ, другъ дружкѣ на ноги наступаютъ.

— Пьянства между нами не бываетъ; разврата и воровства тоже никакого нѣтъ. Хату хоть на цѣлый день оставляй раскрытой, никто и уголька изъ печки не возьметъ. Зато каждую горсть земли каждый изъ горла готовъ вырвать у другого, а за малѣйшій убытокъ или оскорбленіе сейчасъ въ драку или по судамъ тягаются, ну, а за причинами недалеко ходить при такой тѣснотѣ, когда поля ихъ перемѣшаны, точно въ мѣшкѣ горохъ, а усадьбы окномъ къ окну стоятъ.

— Дядя и я,—говорилъ Янъ,—избѣгаемъ по возможности всякихъ ссоръ и тяжбъ, считая ихъ позорящими человѣка, а также и потому, что не находимъ въ нихъ ни удовольствія, ни пользы. Лучше съѣсть одинъ кусокъ въ мирѣ, чѣмъ два въ ссорѣ. Сахару пригоршнями мы не ѣдимъ, но нужды никогда не терпимъ. Правда, что въ околицѣ мы слывемъ за богачей, потому что все хозяйство принадлежитъ только намъ двоимъ, то есть собственно дядѣ, но это все равно. Притомъ же и земли у насъ довольно, морговъ двадцать будетъ. Только у трехъ хозяевъ въ околицѣ найдется столько же, но зато у нихъ и семьи большія, напримѣръ, у Фабіана, у котораго семь душъ въ хатѣ. У другихъ земли куда меньше: по десять, восемь, пять морговъ, а есть и такіе, которые, какъ, напримѣръ, Ладысь, и четверти бочки не высѣваютъ. Что же тутъ удивительнаго, если въ чужое залѣзутъ? Пустое брюхо ворчитъ. У нихъ самихъ тоже была нужда, когда дядя лежалъ больной, а онъ, Янъ, былъ еще малъ и не на многое пригоденъ. Теперь же они не только хорошо живутъ, но и Антолька получитъ приданное, когда замужъ выхо-

дить будетъ; небольшое, рублей пятьсотъ, но все таки оно очень пригодится Михаилу, хотя онъ и безъ того взялъ бы ее, ну, а все-таки ей больше уваженія будетъ и отъ мужа, и отъ его родни, когда она войдетъ въ домъ не съ пустыми руками. Да и сама дѣвушка заслужила этого, потому что работница она хорошая и, несмотря на свою молодость, изъ всего умѣетъ извлекать пользу: изъ коровъ, птицы, пряжи, тканья. Коровъ у нихъ четыре, овецъ двадцать; слѣдовало бы больше держать, да съ пастбищемъ и сѣнокосомъ бѣда. Двѣ нужды терпитъ околица: первая та, что пастбищъ и луговъ мало, а вторая — что вода ужъ очень тяжело достается. Вообще же трудъ около хозяйства не Богъ вѣсть какой; надорваться во всякомъ случаѣ нельзя. Бываетъ время страды, а бываетъ и отдыхъ, зимой, напримѣръ. Работа и тогда есть, но не всегда. По вечерамъ кто столярничаетъ, кто плететъ сѣти; есть одинъ сапожникъ; наконецъ, собираются въ такихъ домахъ, гдѣ есть большая свѣтлица, играютъ на гармоніи и скрипкѣ, поютъ, иногда танцуютъ, иногда читаютъ. Читали бы больше и чаще, но тѣ книги, что у дяди есть, давно уже перечитаны, а другихъ. . . .

Тутъ онъ прервалъ и съ безпокойствомъ оглянулся.

Изъ глубины бора летѣлъ и надвигался глухой шумъ, точно въ воздухѣ катился съ глухимъ гуломъ гигантскій шаръ. Верхушки сосенъ закачались и зашевелили вѣтвями, будто вѣерами. На дно лѣса, точно покрывало изъ темнаго крепа, спустился однообразный сѣроватый сумракъ, прорѣзанный кое-гдѣ яркими лучами красноватаго свѣта. Птицы забились въ листву и притихли, только изрѣдка перекликаясь отрывистымъ чириканіемъ; мѣрное постукиваніе дят-

ловъ и желнъ прекратилось; въ кустахъ и подъ зарослями слышался поспѣшный шелестъ насѣкомыхъ; бѣлка, взбиравшаяся на высокую сосну, остановилась на полдорогѣ и, зацѣпившись за сучекъ, свѣсила голову и безпокойно глядѣла черными испуганными глазами на потемнѣвшую землю. Надъ качающимися вершинами и развѣвающимися вѣтвями деревьевъ небо заволоклось пушистыми вздувшимися темносѣрыми тучами; подъ ними съ пронзительнымъ карканіемъ пролетѣла стая воронъ и исчезла среди волнующихся вершинъ бора, внезапно умолкнувъ передъ надвигавшимися изъ отдаленія гуломъ и грохотомъ.

Янъ съ безпокойствомъ взглянулъ на Юстину.

— Буря надвигается. Вы не боитесь?

Она отвѣтила, что не испытываетъ ни малѣйшей тревоги, и съ любопытствомъ присматривалась къ подробностямъ мрачной въ эту минуту картины природы. Но, должно быть, картина эта все-таки производила на нее гнетущее или тревожное впечатлѣніе, потому что лицо ея немного поблѣднѣло, и дрожь пробѣжала по ея тѣлу, прикрытому однимъ лишь легкимъ кисейнымъ платьемъ.

Янъ отчаяннымъ жестомъ схватился за голову.

— Дуракъ я, сумасшедшій! — вскричалъ Янъ. — Какъ же это я позволилъ себѣ такъ заблудиться и подвергнуть васъ страху, а то и простудѣ.

Онъ однако быстро подавилъ свое волненіе; его обычное хладнокровіе снова вернулось къ нему.

— Въ лѣсу никакъ невозможно оставаться, потому что вихрь скоро станетъ ломать вѣтви, а иное тонкое деревцо и съ корнемъ выворотитъ. Лучше ужъ плыть. Вода понесетъ лодку стрѣлой, и минутъ черезъ десять мы будемъ у околицы. Ливня, можетъ быть, и не будетъ или будетъ очень короткій, по-

тому что тучи мчатся, какъ птицы, да если и будетъ, то лучше получить на голову ведро воды, чѣмъ цѣлую сосну. Идемъ скорѣе.

И съ этими словами онъ взялъ Юстину за руку и пустился почти бѣгомъ къ опушкѣ лѣса. Черезъ нѣсколько минутъ они уже стояли на узкомъ каменистомъ берегу. Потемнѣвшая, какъ и небо, рѣка, взбудораженная бѣшенымъ вѣтромъ, катила свои вздувшіяся, изгибавшіяся правильными полукругами волны, покрытыя гребнями бѣлой пѣны. ... Янъ вскочилъ въ лодку, сильнымъ толчкомъ сдвинулъ ее съ песка въ воду и, придерживая весломъ у берега, крикнулъ Юстинѣ:

— Садитесь скорѣй.

Она стояла въ нерѣшимости, поглядывая на взбудораженную поверхность рѣки, на маленькую лодочку, которую вода, несмотря на сильно удерживающее ее весло, дергала и метала; она еще сильнѣе поблѣднѣла и не знала, на что рѣшиться. Брови Яна сдвинулись надъ глазами, въ которыхъ блеснулъ нетерпѣливый огонь.

— Тутъ некогда раздумывать. Садитесь въ лодку,—крикнулъ онъ, и голосъ его въ шумѣ и завываніи бури звучалъ рѣшительно, почти повелительно.

Колебаніе Юстины исчезло безслѣдно. Она подбѣжала къ лодкѣ, вскочила въ нее и усѣлась на днѣ. Онъ быстрымъ движеніемъ поправилъ вѣтки тополя, устилавшія лодку, и увѣренно, но уже мягче проговорилъ:

— Не пугайтесь, прошу васъ. И не въ такую еще погоду случалось мнѣ плыть по Нѣману, а плаваю я почти какъ рыба. ...

Но она уже перестала бояться; его сила внушила ей довѣріе къ нему. Въ эту минуту вихрь съ яростью

налетѣлъ на окраину бора, который вдругъ огласился сухимъ трескомъ ломающихся вѣтвей и скрипѣніемъ раскачиваемыхъ сосенъ, а все пространство отъ одного края горизонта до другого, между темнымъ небомъ и темной водой наполнилось одной густой, непроницаемой, съ каждой секундой сгущавшейся дождевой мглой. Юстина снова задрожала съ головы до ногъ.

— Непривычная,—прошепталъ Янъ,—точно ребеночекъ.

Съ быстротой молніи, снявъ съ себя сермяжку, онъ набросилъ ее на свою спутницу, которая вся исчезла подъ ней, а самъ, стоя на носу, сильно ударялъ весломъ о воду. Вихрь бушевалъ; темныя тучи съ быстротою птицъ мчались по затянутому бѣлой пеленой небу; одинокія вербы и груши бѣшено метались надъ высокимъ берегомъ. Съ другой стороны стоялъ боръ, кипѣвшій внутри, но снаружи неподвижный, точно каменная стѣна, а по темной, вздувшейся рѣкѣ, усѣянной бѣлыми пятнами пѣны, стрѣлой мчалась лодка все наискось и разрѣзая носомъ волны. Она не была единственной; впереди нея точно такимъ же образомъ мчалась другая, третья, четвертая; то рыбаки старались избѣжать неожиданной вспышки природы. На встрѣчу этимъ чернымъ перелетнымъ птицамъ съ противоположной стороны медленно надвигались тяжелые, походившіе на водяныхъ чудовищъ, печальные плоты. Ударяя по водѣ тяжелыми рулями, точно исполинскими плавниками, они выдѣлялись среди всеобщаго сѣраго хаоса мокрой, точно покрытой слезами, желтизной своихъ бревенъ. Янъ былъ правъ. Не прошло и четверти часа, какъ на высокой горѣ уже показались дома и сады околицы. Рыбачьи лодки уже стояли на песчаномъ

берегу, а въ порѣдѣвшей дождевой мглѣ виднѣлись рыбаки, спокойнымъ шагомъ взбиравшіеся на гору. За однимъ изъ нихъ, самымъ плечистымъ и самымъ равнодушнымъ къ бурѣ, тащился, опустивъ хвостъ и морду, черный измокшій песъ.

Когда Юстина вышла на берегъ, внезапный крикъ, которымъ разразилась природа, уже утихалъ, а плачъ ея прекратился. Вихрь, который раньше нагналъ тучи, теперь разогналъ ихъ и мчалъ все дальше по одной половинѣ небосклона, другая половина котораго неожиданно одѣлась сіяющей лазурью и загорѣлась золотымъ дискомъ солнца, чистымъ, большимъ и озарявшимъ западный край неба широкой полосой жидкаго золота. Полоса эта отразилась въ рѣкѣ, засверкавшей сапфирами и золотомъ, а надъ ея поверхностью съ медленно ползущихъ и повеселѣвшихъ плотовъ поднялись извилистыя золотыя струйки дыма. Зеленая гора съ покрывавшей ее сѣтью тропинокъ вся сіяла хрустальными каплями, дрожавшими и сверкавшими на каждомъ стебелькѣ травы, на каждомъ листочкѣ бурьяна. Въ вышинѣ грянулъ веселый птичій хоръ, и снизу можно было видѣть, съ какой радостью прыгали и порхали птицы въ сверкавшихъ солнечнымъ свѣтомъ вѣтвяхъ деревьевъ, росшихъ у вершины горы. Вѣтеръ слабѣлъ и затихалъ, продолжая еще слегка дуть съ одной стороны. Тучи клубились и смѣшивались, свертываясь противъ солнца полукруглымъ серебристымъ валомъ.

Юстина поднялась по одной изъ вьющихся тропинокъ и остановилась на половинѣ горы подъ развѣсистымъ тополемъ. Янъ вытащилъ лодку на песокъ и, сдѣлавъ нѣсколько прыжковъ, очутился около нея. Онъ казался безпокойнымъ и смущен-

не на своихъ собственныхъ ногахъ; быть молодымъ и сильнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, жить въ вѣчномъ отдыхѣ подобно дряхлому старику...

Въ другой разъ онъ проговорилъ точно самому себѣ;

— Ни птица, ни мышь... будто нетопырь.

И этимъ представленіемъ онъ характеризовалъ въ своемъ умѣ ту смѣсь богатства и бѣдности, образованія и невѣжества, довольно высокаго общественнаго положенія и полнаго жизненнаго ничтожества, которую она олицетворяла собой. Никогда еще не чувствовала она себя понятой такъ вѣрно, такъ тонко понятой, какъ теперь этимъ человѣкомъ, который измѣрялъ ее жизнь и положеніе мѣрой труда и собственной независимости. ... Онъ говорилъ, что̀ не понимаетъ, какъ можетъ она выдержать подобную муку, потому что если бы его заставили сидѣть по цѣлымъ днямъ сложа руки и ожидать изъ милости каждаго куска хлѣба, пріюта и одежды, то онъ навѣрное или утопился бы давно, или повѣсился бы на первой вѣткѣ

— Ребенокъ или старикъ—дѣло другое, но какъ вы могли до сихъ поръ выдержать—удивляюсь, потому что, слава Богу, и здоровья и силъ у васъ, хоть отбавляй... кажется, если бы ведра съ водой вамъ на плечи, то и тутъ вы бы не испугались. ...

Она засмѣялась и отвѣтила, что навѣрное понесла бы; таскаетъ же ихъ Антолька, хоть она почти еще дитя и вдвое худѣе ея. ...

Но онъ, хоть и не понимавшій возможности подобной жизни, все же и не ставилъ этого ей въ вину. Такъ ужъ она родилась и такъ сложилась ея судьба, что она сдѣлалась точно нетопыремъ, который не то мышь, по землѣ бѣгающая, не то птица, подъ

небеса взлетающая. Давно уже догадывался онъ, что она не была счастлива; отъ людей онъ слыхивалъ и то и другое. Что же именно? онъ не говорилъ этого ясно, но однажды у него невольно вырвалось одновременно съ гнѣвнымъ жестомъ:

— Эхъ! Не пошелъ онъ въ своего отца, этотъ Сигизмундъ Корчинскій.

Онъ не окончилъ, смутился, встревоженный опасеніемъ, не разсердилъ ли онъ ее и, отвернувъ лицо, смущенно сталъ объяснять, что людямъ ртовъ не заткнешь. Болтали, а онъ дивился и изъ любопытства началъ присматриваться къ ней каждый разъ, когда ему случалось встрѣтить ее. Это случалось иногда. Она его не видѣла, но онъ видѣлъ ее то въ костелѣ, то когда она шла съ панной Мартой или гуляла съ гостями. Посмотрѣлъ онъ тогда на нее разъ — другой изъ любопытства, а потомъ уже ему вѣчно хотѣлось бы глядѣть на нее, а каждый разъ, какъ онъ видѣлъ ее, сердце въ немъ молотомъ било. Развѣ онъ знаетъ почему? Можетъ быть еще никто на свѣтѣ не дошелъ до того, чтобы объяснить, почему у одного человѣка родится такая пріязнь къ другому, что кажется, если бы онъ клещами старался вырвать ее изъ своего сердца, то и то не вырвалъ бы. Ему однако кажется, что первой причиной этого расположенія было то, что онъ угадалъ въ ней печаль и горе. Случается вѣдь что лицо человѣка выдаетъ все, что таится глубоко въ сердцѣ. Не разъ думалъ онъ, что Господь Богъ далъ ей такую красоту и поставилъ такъ высоко, а счастья не далъ. И сколько бы ни приходилось ему думать объ этомъ, такъ ему точно расплавленный свинецъ въ сердце вливали, такую онъ чувствовалъ въ немъ боль, и такъ ему плакать хотѣлось.

Если бы только онъ могъ, онъ все бы бросилъ и на край свѣта пошелъ бы за живой водой для нея, такъ ему было жаль ее. Но о такой водѣ говорится только въ сказкахъ, и нѣтъ ея нигдѣ на свѣтѣ. А потому послѣ каждаго раза, какъ онъ ее видѣлъ, онъ весь день пѣлъ, или ему хотѣлось запѣть эту пѣсню:

Вышла дѣвица, вышла красная,
Какъ маковъ цвѣтъ;
Руки ломаетъ, слезы утираетъ,
Опостылѣлъ свѣтъ. ...

Разъ, когда онъ, возвращаясь изъ костела, встрѣтилъ ее съ панной Мартой, а потомъ поплылъ съ дядей на могилу, и съ противоположнаго берега увидалъ ее стоявшей у окна, то не могъ утерпѣть и запѣлъ къ ней эту пѣсню, но она навѣрное не глядѣла тогда на него и не слыхала того, что онъ пѣлъ. ...

Напротивъ, она видѣла его тогда и пѣсню эту слышала и даже запомнила такъ хорошо и голосъ и лицо его, что встрѣтившись послѣ этого съ нимъ въ полѣ, она сразу узнала его.

— Не можетъ быть,—вскричалъ онъ, вспыхнувъ отъ радости. Такъ вы хоть одинъ разъ взглянули тогда на меня, а я ужъ думалъ, что никогда не дождаться мнѣ подобнаго счастья. ...

Онъ немного нагнулся, заглянулъ ей въ лицо и сдѣлалъ такое движеніе, какъ будто хотѣлъ схватить ея руку, но только дотронулся до ея рукава и, опустивъ руку, выпрямился и глубоко вздохнулъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ, какъ это бывало съ нимъ всегда въ минуты смущенія или волненія, быстро взглянулъ вверхъ. Юстина въ это время подняла на него глаза и нѣсколько секундъ не опускала ихъ.

Она замѣтила, что, когда онъ такъ смотритъ вверхъ, голубые глаза его казались наполненными расплавленнымъ серебромъ.

Вдругъ они остановились. У ногъ ихъ, выдѣляясь блѣдно-желтой полосой среди зелени, травы и мху, лежало толстое полуотесаное бревно, окруженное слоемъ щепокъ.

— А-а, — удивился Янъ, останавливаясь передъ этимъ препятствіемъ. — Мнѣ кажется, что, когда мы шли туда, то не проходили мимо этого бревна.

— Не проходили,—подтвердила Юстина.

Онъ внимательно посмотрѣлъ кругомъ.

— Что это со мной сталось? Кажется, я хорошо знаю этотъ боръ, а между тѣмъ повелъ васъ совсѣмъ не той дорогой, какой слѣдовало. Слѣпота какая то на меня нашла, что ли. . . .

Теперь онъ внимательно смотрѣлъ на небо, которое уже только кое-гдѣ надъ вершинами деревьевъ просвѣчивало небольшими голубыми пятнами изъ-за тучъ, сливавшихся въ большія темныя массы. У подножья бора угасли всѣ еще недавно такъ ослѣпительно игравшіе лучи солнца, а по вершинамъ его начиналъ шумѣть вѣтеръ пока еще короткими отрывистыми порывами. Птицы защебетали съ удвоенной энергіей, и вѣтви наполнились тревожнымъ шелестомъ крылышекъ. Янъ еще нѣкоторое время осматривался, чтобы дать себѣ ясный отчетъ о расположеніи мѣстности, въ которой они находились.

— Ну, дѣло еще не такъ плохо,—сказалъ онъ.— Мы идемъ въ ту же сторону, но только болѣе длинной дорогой. Теперь намъ нужно только держаться все вправо, и черезъ четверть часа мы выйдемъ на берегъ прямо къ нашей лодкѣ, а черезъ пески не придется уже проходить.

Онъ перескочилъ черезъ бревно и протянулъ руку, чтобы помочь своей спутницѣ, но она сама уже успѣла очутиться по другую сторону бревна, и только край ея платья зацѣпился за вѣтку придавленнаго бревномъ можжевелеваго куста. Онъ нагнулся и въ одно мгновеніе, освободивъ прозрачныя складки кисеи отъ удерживающихъ ихъ колючекъ, съ быстотой молніи прижалъ ихъ къ губамъ. Юстина не могла этого замѣтить, тѣмъ болѣе, что онъ сейчасъ же выпрямился и, озираясь кругомъ еще затуманеннымъ, но съ виду равнодушнымъ взоромъ, проговорилъ тономъ случайнаго замѣчанія:

— Прекрасныя деревья. Панъ Корчинскій могъ бы взять хорошія деньги, если бы продалъ этотъ лѣсъ, но какъ-то все не продаетъ. ...

И черезъ нѣкоторое время продолжалъ:

— Намъ принадлежитъ добрый кусокъ этого лѣса, то есть не дядѣ и мнѣ, а сообща, всей околицѣ. Всѣ имѣютъ право рубить его, а такъ какъ при рубкѣ этой нѣтъ никакого порядка, то изъ-за нея происходятъ вѣчныя ссоры и раздоры. Лѣсъ изводятъ такъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ и щепки отъ него не останется, и другъ съ другомъ за чубы водятся изъ за него. И съ паномъ Корчинскимъ тоже изъ за этого лѣса вѣчная война идетъ, и если бы онъ былъ добрый, то давно бы уже или обмѣнъ какой съ нами сдѣлалъ, или размежеваніе какое, лишь бы только самому не тягаться по судамъ и людей не таскать. Еще и намъ могъ бы помочь завести какой-нибудь порядокъ. Но онъ и говорить съ нами не хочетъ, развѣ только по поводу какого-нибудь дѣла словно къ собакамъ отзовется, а иной разъ, встрѣтившись, и не взглянетъ по человѣчески, а какъ волкъ въ землю смотритъ.

Онъ махнулъ рукой и слегка оттопырилъ губы.

— Что тамъ объ этомъ говорить. Теперь каждый только о себѣ заботится и себя одного любитъ. Панъ Корчинскій также когда-то былъ другимъ, а потомъ что-то его измѣнило... неизвѣстно только, что это можетъ быть такое.

Юстина попробовала оправдывать своего родственника и опекуна, разсказывая о его тяжелыхъ трудахъ и матеріальныхъ затрудненіяхъ. Но ей не было надобности много защищать его предъ этимъ человѣкомъ, сердце котораго было еще такъ молодо, свѣже и не было еще отравлено злобой.

— Конечно, конечно, — повторялъ Янъ, кивая утвердительно головой,—непріятности и всякія кляузы родятъ въ человѣкѣ озлобленіе. Я самъ помню, что когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ Фабіанъ преслѣдовалъ меня, вѣчно задиралъ и поле мое, какъ свое, запахивалъ, такъ меня однажды такая злость взяла, что я какъ пришелъ домой, такъ схватилъ стоявшій на столѣ горшокъ и швырнулъ объ землю, а сестру, тогда еще маленькую, изругалъ и даже противъ дяди ощетинился. А все это я сдѣлалъ не по доброй волѣ, а со злости, изъ за непріятностей и напраслины. Когда часто страдаешь, то трудно бываетъ иной разъ стерпѣть.

Онъ разсказывалъ, что, живя въ околицѣ, приходится переносить много обидъ и непріятностей. Въ одномъ гнѣздѣ неодинаковыя птицы выводятся. Щенята отъ одной собаки и тѣ бываютъ разнаго нрава. Такъ и между людьми. Есть въ околицѣ люди хорошіе и спокойные, но есть и такіе, что, какъ собаки, вѣчно съ сосѣдями грызутся, а все зло больше отъ того происходитъ, что, имѣя мало, каждый

гонится за большимъ, и люди, живя въ такой тѣснотѣ, другъ дружкѣ на ноги наступаютъ.

— Пьянства между нами не бываетъ; разврата и воровства тоже никакого нѣтъ. Хату хоть на цѣлый день оставляй раскрытой, никто и уголька изъ печки не возьметъ. Зато каждую горсть земли каждый изъ горла готовъ вырвать у другого, а за малѣйшій убытокъ или оскорбленіе сейчасъ въ драку или по судамъ тягаются, ну, а за причинами недалеко ходить при такой тѣснотѣ, когда поля ихъ перемѣшаны, точно въ мѣшкѣ горохъ, а усадьбы окномъ къ окну стоятъ.

— Дядя и я,—говорилъ Янъ,—избѣгаемъ по возможности всякихъ ссоръ и тяжбъ, считая ихъ позорящими человѣка, а также и потому, что не находимъ въ нихъ ни удовольствія, ни пользы. Лучше съѣсть одинъ кусокъ въ мирѣ, чѣмъ два въ ссорѣ. Сахару пригоршнями мы не ѣдимъ, но нужды никогда не терпимъ. Правда, что въ околицѣ мы слывемъ за богачей, потому что все хозяйство принадлежитъ только намъ двоимъ, то есть собственно дядѣ, но это все равно. Притомъ же и земли у насъ довольно, морговъ двадцать будетъ. Только у трехъ хозяевъ въ околицѣ найдется столько же, но зато у нихъ и семьи большія, напримѣръ, у Фабіана, у котораго семь душъ въ хатѣ. У другихъ земли куда меньше: по десять, восемь, пять морговъ, а есть и такіе, которые, какъ, напримѣръ, Ладысь, и четверти бочки не высѣваютъ. Что же тутъ удивительнаго, если въ чужое залѣзутъ? Пустое брюхо ворчитъ. У нихъ самихъ тоже была нужда, когда дядя лежалъ больной, а онъ, Янъ, былъ еще малъ и не на многое пригоденъ. Теперь же они не только хорошо живутъ, но и Антолька получитъ приданное, когда замужъ выхо-

дить будетъ; небольшое, рублей пятьсотъ, но все таки оно очень пригодится Михаилу, хотя онъ и безъ того взялъ бы ее, ну, а все-таки ей больше уваженія будетъ и отъ мужа, и отъ его родни, когда она войдетъ въ домъ не съ пустыми руками. Да и сама дѣвушка заслужила этого, потому что работница она хорошая и, несмотря на свою молодость, изъ всего умѣетъ извлекать пользу: изъ коровъ, птицы, пряжи, тканья. Коровъ у нихъ четыре, овецъ двадцать; слѣдовало бы больше держать, да съ пастбищемъ и сѣнокосомъ бѣда. Двѣ нужды терпитъ околица: первая та, что пастбищъ и луговъ мало, а вторая — что вода ужъ очень тяжело достается. Вообще же трудъ около хозяйства не Богъ вѣсть какой; надорваться во всякомъ случаѣ нельзя. Бываетъ время страды, а бываетъ и отдыхъ, зимой, напримѣръ. Работа и тогда есть, но не всегда. По вечерамъ кто столярничаетъ, кто плететъ сѣти; есть одинъ сапожникъ; наконецъ, собираются въ такихъ домахъ, гдѣ есть большая свѣтлица, играютъ на гармоніи и скрипкѣ, поютъ, иногда танцуютъ, иногда читаютъ. Читали бы больше и чаще, но тѣ книги, что у дяди есть, давно уже перечитаны, а другихъ. . . .

Тутъ онъ прервалъ и съ безпокойствомъ оглянулся.

Изъ глубины бора летѣлъ и надвигался глухой шумъ, точно въ воздухѣ катился съ глухимъ гуломъ гигантскій шаръ. Верхушки сосенъ закачались и зашевелили вѣтвями, будто вѣерами. На дно лѣса, точно покрывало изъ темнаго крепа, спустился однообразный сѣроватый сумракъ, прорѣзанный кое-гдѣ яркими лучами красноватаго свѣта. Птицы забились въ листву и притихли, только изрѣдка перекликаясь отрывистымъ чириканіемъ; мѣрное постукиваніе дят-

ловъ и желнъ прекратилось; въ кустахъ и подъ зарослями слышался поспѣшный шелестъ насѣкомыхъ; бѣлка, взбиравшаяся на высокую сосну, остановилась на полдорогѣ и, зацѣпившись за сучекъ, свѣсила голову и безпокойно глядѣла черными испуганными глазами на потемнѣвшую землю. Надъ качающимися вершинами и развѣвающимися вѣтвями деревьевъ небо заволоклось пушистыми вздувшимися темносѣрыми тучами; подъ ними съ пронзительнымъ карканіемъ пролетѣла стая воронъ и исчезла среди волнующихся вершинъ бора, внезапно умолкнувъ передъ надвигавшимися изъ отдаленія гуломъ и грохотомъ.

Янъ съ безпокойствомъ взглянулъ на Юстину.

— Буря надвигается. Вы не боитесь?

Она отвѣтила, что не испытываетъ ни малѣйшей тревоги, и съ любопытствомъ присматривалась къ подробностямъ мрачной въ эту минуту картины природы. Но, должно быть, картина эта все-таки производила на нее гнетущее или тревожное впечатлѣніе, потому что лицо ея немного поблѣднѣло, и дрожь пробѣжала по ея тѣлу, прикрытому однимъ лишь легкимъ кисейнымъ платьемъ.

Янъ отчаяннымъ жестомъ схватился за голову.

— Дуракъ я, сумасшедшій! — вскричалъ Янъ. — Какъ же это я позволилъ себѣ такъ заблудиться и подвергнуть васъ страху, а то и простудѣ.

Онъ однако быстро подавилъ свое волненіе; его обычное хладнокровіе снова вернулось къ нему.

— Въ лѣсу никакъ невозможно оставаться, потому что вихрь скоро станетъ ломать вѣтви, а иное тонкое деревцо и съ корнемъ выворотитъ. Лучше ужъ плыть. Вода понесетъ лодку стрѣлой, и минутъ черезъ десять мы будемъ у околицы. Ливня, можетъ быть, и не будетъ или будетъ очень короткій, по-

тому что тучи мчатся, какъ птицы, да если и будетъ, то лучше получить на голову ведро воды, чѣмъ цѣлую сосну. Идемъ скорѣе.

И съ этими словами онъ взялъ Юстину за руку и пустился почти бѣгомъ къ опушкѣ лѣса. Черезъ нѣсколько минутъ они уже стояли на узкомъ каменистомъ берегу. Потемнѣвшая, какъ и небо, рѣка, взбудораженная бѣшенымъ вѣтромъ, катила свои вздувшіяся, изгибавшіяся правильными полукругами волны, покрытыя гребнями бѣлой пѣны. ... Янъ вскочилъ въ лодку, сильнымъ толчкомъ сдвинулъ ее съ песка въ воду и, придерживая весломъ у берега, крикнулъ Юстинѣ:

— Садитесь скорѣй.

Она стояла въ нерѣшимости, поглядывая на взбудораженную поверхность рѣки, на маленькую лодочку, которую вода, несмотря на сильно удерживающее ее весло, дергала и метала; она еще сильнѣе поблѣднѣла и не знала, на что рѣшиться. Брови Яна сдвинулись надъ глазами, въ которыхъ блеснулъ нетерпѣливый огонь.

— Тутъ некогда раздумывать. Садитесь въ лодку,—крикнулъ онъ, и голосъ его въ шумѣ и завываніи бури звучалъ рѣшительно, почти повелительно.

Колебаніе Юстины исчезло безслѣдно. Она подбѣжала къ лодкѣ, вскочила въ нее и усѣлась на днѣ. Онъ быстрымъ движеніемъ поправилъ вѣтки тополя, устилавшія лодку, и увѣренно, но уже мягче проговорилъ:

— Не пугайтесь, прошу васъ. И не въ такую еще погоду случалось мнѣ плыть по Нѣману, а плаваю я почти какъ рыба. ...

Но она уже перестала бояться; его сила внушила ей довѣріе къ нему. Въ эту минуту вихрь съ яростью

налетѣлъ на окраину бора, который вдругъ огласился сухимъ трескомъ ломающихся вѣтвей и скрипѣніемъ раскачиваемыхъ сосенъ, а все пространство отъ одного края горизонта до другого, между темнымъ небомъ и темной водой наполнилось одной густой, непроницаемой, съ каждой секундой сгущавшейся дождевой мглой. Юстина снова задрожала съ головы до ногъ.

— Непривычная,—прошепталъ Янъ,—точно ребеночекъ.

Съ быстротой молніи, снявъ съ себя сермяжку, онъ набросилъ ее на свою спутницу, которая вся исчезла подъ ней, а самъ, стоя на носу, сильно ударялъ весломъ о воду. Вихрь бушевалъ; темныя тучи съ быстротою птицъ мчались по затянутому бѣлой пеленой небу; одинокія вербы и груши бѣшено метались надъ высокимъ берегомъ. Съ другой стороны стоялъ боръ, кипѣвшій внутри, но снаружи неподвижный, точно каменная стѣна, а по темной, вздувшейся рѣкѣ, усѣянной бѣлыми пятнами пѣны, стрѣлой мчалась лодка все наискось и разрѣзая носомъ волны. Она не была единственной; впереди нея точно такимъ же образомъ мчалась другая, третья, четвертая; то рыбаки старались избѣжать неожиданной вспышки природы. На встрѣчу этимъ чернымъ перелетнымъ птицамъ съ противоположной стороны медленно надвигались тяжелые, походившіе на водяныхъ чудовищъ, печальные плоты. Ударяя по водѣ тяжелыми рулями, точно исполинскими плавниками, они выдѣлялись среди всеобщаго сѣраго хаоса мокрой, точно покрытой слезами, желтизной своихъ бревенъ. Янъ былъ правъ. Не прошло и четверти часа, какъ на высокой горѣ уже показались дома и сады околицы. Рыбачьи лодки уже стояли на песчаномъ

берегу, а въ порѣдѣвшей дождевой мглѣ виднѣлись рыбаки, спокойнымъ шагомъ взбиравшіеся на гору. За однимъ изъ нихъ, самымъ плечистымъ и самымъ равнодушнымъ къ бурѣ, тащился, опустивъ хвостъ и морду, черный измокшій песъ.

Когда Юстина вышла на берегъ, внезапный крикъ, которымъ разразилась природа, уже утихалъ, а плачъ ея прекратился. Вихрь, который раньше нагналъ тучи, теперь разогналъ ихъ и мчалъ все дальше по одной половинѣ небосклона, другая половина котораго неожиданно одѣлась сіяющей лазурью и загорѣлась золотымъ дискомъ солнца, чистымъ, большимъ и озарявшимъ западный край неба широкой полосой жидкаго золота. Полоса эта отразилась въ рѣкѣ, засверкавшей сапфирами и золотомъ, а надъ ея поверхностью съ медленно ползущихъ и повеселѣвшихъ плотовъ поднялись извилистыя золотыя струйки дыма. Зеленая гора съ покрывавшей ее сѣтью тропинокъ вся сіяла хрустальными каплями, дрожавшими и сверкавшими на каждомъ стебелькѣ травы, на каждомъ листочкѣ бурьяна. Въ вышинѣ грянулъ веселый птичій хоръ, и снизу можно было видѣть, съ какой радостью прыгали и порхали птицы въ сверкавшихъ солнечнымъ свѣтомъ вѣтвяхъ деревьевъ, росшихъ у вершины горы. Вѣтеръ слабѣлъ и затихалъ, продолжая еще слегка дуть съ одной стороны. Тучи клубились и смѣшивались, свертываясь противъ солнца полукруглымъ серебристымъ валомъ.

Юстина поднялась по одной изъ вьющихся тропинокъ и остановилась на половинѣ горы подъ развѣсистымъ тополемъ. Янъ вытащилъ лодку на песокъ и, сдѣлавъ нѣсколько прыжковъ, очутился около нея. Онъ казался безпокойнымъ и смущен-

нымъ; ни тѣни улыбки не было на его лицѣ. Стоя въ промокшей рубашкѣ, съ мокрой сермягой на рукѣ, онъ быстро задалъ Юстинѣ нѣсколько вопросовъ сразу.

— Очень испугались? Измокли? Можетъ быть, простудились?

Но достаточно было взглянуть на нее, чтобы убѣдиться, что минуты, проведенныя ею въ лодкѣ, были для нея совсѣмъ не мучительны, а, наоборотъ, можетъ быть, даже доставили ей наслажденіе. Съ того момента, когда она усѣлась въ лодку и увидала въ глазахъ Яна блескъ отваги, а въ вытянутыхъ для борьбы рукахъ силу и ловкость, всякая тревога исчезла въ ней, а взамѣнъ того ее до глубины души охватило сладостное чувство довѣрія. Она вѣрила въ него. Когда онъ стоялъ на носу лодки, сдвинувъ брови, и, сосредоточивъ во взглядѣ всѣ силы своей души, наклонялся къ водѣ и отталкивалъ весломъ предательскую стихію, спокойно и увѣренно прокладывая дорогу по водной пустынѣ, онъ казался ей олицетвореніемъ силы и храбрости, и она также почувствовала себя смѣлой, сильной и гордой и имъ и тѣмъ, что сумѣла довѣриться ему. Подымая съ трудомъ вѣки, она, сквозь густую сѣтку ливня, успѣла замѣтить нѣсколько быстрыхъ, полныхъ тревоги и заботы, взглядовъ, которые онъ бросилъ на нее, и безконечная признательность вмѣстѣ съ довѣріемъ къ этому сердцу, которое такъ искренно и просто повергалось къ ея ногамъ, наполнили ея душу радостью и восторгомъ. Охваченная счастьемъ, она стояла подъ тополемъ и увѣряла Яна, что она не испугалась, не промокла, не простудилась и сожалѣетъ только о томъ, что поѣздка ихъ не продолжалась дольше.

— Ну, и славу Богу, — вскричалъ онъ.

Видя ее здоровой и веселой, онъ совершенно успокоился. Притомъ онъ убѣдился въ томъ, что она дѣйствительно не промокла. Сермяга его была такая толстая и хоть на немъ казалась короткой, но ее такъ хорошо закрыла, что платье ея только слегка пропиталось сыростью. За то ея мокрые волосы съ удвоенной тяжестью спустились ей на затылокъ. Она встряхнула головой, и свободно связанный узелъ, еще болѣе ослабѣвшій во время бури, распустился окончательно и черной влажной волной покрылъ ея плечи. Можетъ быть, она и сама не сознавала того, что въ эту минуту она была кокеткой, но онъ прильнулъ загорѣвшимся взоромъ къ этимъ распустившимся волнистымъ прядямъ и, стоя позади нея, протянулъ къ нимъ руку, отдернулъ, снова протянулъ и, наконецъ, робко дотронулся до ихъ мягкой, блестящей массы.

— Создаетъ же Господь такія чудеса!

Шопотъ этотъ вмѣстѣ съ его горячимъ дыханіемъ скользнулъ по ея уху, и она почувствовала на своихъ волосахъ прикосновеніе его руки. Она сильно откинула голову назадъ и остановилась вся розовая, неподвижно устремивъ глаза на широкую золотую полосу около солнечнаго диска, которая, казалось, настежь растворяла голубое небо.

Вдругъ на этомъ золотомъ фонѣ промелькнули бѣлыя крылатыя тѣни, носившіяся надъ рѣкой то выше, то ниже, направляясь къ зеленой горѣ. Это были птицы, необыкновенныя, прекрасныя, большія, ослѣпительно бѣлыя, ширококрылыя, съ ногами и клювами огненно-краснаго цвѣта. Ихъ было около двадцати и онѣ казались исполинскими воздушными лиліями съ огненными стеблями и тычинками. У подошвы горы онѣ снова высоко взвились и молчали-

выя, тяжелыя, плавнымъ, слегка шумѣвшимъ полетомъ понеслись надъ водой все дальше и дальше, вспугивая чаекъ, которыя тревожно разлетались и казались совсѣмъ крошечными рядомъ съ этими пернатыми великанами. Любопытство толкнуло Юстину на нѣсколько шаговъ впередъ. Она вскрикнула отъ удивленія; въ первый разъ въ жизни видѣла она этихъ птицъ.

— Это морскія вороны,—пояснилъ Янъ взволнованнымъ голосомъ.—Случайныя это у насъ птицы и рѣдкія. Не каждый годъ пролетаютъ онѣ здѣсь, иногда нѣсколько лѣтъ сряду не появляются, а потомъ снова покажутся, пролетятъ и улетятъ Богъ знаетъ куда.

Онъ задумчиво глядѣлъ вслѣдъ бѣлоснѣжнымъ птицамъ.

— Любопытство иногда беретъ узнать что-нибудь о тѣхъ далекихъ краяхъ, куда птицы улетаютъ. ... Хоть бы когда-нибудь въ книжкѣ или въ разсказахъ какихъ узнать тѣ моря и края, всѣ тѣ чудеса и красоту.

— Вмѣстѣ будемъ читать о нихъ. Хорошо?

Всѣ лучи солнца засіяли въ его глазахъ.

— Ахъ, если бы когда-нибудь это наступило! Если-бъ и въ самомъ дѣлѣ.

Внезапно пронесся легкій вѣтерокъ. Надъ Яномъ и Юстиной зашумѣлъ тополь и стряхнулъ на нихъ нѣсколько дождевыхъ капелъ. Они громко, какъ дѣти, разсмѣялись.

— Идемте въ хату, — вскричалъ Янъ.

— Идемте, — охотно повторила Юстина.

Рядъ липъ, растущихъ во дворѣ усадьбы Анзельма и Яна, еще разъ осыпалъ ихъ холодной росой, прежде чѣмъ они остановились передъ открытымъ окномъ комнатки, которую Анзельмъ называлъ своей кельей.

Глава XI.

У открытаго окна стоялъ простой продолговатый столъ; здѣсь на нѣсколькихъ книгахъ въ истрепанныхъ переплетахъ стояла лампа съ высокимъ колпакомъ; рядомъ около глинянаго кувшина и зеленоватаго стекляннаго стакана лежалъ среди крупныхъ крошекъ недоѣденный кусокъ чернаго хлѣба.

— Ну, если ужъ окно отворилъ и хлѣбъ ѣлъ, значитъ скоро оживетъ,—прошепталъ Янъ.

Въ глубинѣ горенки, подъ стѣнкой, покрытой тонкимъ шероховатымъ слоемъ известки, на широкой скамьѣ, застланной клѣтчатымъ домотканнымъ одѣяломъ, лежалъ навзничь Анзельмъ въ кафтанѣ и сапогахъ; одна рука его покоилась неподвижно вдоль тѣла, другая—была закинута за голову.

Широкій рукавъ кафтана совершенно закрывалъ верхнюю часть его, оставляя открытыми только блѣдныя, оттѣненныя сѣдѣющими усами, губы. Выраженіе ихъ было такъ сурово, что, казалось, вотъ-вотъ онѣ откроются для того, чтобы разразиться громовыми упреками или издать гнѣвный окрикъ. Вверху, надъ неподвижно лежащимъ человѣкомъ, слабо поблескивали рамы иконъ, и неясно чернѣли изображенія рыцарей, увѣнчанныя терновой короной.

— Если бы теперь ему надъ головой изъ ружья выстрѣлить, то и тутъ онъ не двинется и не заговоритъ, и никакія просьбы, ни крикъ, ничего не помогутъ. Позднѣе немного это у него пройдетъ и тогда онъ снова станетъ человѣкомъ, какъ всѣ люди. ...

Они отошли. Съ маленькаго крылечка, украшеннаго карнизомъ съ грубой рѣзьбой, виднѣлись

полутемныя сѣнцы, въ которыхъ стояли жернова, а въ растворенную дверь чисто выметенной кухни виднѣлись двѣ молодыя дѣвушки, сидѣвшія одна противъ другой за бѣлымъ сосновымъ столомъ. Одѣтыя въ праздничныя платья ярко-синяго и золотистаго цвѣтовъ, онѣ опирались локтями на столъ, наклоняя другъ къ дружкѣ головы, обвитыя гладко заплетенными косами и безпрерывно и съ большимъ оживленіемъ о чемъ-то перешептывались. На столѣ между ними лежалъ едва начатый каравай ржаного хлѣба, и стоялъ черный глиняный горшокъ, изъ котораго обѣ онѣ черпали деревянными ложками густой бѣлый холодникъ, приготовленный изъ молока, уксусу и рубленной ботвы. Увидѣвъ входившую Юстину, онѣ медленно встали и пошли къ порогу; когда Юстина, здороваясь, протянула имъ руку, Антолька, слегка присѣвъ, робко чуть-чуть дотронулась къ ней, Эльжуся же сильно пожала ее, встряхнула ею и сейчасъ же заговорила:

— Барышня опять пришла къ намъ! Чудесно. Мы очень рады видѣть барышню.

Улыбка, сопровождавшая эти слова, была дружеская и веселая, но глаза ея, устремленные на Юстину, такіе же маленькіе и блестящіе, какъ у Фабіана, выражали, казалось, нѣсколько ядовитое любопытство и столь же ядовито стрѣльнули вслѣдъ Яну, который скрылся за дверью свѣтлицы.

— Прошу садиться, — проговорила младшая изъ дѣвушекъ.—Юстинка не очень измокла, возвращаясь съ могилы?

— Ого!—удивилась Эльжуся.—Не слишкомъ ли фамильярно будетъ называть барышню по имени!

Антолька сконфузилась и отвернулась лицомъ къ стѣнкѣ.

— Но если же она сама просила, — шепнула она.

Юстина обняла тонкій станъ дѣвушки и поцѣловала ея раскраснѣвшуюся щечку.

— Платье только измокло, но я съ удовольствіемъ обогрѣлась бы у огня.

— Такъ я сейчасъ разведу!

Она бросилась въ сѣни и принесла нѣсколько полѣнъ.

— Подожди!—вскричала Юстина и, слегка отодвинувъ ее, присѣла на полъ передъ печкой и принялась сама разводить огонь.

— Ой, ой! Не сумѣете! — засмѣялась Эльжуся во все горло.

— Сумѣю! Не боги горшки обжигаютъ! — отвѣчала Юстина.

— Разумѣется! Только барышня не къ тому рождена!

— Вотъ видите, ужъ и горитъ! ...

Кусокъ березовой коры дѣйствительно уже пылалъ, облизывая языками пламени сухія полѣнья. Изъ подъ печи выглянулъ сѣрый кроликъ; Юстина взяла его на руки, и прирученное кроткое животное сейчасъ же прильнуло къ ея груди. За первымъ показался второй, третій, четвертый, и всѣ они, сбившись въ одинъ шелковистый, пестрый клубокъ, глядѣли на нее своими блестящими и черными глазами въ красной оправѣ.

— А мы только что говорили о барышнѣ. Про волка рѣчь, а волкъ на встрѣчу. Совершенно вѣрно!

— У нея есть большая просьба къ Юстинкѣ,— улыбнулась Антолька, поправляя кочергой разгорѣвшіяся дрова.

Эльжуся толкнула ее локтемъ и хотѣла закрыть ей ротъ ладонью, но Антолька, смѣясь и отклоняя голову, оттолкнула ея руку.

—Она хочетъ пригласить Юстинку на свою свадьбу; говоритъ, что свадебный вечеръ будетъ для нея болѣе праздничнымъ, если на немъ будутъ Юстина и молодой панъ Корчинскій. И въ глазахъ людей это будетъ большой честью. Молодого пана Корчинскаго пригласитъ самъ Фабіанъ, хоть онъ долго и слышать объ этомъ не хотѣлъ, но онъ честолюбивъ и самъ не на шутку желаетъ принимать у себя въ хатѣ господъ.

Свадьба эта должна была состояться черезъ двѣ недѣли послѣ окончанія жатвы, около Успенья. Недѣлю тому назадъ Фабіанъ ѣздилъ осматривать домъ и хозяйство жениха и нашелъ, что все хорошо; правда, не совсѣмъ хорошо, потому что семья большая: мать, два брата, сестра, но зато земли у нихъ морговъ пятнадцать, инвентарь прекрасный, одного скота штукъ двадцать, и семья очень почтенная: мать, урожденная Гецолдовна, одинъ изъ братьевъ экономомъ у разныхъ господъ служилъ, а теперь женится на Заневщанкѣ, цѣлую тысячу рублей приданаго беретъ и сейчасъ какой-нибудь фольваркъ въ аренду возьметъ.

— А женихъ?—спросила Юстина.

Дѣвушки захихикали.

—Такой молоденькій . . .—шепнула Эльжуся, и ея маленькіе блестящіе глазки наполнились нѣжностью.

— Ему не больше двадцати одного года, но въ солдаты не пойдетъ, потому что оба старшіе брата уже служили,—разболталась Антолька. Ничего себѣ, хорошенькій, только очень маленькаго роста. . . .

— А тебѣ бы хотѣлось, чтобы всѣ были такими Голіаѳами, какъ твой Михалъ!—вступилась Эльжуся,

пусть себѣ будетъ маленькій, да за то миленькій. ...

Она снова расчувствовалась до слезъ, но сейчасъ же стала разсказывать, что отецъ обѣщаетъ дать ей шестьсотъ рублей приданаго, но сразу всего не можетъ дать, потому что денегъ нѣтъ, а потому дастъ одну половину наличными, а на другую половину векселя выдастъ. Такъ ужъ и съ семьей жениха условлено.

— Но зато свадьбу шумно отпразднуетъ! — — вскрикнула Антолька.

— И приданое вещами тоже хорошее получитъ она. Постели и бѣлья цѣлый сундукъ скопила для нея мать, а отецъ, когда ѣздилъ въ городъ, привезъ ей кашемиру на платье, настоящаго чернаго кашемиру, а вѣдь это самое лучшее платье, какое только можетъ быть на свѣтѣ. И другое еще будетъ золотистое, но уже подешевле...

Заговорили о нарядахъ. Юстина разспрашивала о цѣнѣ платьевъ, въ которыхъ онѣ были одѣты, кто ихъ шилъ, носятъ ли онѣ ихъ только по праздникамъ или иногда и по буднямъ. Теперь уже обѣ онѣ разговорились и болтали какъ сороки. Платья имъ шьетъ портной, еврей изъ мѣстечка; у каждой есть по одному такому наряду, самое большее по два, и надѣваютъ ихъ только по праздникамъ. Въ будни носятъ только то, что сами ткутъ, а которая больше и лучше выткетъ, той честь и слава. Ни у одной дѣвушки въ околицѣ нѣтъ столько нарядовъ, какъ у Домонтовны. Даже браслеты есть у нея и серьги и кольца золотыя, потому что она богачка, наслѣдница всего дѣдовскаго добра и ужасно хочетъ понравиться Янку. Но Янекъ совсѣмъ не обращаетъ вниманія на ея платья съ хвостами и на золотыя украшенія: она даже и нравиться стала ему

меньше съ тѣхъ поръ, какъ начала шеголять ими. Разъ, когда она пришла на гурбу (такъ у нихъ называются собранія съ танцами) въ брошкѣ и серьгахъ, а во время танцевъ браслеты ея звенѣли, такъ онъ ее назвалъ цыганской лошадью. Потому онъ ее такъ назвалъ, что цыгане всегда обвѣшиваютъ своихъ лошадей всякими блестящими украшеніями и бубенчиками.

При этомъ разсказѣ обѣ онѣ покатывались со смѣху. Юстина тоже смѣялась.

Когда Янъ, снявъ съ себя промокшую одежду и надѣвъ куртку домашняго сукна съ выпущеннымъ воротникомъ тонкой бѣлой рубашки, пришелъ въ кухню, тамъ было шумно и весело. Антолька за минуту передъ тѣмъ сбѣгала въ боковушку и принесла оттуда такой громадный свертокъ тканья, что вся она даже согнулась подъ его тяжестью. Она бросила его на столъ, и теперь всѣ три дѣвушки разсматривали эти произведенія ея рукъ; тутъ были платья, ковры, одѣяла, пестрѣвшіе разнообразнѣйшими цвѣтами и узорами, полосатые, клѣтчатые, въ крапинкахъ, вытканные изъ чистой шерсти, а также и изъ смѣшанной пополамъ со льномъ.

Янъ спросилъ сестру о матери; она отвѣчала, что мать ушла въ Стажины къ мужу и вернется завтра чуть свѣтъ еще на нѣскопько дней, чтобы помочь имъ жать. Въ Стажинѣ поля низкія, а потому и жатва тамъ начинается позже, чѣмъ у нихъ, такъ что она можетъ и дѣтямъ помочь и къ себѣ во время поспѣть. Сегодня она сдѣлала двѣ мили въ одинъ конецъ, а завтра двѣ въ другой, а потомъ цѣлый день будетъ жать, точно у нея за плечами не пятьдесятъ лѣтъ, а двадцать.

— Благодареніе Богу за такую старость,—замѣтилъ Янъ; а потому она такая, что была всегда

веселаго нрава и никакихъ огорченій не принимала близко къ сердцу. Но не каждый родится съ такимъ характеромъ...

Дверь Анзельмовой горенки, находившаяся въ уголкѣ кухни, и такая маленькая, что ее едва можно было замѣтить, тихо раскрылась, и изъ за нея послышался голосъ Анзельма:

— Или мнѣ такъ показалось, или я дѣйствительно слыхалъ голосъ панны Юстины?

Юстина съ живостью побѣжала къ двери.

— Я черезъ порогъ не здороваюсь! Черезъ порогъ не здороваюсь, потому что могла бы между нами ссора случиться, а ссоры съ вами не желаю... не желаю! — съ несвойственной ему живостью шутливо вскричалъ хозяинъ дома, переступая порогъ.

Юстина взяла обѣими руками его руку и нѣкоторое время молча глядѣла на него. Такъ это былъ тотъ самый человѣкъ, которому когда-то Марта надѣла на шею образокъ и который послѣ съ почернѣвшимъ лицомъ, съ потоками воды, стекающей съ волосъ и одежды... Первый разъ видѣла она его безъ шапки. Лобъ у него былъ высокій, бѣлый, съ тонкой нѣжной кожей, покрытой множествомъ морщинъ, которыя, собираясь въ одинъ снопъ между бровями, расходились оттуда тонкими нитями по всему лбу до самыхъ корней жидкихъ сѣдѣющихъ волосъ.

Антолька побѣжала и поцѣловала у него руку.

— Сегодня я еще въ первый разъ вижу дядю! Подстерегъ-таки минуту, когда я пошла за водой, и тогда вошелъ въ кухню, чтобы отрѣзать себѣ кусокъ хлѣба. Прихожу домой, хлѣбъ на столѣ, а дверь отъ горницы опять закрыта на крючокъ, а все это для того, чтобы никого не видѣть...

— Такая ужъ на меня тоска иногда находитъ, что самый близкій человѣкъ дѣлается противнымъ, — отвѣчалъ Анзельмъ, пожимая сильнѣе обыкновеннаго руку Юстины и внимательно, почти пытливо глядя на нее.

— Вчера вы, кажется, жали на нашей нивкѣ, а сегодня съ Яномъ на могилу ѣздили? а? — проговорилъ онъ, не спуская съ нея внимательнаго взгляда.

— Новости, поистинѣ но... но... но... вости!! — прибавилъ онъ, еще заикаясь, и дружеская, почти радостная улыбка раскрыла его губы и разлилась по всему его лицу и даже лбу, морщины котораго вытянулись косыми лучами.

— Милости просимъ въ свѣтлицу, пожалуйте! Гдѣ это видано, чтобы принимать гостя въ кухнѣ? Хата наша низкая, но не тѣсная, не тѣсная!

Одной рукой онъ придерживалъ на груди полы кафтана, а другой указывалъ на дверь и еще нѣсколько разъ повторилъ:

— Пожалуйте, пожалуйте въ свѣтлицу.

Въ кухнѣ было трое дверей, изъ которыхъ одна, обыкновенныхъ размѣровъ, вела въ сѣни, а другія двѣ, узенькія и низкія, вели въ боковушку и горенку Анзельма. Юстина стояла въ нерѣшимости, не зная, куда направиться; старикъ замѣтилъ это и, подавъ ей руку, повелъ черезъ сѣни въ свѣтлицу. Когда-то давно, давно, еще въ Корчинѣ онъ видѣлъ идущія такимъ образомъ пары, и самъ, вставая отъ стола послѣ обѣда или ужина, подавалъ руку высокой черноглазой веселой дѣвушкѣ.

Свѣтлица, занимавшая большую половину всего домика, представляла изъ себя низкую, но очень большую комнату съ тремя большими окнами, изъ которыхъ два были открыты, съ гладко выбѣленными стѣнами и простымъ, досчатымъ, гладко выстроганнымъ и до

бѣла вымѣтымъ поломъ. Толстыя побѣленныя стропила низкаго потолка перекрещивались съ тонкими досками, образуя рядъ темныхъ впадинъ; почти всю длину одной изъ стѣнъ занимала бѣлая кафельная печка, высотой почти до потолка, въ нижней части которой находился цѣлый рядъ маленькихъ печурокъ; въ зимніе вечера изъ нихъ, должно быть, на всю комнату раздавалось чирканіе сверчковъ. Въ углу одиноко стоялъ огромный, развалистый, пережившій, быть можетъ, цѣлое столѣтіе диванъ ольховаго дерева, выкрашенный красной краской и обитый домотканной клѣтчатой тканью. Противъ дивана стояла кровать, сколоченная изъ бѣлыхъ сосновыхъ досокъ, застланная высоко взбитой постелью. Ютившійся въ простѣнкѣ между окнами красный ольховый комодъ украшали шкатулка чернаго дерева со стоявшимъ на ней наискось зеркальцемъ, небольшое черное распятіе, обвитое вѣнкомъ изъ желтыхъ иммортелей, и маленькая лампочка съ круглымъ стекляннымъ колпакомъ. Наконецъ, по стѣнамъ стояли высокіе зеленые или расписанные цвѣтами сундуки съ выпуклыми окованными крышками, бѣлыя досчатыя скамейки и предъ ними красные ольховые столы и нѣсколько стульевъ, должно быть, домашней работы и недавно сдѣланные, такъ какъ они были еще не окрашены, съ деревянными сидѣньями и спинками изъ гибкой грабины или клена, согнутыми въ дугу.

Черезъ раскрытую дверь, за исполинской печкой, виднѣлась боковушка, маленькая продолговатая комнатка съ одной кроватью, тоже застланной высоко взбитой постелью. Должно быть, тамъ спала Антолька, потому что среди множества иконъ, покрывавшихъ всю стѣнку надъ кроватью, самыми

большими размѣрами и самыми яркими красками отличался образъ ея патрона, украшенный вѣнками, освященными въ праздникъ Божьяго Тѣла, пасхальными вербами и пучками сухихъ иммортелей и свѣжихъ ноготковъ. Ароматы цвѣтовъ и огородныхъ растеній, врывавшіеся изъ сада сквозь раскрытыя окна свѣтлицы, наполняли ее всю, а тѣснившіяся въ нихъ вѣтви старой груши осѣняли ее зелеными подвижными занавѣсками.

Анзельмъ подвелъ Юстину къ одному изъ столовъ.

— Покорнѣйше прошу садиться на стулъ... удобнѣе будетъ, чѣмъ на скамейкѣ... покорно прошу...

И онъ съ живостью, которой никто не могъ бы подозрѣвать въ немъ, ловко и любезно принесъ ей стулъ и поставилъ его у стола. Эльжуся, которая шла позади и только что перескочила черезъ высокій порогъ свѣтлицы, точно пухлая клецка, расхохоталась, глядя на хозяина.

— Ну, должно быть, конецъ міра приходитъ, если ужъ панъ Анзельмъ такъ расшевелился! — вкричала она. — Такой галантный кавалеръ, точно никогда ипохондрикомъ не былъ!

— Вотъ и брякнула глупость, — шутливо возразилъ ей Анзельмъ,—потому что если бы ты была умнѣе, то знала бы, что кто медвѣдя одолѣетъ, тотъ и за носъ водить его сумѣетъ. Должно быть, панна Юстина одолѣла меня.—И затѣмъ, садясь на скамейкѣ, онъ сказалъ Антолькѣ, чтобы она накормила гостью ужиномъ.

— И самъ я, — прибавилъ онъ, — со вчерашняго вечера только кусокъ хлѣба проглотилъ, да и Янекъ послѣ сегодняшней ванны въ Нѣманѣ тоже, должно быть, голоденъ.

Онъ вчера еще зналъ отъ племянника о томъ, что они сегодня собрались ѣхать на могилу, и теперь разспрашивалъ обоихъ молодыхъ людей, какъ они справились во время бури, очень ли измокли, сколько времени пробыли въ бору. Онъ разсказывалъ, что нѣсколько разъ встрѣчался у могилы со вдовой пана Андрея, которая иногда посѣщаетъ это мѣсто, только очень рѣдко и какъ будто бы случайно.

Для нея, при ея высокомъ положеніи, на виду у всѣхъ гораздо труднѣе совершать эти поѣздки, чѣмъ, напримѣръ, ему, который часто можетъ, не обращая на себя ничьего вниманія, помолиться и погрузиться въ воспоминанія тамъ, гдѣ братъ его спитъ вѣчнымъ сномъ. Двое ихъ только было, кромѣ сестры, которая вышла замужъ на Заневицкую околицу, откуда и мать ихъ была родомъ. Мать Яна была сѣмащанка изъ Сѣмашекъ, и на ея долю выпало провести жизнь въ четырехъ околицахъ: прежде всего въ своей родной, то есть въ Сѣмашкахъ, затѣмъ въ Богатыровичахъ, когда она вышла за мужъ за Юрія, потомъ со вторымъ мужемъ въ Ясмонтахъ и, наконецъ, съ третьимъ въ Стажинахъ.

— Неизвѣстно только, послѣдній ли это у нея мужъ, и послѣднее ли мѣсто жительства, — замѣтилъ онъ шутливо; — потому что, кажется мнѣ, овдовѣй она еще разъ, то черезъ годъ пойдетъ еще за четвертаго!

Юстина разспрашивала его о тѣхъ околицахъ и ихъ населеніи, о которыхъ онъ сейчасъ упомянулъ. Онъ отвѣчалъ ей охотно и подробно, когда же затруднялся объяснить ей какія-нибудь подробности, такъ какъ много лѣтъ не выѣзжалъ изъ дому, то о ращался къ Яну.

— Всѣхъ ихъ вы увидите на свадьбѣ Эльжуси,— сказалъ Янъ, — потому что у Фабіана вездѣ пропасть родственниковъ и знакомыхъ, а ужъ ему навѣрное захочется, чтобы весь свѣтъ заговорилъ о свадьбѣ его дочери.

Тѣмъ временемъ Антолька и Эльжуся начисто вытерли столъ полотняной тряпкой и въ продолженіе получаса уставили его всѣмъ, что въ данную минуту можно было найти въ хатѣ Анзельма и Яна. Вокругъ большой ковриги хлѣба появились миска кислаго молока, смѣшаннаго съ розоватой сметаной, затѣмъ другая съ лежавшимъ въ ней пластомъ свѣжаго меда, только что вынутаго вмѣстѣ съ деревянной рамкой изъ улья; два сорта сыру, одинъ уже сухой, а другой свѣжій, блюдечко съ желтымъ масломъ и, наконецъ, сковорода съ дымящейся яичницей, принесенная раскраснѣвшейся Эльжусей.

— Ужъ какъ я дѣлаю яичницу, — вскричала веселая дѣвушка, — такъ ужъ мое почтенье! Самъ отецъ иногда похвалитъ, хоть ему угодить почти такъ же трудно, какъ черезъ домъ перескочить..

— А я думаю, что Эльжуся когда-нибудь и черезъ домъ сумѣетъ перепрыгнуть, потому Эльжуся казакъ дѣвка! — пошутилъ Янъ, но, увидѣвъ медъ, нахмурилъ брови.

— А кто это ходилъ въ улей? — гнѣвно спросилъ онъ.

— А кто же, если не Антолька? Только сестра и могла позволить себѣ такую смѣлость! — огрызнулась Эльжуся.

— А я разъ на всегда запретилъ ей это! — закричалъ Янъ, вспыхнувъ до корня волосъ, и стукнулъ по столу рукой. — Незнающій человѣкъ можетъ все испортить, а такъ какъ она не училась,

какъ нужно обращаться съ пчелами, то пусть не въ свое дѣло не суется.

Онъ уже вставалъ, чтобы идти къ сестрѣ съ выговоромъ, когда изъ боковушки тихо вышла испуганная Антолька. Губы ея плаксиво искривились, а одна рука прижимала щеку.

— А что? Укусила? — вскричалъ Янъ.

— Чтобы ее холера... — охнула Антолька и въ глазахъ ея засверкали слезы.

Янъ, все еще немного нахмуренный, ничего уже не сказалъ сестрѣ, а Анзельмъ снова пошутилъ:

— Не бѣда, что пчела укусила, лишь бы меду добыла! Что за важность, что немножко болитъ! До свадьбы заживетъ!

Когда онъ поднялъ ковригу и началъ рѣзать хлѣбъ, на нижней коркѣ виднѣлись ясные отпечатки сухихъ дубовыхъ листьевъ, которые хозяйки нарочно подкладываютъ во время печенія подъ хлѣбъ, чтобы предохранить его отъ соприкосновенія съ золой и глиной.

Всѣ усѣлись на стулья и скамейки вокругъ продолговатаго стола и стали накладывать себѣ на глиняныя тарелки яичницу и кислое молоко. Нѣсколько минутъ никто ничего не говорилъ. Анзельмъ, Янъ и обѣ дѣвушки ѣли довольно оригинальнымъ образомъ. Отъ крупно нарѣзанныхъ ломтей хлѣба они отламывали маленькіе кусочки и двумя пальцами несли ихъ въ ротъ. Взявъ осторожно и деликатно пальцами деревянную ложку, они медленно подносили ко рту содержимое ея, медленно пережевывали его, послѣ чего ложку клали на столъ и только черезъ нѣсколько секундъ или черезъ минуту снова медленно и осторожно брали ее и подносили ко рту. Въ этомъ преувеличенно медленномъ и дели-

катномъ способѣ ѣды выказывалось пріобрѣтенное съ дѣтства или врожденное опасеніе выказать грубость или обжорство при ѣдѣ. Анзельмъ заговорилъ первый. Онъ взглянулъ на Юстину и, точно внезапно вспомнивъ что-то, спросилъ:

— А, можетъ быть, вы, выпили бы чаю? Мы его рѣдко пьемъ, но можно сейчасъ приготовить ...

Въ боковушкѣ на ольховомъ красномъ шкафу стоялъ небольшой жестяной самоваръ, и Антолька вскочила уже съ мѣста, чтобы ставить его. Но какъ разъ въ ту минуту, когда Анзельмъ задалъ свой вопросъ, Янъ, положивъ ложку на столъ, опустилъ руки на колѣни и съ улыбкой глубокаго удовольствія глядѣлъ на Юстину, которая, запуская съ аппетитомъ зубы въ ломоть чернаго хлѣба, намазаннаго золотистымъ медомъ, тоже смотрѣла на него. У обоихъ въ глазахъ свѣтилась улыбка, и они услыхали вопросъ Анзельма только тогда, когда онъ повторилъ его.

— Мнѣ кажется, — медленно замѣтилъ Янъ, — что въ аппетитѣ нѣтъ недостатка послѣ прогулки и, можетъ быть, обойдется и безъ чаю ...

— Разумѣется, обойдется, — засмѣялась Юстина.

— А я ужъ и на сестру не сержусь за то, что она сама пошла въ улей за медомъ.

И онъ засмѣялся такъ, какъ смѣются счастливые люди, безъ видимой причины: громко, искренно, закинувъ голову и, тоже безъ видимой причины, погладилъ по головѣ сидѣвшую рядомъ съ нимъ Антольку, послѣ чего деликатно взялъ положенную ложку и, зачерпнувъ молока, медленно понесъ ко рту. Рука у него была большая съ темной и толстой кожей, очень чистая, съ широкой ладонью и длинными тонкими пальцами.

Въ этотъ день Анзельмъ былъ необыкновенно оживленъ и разговорчивъ, и не одинъ глазъ могъ бы съ любопытствомъ остановиться на этомъ отяжелѣвшемъ болѣзненномъ человѣкѣ, отмѣченномъ печатью великихъ страданій, когорый сегодня, побуждаемый извѣстными только ему одному чувствами, выказывалъ изысканную предупредительность и дружеское гостепріимство, стараясь поддерживать разговоръ съ гостьей. Увидѣвъ на рукѣ Юстины красноватую полоску, онъ спросилъ, не отъ серпа ли это, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, долго глядѣлъ на нее какъ-то странно мигающими глазами.

— Тяжелая работа, а? Хотя это все зависитъ отъ привычки. Не знаю я только и сомнѣваюсь въ томъ, можетъ ли женщина, такъ прекрасно играющая на фортепьяно, привыкнуть къ такимъ грубымъ работамъ?

Онъ разсказалъ, что не разъ, идя берегомъ рѣки или переправляясь на ту сторону, онъ слышалъ, какъ она играла вмѣстѣ съ отцомъ.

— Сладкая музыка, — улыбнулся онъ, — слухъ ласкаетъ и за душу хватаетъ; это правда, съ одной стороны, но съ другой — стучать вотъ такъ цѣлыми днями по инструменту, — можетъ быть, не легче, чѣмъ полоть или жать ...

Во дворѣ послышалось мычанье коровъ; дѣвушки вскочили съ мѣстъ и поспѣшно начали убирать со стола посуду, послѣ чего Эльжуся не показалась больше совсѣмъ, а Антолька съ подойникомъ въ рукахъ быстро мелькнула въ сѣняхъ и выбѣжала во дворъ. Солнце зашло уже съ полчаса тому назадъ, и сѣроватыя сумерки наполнили свѣтлицу. Янъ зажегъ маленькую лампочку на комодѣ и сказалъ, что

пойдетъ посмотрѣть хорошо ли присмотрѣлъ работникъ за лошадьми и скотомъ въ его отсутствіи. Анзельмъ и Юстина остались вдвоемъ.

Неожиданно для Анзельма, а, можетъ, и для себя самой, Юстина вдругъ пересѣла со стула на его скамейку и, наклонившись къ старику, прильнула губами къ его плечу.

Онъ не слишкомъ удивился, но только сразу, точно въ испугѣ, попытался откинуться назадъ и запахнуться въ кафтанъ.

— Новость! — прошепталъ онъ, — но ... но ... вость!

Она же, откидывая со лба свои еще влажные волосы и подымая на него свѣтившіеся нѣжностью глаза, тихо говорила:

— Я знаю, дядя, все, все знаю ...

— Откуда же? Кто говорилъ? Вѣрно, ужъ Янекъ языкомъ мололъ ... Ничего я дурного въ этомъ не вижу, потому что если ужъ вы такъ милостивы, что удостаиваете его своей дружбой, то онъ не долженъ имѣть никакихъ секретовъ передъ вами.

Онъ задумчиво потрясъ головой.

— Но чтобы кто-нибудь, хотя бы и онъ, могъ все это знать и во все проникнуть, въ томъ сомнѣваюсь ... Глубоко нужно рыть, чтобъ до воды добраться, а съ человѣкомъ тѣмъ болѣе; проживи съ нимъ сколько угодно лѣтъ, и то всѣхъ тайнъ его души не узнаешь ...

Устремивъ свой взглядъ куда-то далеко за широко раскрытое окно, онъ продолжалъ:

— Всяко бываетъ на свѣтѣ. У Бога и муха, если онъ велитъ, воиномъ станетъ. Маленькій я человѣкъ, но въ молодости моей пришлось мнѣ на великія дѣла глядѣть и самому принимать въ нихъ

маленькое участье, а отъ этого и вся моя позднѣйшая жизнь такъ сложилась. Корчинъ, охъ! и вообразить себѣ нельзя теперь, какія тамъ тогда рѣчи звучали, что тамъ тогда творилось ... Казалось, что все, что только Господь далъ людямъ добраго и хорошаго, все это тогда зашевелилось и заговорило. Братъ обнималъ брата, не глядя на то, обнимаетъ ли онъ богатаго или убогаго: умные указывали дороги неразумнымъ ... Насъ на этотъ пиръ не только допускали, но и упрашивали принять въ немъ участіе и жертвовать жизнью, обѣщая тѣмъ, кто останется живъ, такія блага, что каждый охотно подставилъ бы свою голову подъ пулю, чтобы только когда-нибудь получить ихъ ... Много я могъ бы разсказать объ этомъ предметѣ, да ...

Онъ долго покачивалъ головой, глядя на звѣзды, блестѣвшія сквозь вѣтви сапѣжанки.

— Сновидѣнія ... временныя чары ...

Юстина, придвинувшись близко къ нему, опиралась лицомъ на одну руку, а другую ласковымъ движеніемъ положила на его плечо и молча слушала медленную, часто прерывавшуюся рѣчь, отчасти только обращенную къ ней и гораздо болѣе походившую на мучительныя воспоминанія и мысли вслухъ.

— Въ одной книжкѣ я вычиталъ: „Подобно мухамъ падутъ въ бою сыны человѣческіе ... Должно быть, такая ужъ участь наша, но сердце человѣческое иногда бываетъ слишкомъ слабо для того, чтобы терпѣливо и покорно перенести ее. Должно быть, я былъ недостаточно покорнымъ и терпѣливымъ, потому что, когда дѣла повернулись въ дурную сторону и непроницаемый мракъ окуталъ весь міръ, я началъ испытывать нестерпимую обиду и

гнѣвъ, даже самъ не зная хорошенько, противъ кого и чего этотъ гнѣвъ направить. Я не могъ перестать сожалѣть о томъ, что прошло, и не могъ привыкнуть къ обычной жизни, отъ которой меня уносило, точно на крыльяхъ. Что раньше было милымъ, теперь опротивѣло; что занимало и радовало, теперь представлялось одной лишь суетой. Пойду, бывало, съ плугомъ въ поле и только и вспоминаю о томъ, что я видѣлъ и слышалъ тамъ, въ тѣхъ „раззолоченныхъ“ домахъ; вспоминаю лица, разные поступки, споры и мнѣнія и въ памяти своей перебираю, точно скупой, который выбираетъ изъ сундука червонцы, осматривая и любуясь ими. Такъ иногда, бывало, съ полъ дня простою я около плуга въ весеннемъ туманѣ, забывая о работѣ, которую я раньше такъ любилъ и къ которой былъ такъ способенъ. Или зимней порой, бывало, войду въ какую-нибудь веселую свѣтлицу и смотрю, какъ люди, быстро позабывъ обо всемъ, поютъ, веселятся и танцуютъ. „Съ ума ли они посходили?“ думаю я себѣ, стоя неподвижнымъ столбомъ гдѣ-нибудь въ углу. И чѣмъ больше веселятся они, тѣмъ явственнѣе встаетъ предъ моими глазами та лѣсная поляна съ тѣмъ своимъ печальнымъ холмомъ и снѣгомъ, который въ ночной темнотѣ ложится на нее бѣлыми хлопьями. Заиграетъ музыка новый танецъ, а я шепчу: „Упокой, Господи, души ихъ!“ Затянетъ ли кто новую пѣсню, а я снова: „Вѣчная память!“ Захохочетъ ли кто погромче, а въ ушахъ у меня раздается: „Вѣчная память!“ Махну я рукой на веселящихся и подъ падающимъ снѣгомъ пойду въ свою хату, а въ хатѣ ... Іисусе!... еще послѣ единственнаго брата и мѣсто не успѣло остынуть, а жена его уже вторую свадьбу отпраздновала, только одинъ сиро-

тинка встрѣчаетъ меня и жмется къ единственному опекуну, который остался у него на свѣтѣ ...

Въ дверяхъ боковушки послышался шорохъ; на порогѣ остановился Янъ, прислонившись къ дверямъ и скрестивъ на груди руки. Въ тѣни его фигура вырисовывалась прямыми, благородными линіями. Вся свѣтлица была погружена въ полумракъ, потому что горѣвшая на комодѣ маленькая лампочка бросала лишь скудный свѣтъ, узкій лучъ котораго падалъ на темный кафтанъ Анзельма и игралъ въ блестящихъ распущенныхъ волосахъ Юстины. Послѣ продолжительнаго молчанія Анзельмъ снова заговорилъ въ полголоса и медленно:

— Каждой твари, однако, свойственно искать самосохраненія и спасенія отъ окончательной гибели, такъ и я тоже, видя единственное средство къ спасенію, ухватился за него. Мнѣ тогда было не болѣе тридцати лѣтъ, а потому не было ничего удивительнаго въ томъ, что любовь для меня значила то же, что жизнь и счастье. Должно быть, мнѣ предназначено, чтобы вся сладость и весь ядъ моей жизни исходили для меня изъ Корчина, потому что оттуда слетѣли на меня тѣ сновидѣнія, послѣ которыхъ я никогда не могъ утѣшиться, и тамъ же горѣла звѣзда моей любви. Не одинъ, быть можетъ, скажетъ, что я предавался безразсуднымъ надеждамъ и осмѣлился взглянуть черезмѣрно высоко, но я этого не думаю. Вѣдь уже болѣе двухъ тысячъ лѣтъ Іисусъ Христосъ провозгласилъ равенство на землѣ, и не мало я объ этомъ равенствѣ наслушался въ томъ же самомъ Корчинѣ. Хоть эта дѣвушка принадлежала къ знатному роду, но и я свой родъ веду не отъ невольниковъ, а хоть я былъ и бѣдный человѣкъ, но женѣ и дѣтямъ могъ дать ку-

сокъ хлѣба не хуже того, который въ тѣ времена многіе изъ господъ начинали ѣсть, а, можетъ быть, и болѣе покойный и болѣе вѣрный. И, кромѣ того еще, хоть она и барскаго рода была, но не велика она барыня была, не велика! Чужія платья на плечахъ носила и всѣмъ была обязана своимъ родственникамъ. Почему же ей не захотѣть, казалось мнѣ тогда, хоть маленькаго, да собственнаго дома и собственной воли около любящаго и любимаго мужа. Что касается взаимности, то я зналъ, что она у меня есть ... зналъ. Не на слѣпого же, въ самомъ дѣлѣ, глядѣла она своими чудными глазами и не глухому говорила она не разъ такія вещи, которыя доказываютъ взаимность. Не захотѣла, однако. Даже нельзя сказать, чтобы семья ея противилась очень. Знаю, что были тамъ со стороны родныхъ уговоры и насмѣшки, но все-таки отъ алтаря никто бы ее насильно не оттащилъ. Сама не хотѣла. И видѣться со мной не хотѣла, пока я однажды не подстерегъ ее въ саду и, схвативъ за руку, сталъ спрашивать ее о причинѣ этого запрещенія. Она привела такія причины, на которыя можно было только плюнуть. Я хотѣлъ было убѣдить и доказать, но она вырвалась отъ меня и убѣжала. Съ плачемъ убѣжала она отъ меня. Сама вѣдь приходила въ отчаяніе, а все-таки не захотѣла .. не хотѣла ...

— Съ той поры наступило самое худшее время моей жизни. Только что передъ этимъ я былъ свидѣтелемъ страшнаго конца великой борьбы и великихъ надеждъ, теперь же я узналъ измѣнчивость женскаго сердца. Все въ мірѣ показалось мнѣ съ той поры невѣрнымъ, ненадежнымъ, тщетнымъ.

— Такое разочарованіе охватило меня тогда, что все, на что бы я ни взглянулъ, казалось мнѣ

обманчивымъ призракомъ. Сегодня оно есть, думалъ я себѣ, а завтра разсѣется и исчезнетъ. Услыхалъ я разъ, какъ ксендзъ говорилъ въ костелѣ: „Изъ земли ты взятъ и въ землю возвратишься“ — и эти слова никогда уже не выходили у меня изъ головы. Больше всего угнетала меня это разочарованіе, такъ какъ оно не давало доступа въ сердце никакимъ желаніямъ, никакимъ намѣреніямъ, и если я еще кое-что дѣлалъ, то только ради этого бѣднаго сиротки, чтобы онъ съ голоду не околѣлъ при мнѣ, ради самого же себя я и пальцемъ не пошевелилъ бы, потому что предо мною всегда стоялъ вопросъ: „Зачѣмъ? Съ какой стати заботиться объ этой суетѣ?“. Молясь Богу, я просилъ только о помилованіи моей бѣдной души, о томъ же, что можетъ меня встрѣтить въ этой жизни, я совершенно не заботился, въ полной увѣренности, что все, что я имѣлъ, я потерялъ навсегда, а если бы и снова пріобрѣлъ, то только затѣмъ, чтобы опять утратить...

Однако, онъ былъ еще слишкомъ молодъ и велъ черезчуръ простой и здоровый образъ жизни для того, чтобы навсегда неподвижно застыть въ этомъ сомнѣніи и разочарованіи. Напротивъ, тоска по лучшимъ днямъ и утрата любимой женщины не переставали его мучить.

— Не на поверхности, но глубоко въ сердцѣ засѣла у меня эта боль и тоска. Если бы можно было растаять въ слезахъ, то я навѣрно весь тогда растаялъ бы. Я начиналъ уже бояться самого себя, думая, что я или съ ума сойду, или руки на себя наложу, такъ какъ нѣманскіе омуты и вѣтви деревьевъ не разъ приходили мнѣ въ голову. Стыдъ охватывалъ меня при мысли, что я не имѣлъ никакой

власти надъ собою, и я умолялъ Господа Бога о помощи, и слезы невольно текли изъ глазъ моихъ. Иногда, бывало, совсѣмъ уже стряхну съ себя мрачныя мысли и самого себя убѣждаю: „соберись съ силами, махни рукой на горе, растопчи его ногами и ищи какого-нибудь утѣшенія, чтобы не идти наперекоръ волѣ Божьей и даромъ не сгинуть“. И вотъ кажется, что уже успѣю я убѣдить себя, отгоню отчаяніе и день, другой проживу, какъ всѣ люди. Такъ нѣтъ же; охоты къ жизни снова попрежнему нѣтъ никакой, а хоть работаю до того, что весь потомъ обливаюсь, все же ни на мгновеніе не покидаютъ меня мысли объ утраченныхъ надеждахъ и о суетѣ всего окружающаго. Разъ даже, было, посватался я къ одной дѣвушкѣ и поѣхалъ къ ней. Ѣду я и думаю: „женюсь и баста! Хата не будетъ пустая, повеселѣю и оживу“. Но когда я пріѣхалъ и взглянулъ на дѣвушку: нѣтъ! И не дурная она была и не глупая и то не было для меня тайной, что она смотритъ на меня благосклонными глазами. Нѣтъ и нѣтъ! Та прежняя предъ глазами стоитъ, да притомъ же, привыкнувъ кое къ чему другому, и узнавъ, и понявъ тоже многое, я не могъ найти никакой привлекательности ни въ ея разговорѣ, ни въ обращеніи, ни въ намѣреніяхъ, которыя она высказывала. Боролся я такимъ образомъ самъ съ собою, какъ пловецъ съ водою, года три, можетъ быть, а тоска уносила здоровье, и черныя мысли подтачивали силы, пока какія-то, странныя, то проходившія, то вновь возвращавшіяся боли не свалили меня окончательно и такъ продержали меня девять лѣтъ въ постели подъ гнетомъ болѣзни, съ которой доктора не могли ничего подѣлать, и которую они называли ипохондріей...

Онъ не понималъ, что обозначаетъ такое названіе, но одинъ докторъ объяснилъ ему, что болѣзнь его была скорѣе душевная, чѣмъ тѣлесная, а потому и лѣкарство для излеченія ея тоже должно быть душевное. Такимъ душевнымъ лекарствомъ оказалось, должно-быть, съ одной стороны, огромное желаніе помочь племяннику оправиться отъ разоренія и нужды, а съ другой, то утѣшеніе, которое доставлялъ ему видъ подроставшаго сироты. И дѣвочка, которую Янъ упрямо рѣшилъ взять отъ матери, тоже была миленькая и веселенькая и рано принялась хозяйничать въ хатѣ, да и невѣстка тоже, хоть вѣтренная и не знавшая удержу въ любви, часто навѣщала дѣтей своихъ и о немъ заботилась тоже, смѣша его порой и развлекая своей веселой бабьей болтовней.

— У Бога и убитый оживетъ, если Онъ прикажетъ; вотъ и я тоже воскресъ, хоть и не совсѣмъ... не совсѣмъ. Мнѣ кажется, что у людей, глубоко чувствующихъ и сразу пережившихъ сильное горе, остаются не только на лицѣ, но и на душѣ такія морщины, которыя никогда уже вполнѣ не изгладятся. Такъ и я не могу съ той поры совсѣмъ какъ слѣдуетъ возвратиться къ обычной жизни. Я избѣгаю толкотню, крикъ и шумные разговоры, потому что среди нихъ я почти теряю сознаніе, а видъ каждаго незнакомаго лица прежде всего пугаетъ меня, и я принужденъ сдѣлать надъ собой усиліе, чтобы приблизиться къ нему. По временамъ и страданія докучаютъ мнѣ, и тѣлесныя, и душевныя. Отъ малѣйшей простуды въ головѣ появляются боль и ломота, а когда мнѣ невольно случается погрузиться въ старинныя воспоминанія о перенесенныхъ страданіяхъ, то я послѣ этого два или три дня лежу, какъ мертвый, и не только видѣть не могу въ это время,

но и самого себя едва-едва только чувствую. Но вотъ почти и все. Не очень это большія страданія, и ихъ можно терпѣливо переносить при спокойствіи и нѣкоторыхъ утѣшеніяхъ...

Многое утѣшало его теперь: домикъ, отстроенный взамѣнъ стараго и почти разрушавшагося; садъ, который онъ насадилъ собственными руками; пасѣка, за которой Янъ умѣло ухаживалъ и которую постепенно увеличивалъ; здоровый и уважающій его парень; кроткая и работящая дѣвушка; успѣшно идущее, благодаря имъ обоимъ хозяйство; наконецъ, ясное солнышко, душистые цвѣты, ласточки, гнѣздившіяся подъ карнизомъ, тишина и спокойствіе, наполнявшія усадьбу, ту самую усадьбу, въ которой жили его дѣды и прадѣды, и въ которой онъ самъ родился, выросъ и состарился, и въ которой онъ поэтому зналъ не только каждый уголокъ и каждое деревцо, но почти каждое зернышко песку и жилъ съ ними въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ.

— Тѣ страшные вѣтры, которые захватили меня на моемъ жизненномъ пути, прошумѣли, пролетѣли теперь далеко ужъ отъ меня. Больше ужъ у меня теперь въ жизни хорошихъ минутъ, нежели дурныхъ, и я объ одномъ только молю Бога, чтобы онъ послалъ Янеку счастливую судьбу. Никогда также не сдѣлаю я ничего наперекоръ его сердцу и желаніямъ, и хотя бы я даже самъ думалъ иначе и желалъ чего-нибудь другого, то и тогда, не только не сталъ бы противиться его желаніямъ и намѣреніямъ, но даже постарался бы помочь ему насколько у меня хватило бы силъ. Не врагъ я ему, чтобы счастью его препятствовать или къ чему-нибудь принуждать его, но прямой замѣститель отца его, и, какъ отецъ, ничего кромѣ добра и счастья не желаю ему.

Янъ широкими шагами прошелъ черезъ комнату и, наклонившись въ дядѣ, поцѣловалъ его руку; затѣмъ онъ выпрямился и движеніемъ головы откинулъ со лба свои густые волосы.

— Очень ужъ вы, господа, загрустили оба; дядѣ это нездорово, а у панны Юстины даже слезки на глазахъ. Что тамъ долго распространяться о старинѣ!

Онъ еще не договорилъ послѣднихъ словъ, какъ подъ окномъ послышались шаги и слова, произносимыя довольно громкимъ, но дребезжащимъ голосомъ:

— Го, го! найду я его! Найду соблазнителя, злодѣя! Найду и убью!... Какъ Богъ святъ, убью, какъ собаку!

Дверь свѣтлицы широко распахнулась, и на порогѣ показался трясущійся старичекъ съ палкой въ рукѣ, съ лицомъ кирпично-краснаго цвѣта, рѣзко выдѣлявшимся на снѣжной бѣлизнѣ его волосъ и кафтана. Вслѣдъ за нимъ показалась поддерживавшая его рукой высокая, плечистая дѣвушка, довольно необыкновеннаго вида. Съ перваго взгляда въ ней трудно было узнать ту самую Ядвиську Домонтовну, которая босая и растрепанная несла полемъ въ огромномъ фартукѣ цѣлую копну бурьяна для коровъ, или во время жатвы жала, обливаясь ручьями пота, или съ ловкостью и силой мужчины, управляя парой лошадей, свозила снопы на гумно. Теперь она была одѣта въ ярко-синее платье такого кричащаго оттѣнка, что при взглядѣ на нее глаза невольно щурились, съ плотно прилегавшимъ лифомъ и очень длиннымъ шлейфомъ, который тянулся за нею обвисшими, неуклюжими складками, грязными отъ росы и пыли. На головѣ ея возвышалась при-

ческа, еще болѣе необыкновенная, чѣмъ платье, высокая, колыхающаяся, обильно пропитанная помадой, пестрѣвшая яркими бантами и блестящими шпильками. Блестящая, но очень дешевая брошка украшала ея лифъ, такія же дешевыя, но блестящія серьги колыхались въ ея ушахъ, а на ея большихъ красныхъ рукахъ бренчали металлическіе браслеты. Ея могучая фигура, которая въ полѣ въ нарядѣ деревенской работницы напоминала поэтичную и силой своей благодѣтельную Цереру, и которая на телѣгѣ, запряженной парой рѣзвыхъ коней, невольно напрашивалась на сравненіе съ фигурами классическихъ атлетовъ, теперь, въ этомъ слишкомъ узкомъ и слишкомъ длинномъ нарядѣ, казалась спутанной и неуклюжей. Лицо ея, которое такъ украшали синіе глаза и каштановые волосы, поражало грубыми чертами и грубой краснотой.

— Добрый вечеръ! — закричала она съ порога, но когда взглядъ ея упалъ на Юстину, то можно было подумать, что она вдругъ онѣмѣла.

Зато старый Якубъ, освободившись отъ руки внучки, колеблющимися шагами, но съ грознымъ видомъ направлялся къ хозяину.

— Гдѣ Паценко? Сію минуту скажите мнѣ, панъ Шимонъ, куда вы спрятали моего обидчика и врага?... А если не скажете, то я, какъ Богъ святъ, сейчасъ же обшарю всю хату и самъ отыщу... а если найду, то ужъ я ему отомщу за то, что онъ на всю жизнь сдѣлалъ несчастной мою жену, а меня покрылъ позоромъ...

— Опять напугали дѣдушку Паценкомъ?—спросилъ Анзельмъ, глядя на Ядвигу.

— Какъ же! — вскричала Ядвига, къ которой опять вернулся даръ слова. — Такой онъ былъ сегодня спокойный, милый, разсудительный, какъ нельзя

быть лучше. Съѣлъ на ужинъ кислаго молока и говоритъ: „Ядвиська, не навѣстить-ли кого-нибудь изъ сосѣдей?“—Можетъ пана Шимона?—спрашиваю, потому что знаю хорошо, что если-бъ я сказала пана Анзельма, то онъ сейчасъ же разсердился бы и сказалъ: „Я къ молокососамъ не хожу!“ Онъ всегда думаетъ, что панъ Анзельмъ еще молодой человѣкъ, а хозяинъ въ хатѣ покойникъ панъ Шимонъ. Пошелъ и такъ хорошо, спокойно шелъ, даже довольно бодро, только немного опираясь на палку, а тутъ какъ выскочатъ изъ-за плетня мальчишки, какъ закричатъ ему прямо въ ухо: „Паценко пріѣхалъ и опять бабушку увезетъ!“, такъ онъ весь затрясся и если бы не я, такъ бы и свалился на землю... И ужъ тутъ его ни удержать, ни убѣдить... рвется впередъ такъ, что я никакъ не могла успокоить его и вернуть обратно домой.

Тѣмъ временемъ старикъ, размахивая палкой и грозно покрикивая, бродилъ изъ угла въ уголъ, тщательно заглядывая всюду, осмотрѣлъ даже темную боковушку и, возвратившись въ свѣтлицу, подошелъ къ большому дивану и нѣкоторое время водилъ подъ нимъ палкой, а затѣмъ поплелся къ печкѣ и хотѣлъ заглянуть въ находившіяся подъ ней печурки, но, силясь нагнуться до самаго пола, онъ потерялъ равновѣсіе и грохнулся о земь всей тяжестью своего высохшаго, костляваго тѣла. Юстина находилась ближе всѣхъ къ упавшему. Она очутилась около него раньше всѣхъ и, нагнувшись, подымала ловкимъ движеніемъ его голову, вдругъ она почувствовала, что ее отталкиваетъ чья-то грубая и явно разсерженная рука.

— Съ позволенія! прошу васъ не трогать моего дѣдушки... Я сама справлюсь... Ужъ что касается

дѣдушки, такъ онъ навѣрное мнѣ принадлежитъ!— быстро, заплетающимся отъ волненія языкомъ, заговорила Домонтовна.

Одновременно съ этимъ она съ необыкновенной силой подняла дѣда съ полу, раздражительнымъ жестомъ отодвигая Яна, который хотѣлъ ей помочь.

— Успокойтесь, Якубъ,—заговорилъ Анзельмъ.— Паненки здѣсь нѣтъ и нигдѣ нѣтъ, потому что онъ давно разстался съ этимъ міромъ.

— Нѣтъ?—спрашивалъ старикъ, опираясь на палку и весь дрожа, — въ самомъ дѣлѣ нѣтъ? Честное слово?

— Честное слово!—проговорилъ Анзельмъ торжественно.—Вы, панъ Якубъ, лучше сядьте спокойно около насъ, да разскажите намъ что-нибудь.

— Ужасно бы мнѣ хотѣлось, чтобы онъ при васъ разсказалъ одну исторію изъ двѣнадцатаго года, которая случилась съ его братомъ, когда здѣсь французы были... Онъ помнитъ много интересныхъ исторій...

Должно быть Анзельмъ услыхалъ шепотъ племянника или просто зналъ, чѣмъ можно легче всего успокоить старика, потому что проговорилъ, пододвигая ему стулъ:

— Прошу покорнѣйше садиться, прошу. Интересно мнѣ знать, панъ Якубъ, помните ли вы еще ту исторію, которая случилась съ братомъ Францишкомъ въ двѣнадцатомъ году?.. А можетъ быть уже забыли?

Сморщенное кирпично-красное лицо освѣтилось такимъ же заревомъ проснувшагося, трогательнаго воспоминанія, какъ и въ ту минуту, когда Анзельмъ напомнилъ ему о памятникѣ Яна и Цециліи. Даже ноги старика, казалось, сдѣлались крѣпче, и все тѣло

его точно ожило, потому что, не обращая вниманія на придвинутый стулъ, онъ выпрямился, оперся обѣими руками на палку и, поднявъ голову, взглянулъ на потолокъ.

— Какъ же,—началъ онъ,—какъ же! Помню... го, го! точно вчера это случилось... Самый старшій былъ... пятеро было всѣхъ... Я самый младшій, а Франусь самый старшій... мнѣ лѣтъ десять можетъ быть было тогда, а ему двадцать, когда панъ Доминикъ Корчинскій, отецъ теперешняго Корчинскаго помѣщика, завербовалъ его въ наполеоновскіе легіоны, и оба пошли на войну... Панъ Доминикъ хорошій былъ товарищъ... Хорошій... Я то это знаю, потому что и самъ я почти черезъ тридцать лѣтъ послѣ этого ходилъ съ нимъ на войну... Француся нашего онъ взялъ подъ свое покровительство, такъ какъ онъ былъ старше и всегда писалъ намъ о всѣхъ его успѣхахъ и повышеніяхъ... Наступилъ двѣнадцатый годъ... Французы идутъ! Отецъ и говоритъ: „Вѣрно и нашъ Франусь идетъ съ ними“. А мать киваетъ головой и отвѣчаетъ: „Вѣрно идетъ! Можетъ, и къ намъ зайдетъ! Можетъ быть, мы его еще разъ предъ смертью увидимъ!“... „Можетъ быть и увидимъ“,—говоритъ отецъ... Ждали его... надѣялись... Мать то и дѣло выходила въ поле, на дорогу, а мы, младшіе братья, чуть не ослѣпли, высматривая, не идетъ ли братъ офицеръ.

Пока старикъ говорилъ это, Ядвига не спускала съ Юстины глазъ, которые все болѣе разгорались и сверкали. Она не разслышала словъ, которыя Янъ шепнулъ за минуту передъ тѣмъ, но она хорошо замѣтила, что когда онъ, шепча что-то, наклонился къ Юстинѣ, на губахъ у него была такая улыбка, какой она не видала у него никогда, и что онъ все

время смотрѣлъ на ея распущенные волосы такъ, что казалось, будто онъ не можетъ оторвать отъ нихъ глазъ. Юстина же слушала его, поднявъ на него глаза, въ которыхъ свѣтилась тихая, какъ будто робкая радость. Къ дрожащему еще немного, но постепенно крѣпнувшему голосу старика теперь присоединился громкій шопотъ его внучки. Повидимому, она говорила шопотомъ, потому что звуки съ трудомъ выходили изъ глубины ея взволнованной груди, а можетъ быть и потому, что она сама боялась того, что она говорила.

— Ааа!—удивилась она, не спуская съ Юстины глазъ,—развѣ это теперь такая мода, чтобы ходить съ распущенными волосами? Ааа! скоро, можетъ быть, выйдетъ и такая, что барышни голыми будутъ ходить, или въ однѣхъ рубахахъ!

Юстина, прислушивающаяся къ разсказу старика, не слыхала этихъ ядовитыхъ словъ дѣвушки, или, можетъ, сдѣлала видъ, что не слышитъ... Янъ бросилъ на говорившую гнѣвный взглядъ, но прикусилъ губу и, скрестивъ на груди руки, молча повернулся къ ней спиной.

Старикъ продолжалъ далѣе:

— Ну вотъ сидимъ мы такъ въ нашей берлогѣ и все брата высматриваемъ, какъ тутъ подошла зима, да такая суровая, какой никто никогда еще не запомнилъ. Люди отмораживали себѣ руки и ноги, а иногда отъ страшнаго холоду трудно было духъ переводить. Снѣгомъ позаносило плетни, а въ полѣ наметало сугробы, высокіе какъ горы, или церкви. Вотъ какъ-то раннимъ утромъ позвалъ насъ отецъ, чтобы мы съ нимъ за чѣмъ-то въ поле шли... Я ужъ и не помню зачѣмъ .. Всю ночь была такая мятель, что въ двухъ шагахъ нельзя было отличить

дерево отъ человѣка. Снѣгу намело безъ мѣры. Идемъ мы въ кожухахъ черезъ садъ, бредемъ въ снѣгу по поясъ, только въ концѣ сада показалось намъ что-то черное, стоячее... не то голый пень, который вдругъ появился тамъ, гдѣ его раньше не было, не то деревянная статуя, прижавшаяся спиной къ плетню.—„А что это тамъ такое стоитъ?“—говоритъ отецъ.—„Не знаемъ“,—отвѣчаемъ мы.—А тутъ мать, которая шла за нами неизвѣстно зачѣмъ, просто потому развѣ, что какое-то безпокойство все гнало ее въ поле и на дорогу, говоритъ: — „А, можетъ быть, это, сохрани Боже, человѣкъ замерзъ!“ Всѣ мы тутъ пошли скорѣе, такъ что мать, не поспѣвшая за нами, осталась позади. Пришли мы къ этому мѣсту, взглянули и чуть со страху на земь не попадали.—„Да это же человѣкъ!“—крикнулъ намъ отецъ. А я хоть самый младшій, но смѣлѣе всѣхъ былъ, подскочилъ и, посмотрѣвъ вблизи на этого человѣка, также закричалъ: „Офицеръ, батюшка, офицеръ!“ Мундиръ на этомъ мертвецѣ былъ весь въ дырахъ, а были ли на немъ сапоги, или нѣтъ, этого видѣть нельзя было, потому что снѣгъ доходилъ ему до колѣнъ, и только ужъ отъ колѣнъ выросталъ онъ изъ снѣгу, совсѣмъ какъ деревянный, прижавшись спиной къ плетню, а лицо у него было желтое, какъ воскъ, и только длинные свѣтлые усы падали ему на бороду, а глаза были точно стеклянные. Одна рука у него была опущена, а другую онъ держалъ у рта, стиснувъ въ кулакѣ булку. Мы сразу догадались, что онъ вѣрно заблудился въ полѣ, отыскивая, гдѣ бы укрыться отъ мятели и холода, никуда не попалъ, и съ голоду началъ грызть булку, которая у него вѣрно была въ карманѣ, а тутъ его и смерть отъ мороза ухватила подъ самымъ плетнемъ

нашей хаты. Стоимъ мы это, смотримъ, удивляемся; отецъ ужъ началъ себя крестнымъ знаменіемъ осѣнять, какъ вдругъ подходитъ мать. По снѣгу брела, а все-таки шла, что-то ее, видно, къ этому мѣсту тянуло... Пришла, взглянула, всплеснула руками и, крикнувъ не своимъ голосомъ: „Ісусъ, Марія! Да это же Франусь!“—свалилась на снѣгъ...

Тогда и мы всѣ поняли, кто былъ этотъ замерзшій офицеръ...

Почти одновременно съ послѣдними словами старика раздался громче прежняго озлобленный шопотъ еще болѣе раздраженной Домунтовны.

— Важное дѣло!.. Всякій, если бы этакъ распустилъ волосы, то показалъ бы, что ихъ у него не мало!.. только намъ, простымъ дѣвушкамъ, стыдно было бы ходить такъ!.. Ай! ай! волосъ много, было бы столько ума!

Теперь Янъ быстро подступилъ къ ней.

— Прошу панну Ядвигу никому въ нашей хатѣ непріятностей не дѣлать! Я васъ очень прошу объ этомъ,— зашепталъ онъ тихо, но съ нахмуреннымъ лбомъ.

— Ну такъ что же, что панъ Янъ меня проситъ?— отвѣтила она такимъ же шопотомъ съ искрящимися глазами. Можетъ быть когда-то просьба пана Яна имѣла для меня какое-нибудь значеніе... но теперь я вижу, что мнѣ заблаговременно нужно посторониться, чтобы вы, привыкнувъ къ обществу большихъ барынь, не приняли меня какъ-нибудь, сохрани Богъ, за свою крѣпостную...

Посеребренные и позолоченные браслеты звенѣли на ея большихъ красныхъ рукахъ, которыя она въ волненіи то сжимала, то разжимала; ея взволнованный голосъ дрожалъ, а на ея каштановыхъ рѣсницахъ повисли крупныя слезы.

— Почему это вы такъ злитесь и волнуетесь? Развѣ вы не знаете, что злость вредитъ красотѣ?— немного насмѣшливо поддразнивалъ ее Янъ.

Старый Якубъ, поднявъ кверху желтый, какъ воскъ палецъ, говорилъ съ выраженіемъ торжественнаго ужаса на лицѣ:

— Такъ-то вернулся онъ въ родное гнѣздо и, какъ вѣрный часовой, сталъ у воротъ родительскаго дома... Такъ ужъ мы съ отцомъ перенесли его, превратившагося въ деревянную статую, на рукахъ въ хату, а мать легла около него на скамьѣ и выла какъ волчица...

На разгнѣванную волчицу походила и дѣвушка, которая въ эту минуту обняла старика рукой и, стараясь направить его къ дверямъ, говорила:

— Пойдемъ отсюда, дѣдушка, ну! идемъ! Довольно ужъ мы тутъ сидѣли и досыта наслушались пріятныхъ вещей... Здѣсь не нуждаются въ нашемъ обществѣ... Зачѣмъ намъ навязываться людямъ, которые нами пренебрегаютъ и добиваются другой дружбы и чести? Въ знакомыхъ у насъ, слава Богу, недостатка не будетъ!...

Щеки ея и лобъ покрылись почти багровымъ румянцемъ, изъ глазъ сыпались искры. Она уводила къ двери старика, который въ свѣтлыя минуты слушался ее, какъ ребенокъ, и все еще говорила:

— Одна звѣзда восходитъ, другая заходитъ! Мы тутъ больше не нужны. Здѣсь хорошее должно уступить лучшему. Ну и слава Богу! И прекрасно! Былъ бы только изъ этого толкъ какой, потому что извѣстно, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Спокойной ночи всѣмъ. Счастливо оставаться!

Въ голосѣ ея звучали не сдерживаемый гнѣвъ и уязвленная гордость, и сдерживаемыя изо всѣхъ силъ рыданія. Выходя въ сѣни, она пропустила дѣда впередъ, захватила въ руку свой измятый, грязный шлейфъ, чтобы удобнѣе было перешагнуть чрезъ высокій порогъ, и съ громкимъ стукомъ захлопнула за собой дверь.

Послѣ ухода этихъ двухъ людей оставшіеся нѣсколько минутъ молчали. Янъ первый расхохотался.

— Вотъ такъ язычекъ!—вскричалъ онъ.—Ну и злая же! Я даже не ожидалъ, чтобы она была такая! Можетъ быть, такой рѣзкій языкъ и нравится кому-нибудь, но только ужъ не мнѣ, ни въ какомъ случаѣ!

Анзельмъ не спрашивалъ ничего и не сдѣлалъ племяннику никакого замѣчанія. Видно было однако, что онъ былъ чѣмъ-то недоволенъ, о чемъ-то раздумывалъ и о чемъ-то сожалѣлъ. Янъ, немного смущенный послѣ своей выходки, вошелъ въ темную боковушку, но черезъ нѣсколько времени вернулся оттуда и вскричалъ:

— Хотите посмотрѣть вблизи, какая сейчасъ будетъ прекрасная иллюминація на Нѣманѣ? — обратился онъ къ Юстинѣ.

— Яицу ловятъ?—спросилъ Анзельмъ.

— Какъ же! Только что начали выплывать съ огнями.

— Мнѣ ужъ и домой пора! — проговорила Юстина, вставая.

— Я васъ провожу, потому что на дворѣ совсѣмъ темно.

— Пойду и я съ вами,—тихо проговорилъ Анзельмъ; онъ медленно поднялся со скамейки и велѣлъ Антолькѣ, которая вошла въ свѣтлицу съ пол-

нымъ кувшиномъ молока, принести ему шапку изъ боковушки.

— Ночная прогулка утомитъ васъ, дядя,—замѣтилъ Янъ.

— Не безпокойся. Хоть и ночь, а если я захочу то сумѣю идти скорѣе, чѣмъ ты, — пошутилъ Анзельмъ.

Свѣтлица немного оживилась. Вслѣдъ за Антолькой вошелъ Михаилъ въ канареечномъ костюмѣ, который онъ ради праздника дополнилъ еще синимъ галстухомъ съ бантомъ въ видѣ бабочки.

Онъ не дурачился по вчерашнему, но, наоборотъ, солидно поклонился всѣмъ и, пожелавъ добраго вечера, сталъ въ углу, покручивая одной рукой усъ, а другой подбоченившись, и съ любопытствомъ смотрѣлъ на Юстину.

Антолька наливала еще теплое молоко изъ кувшина въ бутылку.

— Можетъ быть, Юстинка напьется свѣжаго молока? Пожалуйста,—упрашивала она.

Анзельмъ, надѣвая на голову медленнымъ движеніемъ свою большую баранью шапку, тихо говорилъ племяннику;

— Устану я или нѣтъ, но я не позволю, чтобы изъ-за тебя о барышнѣ говорили злые языки. Ужъ и то нехорошо, что я не могъ поѣхать съ вами на могилу, а совершать вдвоемъ ночныя прогулки и отплатить зломъ за ея доброту, вовсе не годится.

Янъ неожиданно обнялъ его и, завертѣвъ имъ вокругъ себя, съ громкимъ смѣхомъ поцѣловалъ его въ обѣ щеки.

— Каждый изъ васъ, молодыхъ, глупъ!—кутаясь въ кафтанъ проворчалъ Анзельмъ, разсердившись немного на племянника.

Вечеръ былъ темный, потому что растрепанныя облака, похожія на развѣвающіеся клубы дыму, мѣстами закрывали небо и звѣзды.

— Если вы хотите хорошо видѣть, то нужно сойти подъ тополь,—отозвался Янъ.

Юстина быстро сбѣжала; Янъ помогалъ дядѣ спуститься съ горы.

Изъ-подъ тополя виднѣлась длинная лента Нѣмана, сворачивавшаго съ одной стороны противъ Корчинской усадьбы за высокій берегъ, а съ другой—исчезавшаго въ пространствѣ за далекими песками. Въ этотъ день Юстина видѣла Нѣманъ уже въ четвертый разъ, и каждый разъ онъ выглядѣлъ иначе. Съ утра онъ былъ точно подшитый тяжелыми тучами съ поверхностью, сверкавшей выбивающимися искристыми огоньками и ласкаемой крыльями ласточекъ, которыя ее задѣвали; потомъ она увидѣла, какъ онъ бушевалъ, угрюмо катя надувшіяся волны съ гребнями бѣлой пѣны, съ ползущими въ дождевой мглѣ желтыми плотами и рѣзво мчавшимся стадомъ черныхъ лодокъ; затѣмъ, послѣ бури, онъ разстилался лазурью и золотомъ, курился столбами золотого дыма, съ величавымъ хоромъ бѣлоснѣжныхъ морскихъ воронъ въ вышинѣ и пугливой стаей атласныхъ чаекъ; теперь, неподвижный съ виду, стлался онъ внизу лентой, которая дѣлилась вдоль на двѣ полосы: черную—подъ длинной тѣнью бора и стальную—съ другой стороны.

Въ этой полосѣ расплавленной стали не сверкали отблески звѣздъ, заслоняемыхъ дымчатыми растрепанными облаками, но взамѣнъ этого по ней скользили блѣдные отблески, и начали появляться яркіе, красные огни, издали казавшіеся круглыми. Они отдѣлялись въ разныхъ мѣстахъ отъ подошвы высо-

кой горы, пока, наконецъ, не усѣяли рѣку разбросанной вереницей. Когда они начали плыть, можно было разсмотрѣть, что это были огни, разведенные на маленькихъ лодкахъ и безпрерывно раздуваемые сидѣвшими въ нихъ людьми. Ихъ было около двадцати. Они двигались очень медленно глубоко внизу, и такъ же медленно колыхались ихъ отраженія въ темной пучинѣ, а освѣщенные ихъ красноватымъ отблескомъ профили человѣческихъ лицъ и фигуръ выдѣлялись на темномъ фонѣ ночи съ рельефностью скульптурныхъ изваяній и вмѣстѣ съ тѣмъ съ прозрачной таинственностью.

Но самымъ удивительнымъ и почти фантастическимъ явленіемъ была какая-то густая мгла, которая непонятнымъ множествомъ мелкихъ, какъ бы снѣжныхъ хлопьевъ, осыпала лодки и сидящихъ въ нихъ людей, часто затмевая блескъ огня какъ бы бѣлымъ туманомъ. Въ воздухѣ тьмы этой не было, какъ не было ея также и въ пространствѣ, раздѣлявшемъ лодки; неизвѣстно откуда бралась она. Вскорѣ, однако, стало ясно, что она состояла изъ миріадъ бѣлоснѣжныхъ, крошечныхъ мотыльковъ, которые вспархивали изъ воды на крылышкахъ, точно сотканныхъ изъ тончайшаго крепа. Ихъ было, можетъ быть, столько, сколько песчинокъ на днѣ Нѣмана, въ глубинахъ котораго они родились для того, чтобы теперь съ неудержимой жаждой и стремительной рѣзвостью нестись на блескъ и пламя огня. Коварные рыбаки проворными движеніями рукъ тихо, быстро сгребали въ мѣшки эту живую крылатую мятель, осыпавшую ихъ головы, одежду и лодки бѣлизной снѣга

Тихо и очень медленно, безъ малѣйшаго звука, который могъ бы встревожить и разогнать этихъ пу-

гливыхъ созданій, даже безъ плеска веселъ, плыли далеко другъ отъ друга красные огни и красноватые человѣческіе силуэты въ темной глубинѣ ночи, по темной полосѣ рѣки, пока не заняли собою все видимое пространство ея. Всюду было тихо: подъ небомъ, въ воздухѣ, на землѣ и въ водѣ; только гдѣ-то вверху, надъ деревьями, высоко взвившіеся и невидимые въ темнотѣ, гудѣли рои нѣманскихъ мошекъ. Это было монотонное, непрерывное, металлическое гудѣніе, точно издаваемое струной, протянутой и дрожащей между поверхностью рѣки, усѣянной мерцающими огоньками и небомъ, подъ которымъ висѣли облака, походившія на клубы развѣвающагося дыму или на клочья изорваннаго крепа.

Трое людей, стоявшихъ на серединѣ горы подъ тополемъ, узнали Витольда, который плылъ на одной изъ лодокъ. Первый замѣтилъ его Янъ.

— Вотъ и панъ Витольдъ плыветъ съ Казикомъ, сыномъ Валентія,—вскричалъ онъ.

Дѣйствительно это былъ Витольдъ, плывшій на этотъ разъ не съ Юлькомъ, а съ какимъ-то другимъ рыбакомъ; весь онъ былъ осыпанъ снѣжной мглою яицы и молча и усердно исполнялъ ту же самую работу, что и его товарищъ. Тонкій профиль его явственно вырисовывался на фонѣ огня противъ болѣе грубаго, но тоже молодого и привлекательнаго лица его спутника.

— Сынъ пана Корчинскаго здѣсь, и племянница его съ нами,—тихо произнесъ Анзельмъ.—Новость... но... но... новость! Я ужъ и не надѣялся увидѣть подобныя но... но... вости, — прибавилъ онъ, сильно заикаясь.

Незадолго до полуночи Юстина вошла боковой дверью корчинскаго дома и сейчасъ же въ дѣвичьей услыхала громкое чтеніе Терезы, очень ясно доно-

сившееся изъ спальни пани Эмиліи. Черезъ полуотворенныя двери видна была даже часть комнаты, убранной голубой мебелью и залитой голубымъ свѣтомъ, въ которой раздавался черезчуръ нѣжный, но пріятно звучавшій голосъ женщины, бѣгло читавшей по-французски.

— „Очутившись передъ королемъ, я сдѣлала глубокій реверансъ, почти до земли, и долго не смѣла взглянуть на обожаемый обликъ великаго Людовика. Когда я, наконецъ, подняла глаза, я увидала всѣхъ представителей величія и славы Франціи, которые окружали монарха, какъ звѣзды окружаютъ солнце. Былъ тамъ великій Кондэ, принцъ де-Люинъ, принцъ Монморанси, принцъ Сенъ-Симонъ, принцы Брольи, графъ де-ла-Рошфуко, маркизъ Креки и другіе; всѣ они устремили на меня глаза, и во всѣхъ этихъ глазахъ я ясно прочла удивленіе и восхищеніе, вызванное въ нихъ моей красотой. Это подтвержденіе свидѣтельства, много разъ выдаваемаго мнѣ зеркаломъ, придало мнѣ смѣлость окинуть взоромъ лицо короля. Каково же было мое восхищеніе, когда и его улыбка, улыбка короля-солнца, также сказала мнѣ, что вскорѣ на небосклонѣ его двора я засіяю звѣздой первой величины! Я переживала божественныя ощущенія; мнѣ казалось, что я вступаю въ рай величія, блеска, изящества и наслажденія“...

— Моя Тереня,—прервалъ чтеніе другой женскій голосъ, слабый и кроткій,—можешь ли ты представить себѣ такое же прекрасное, такое же свѣтлое существованіе?

— Ахъ! подобной жизни невозможно даже представить себѣ!—вздохнула Тереза.

— Быть звѣздой первой величины при дворѣ великаго короля... развлекаться... блистать...

— Быть любимой,—перебила Тереза.

— О, да! И кѣмъ же? Подобнымъ маркизомъ де-Креки!.. Какою же была любовь этихъ изящныхъ, прекрасныхъ, поэтичныхъ людей!

— Ахъ! подобнаго счастья даже невозможно себѣ представить!

— При такихъ условіяхъ и я также могла бы быть здоровой, веселой, довольной; могла бы танцовать, не только ходить, могла бы дышать полной грудью, словомъ—жить! Не правда ли, Тереня?

— О!

— О, какъ же не равно распредѣлено между людьми счастье,— еще разъ вздохнула пани Эмилія, и, вѣроятно, слеза скатилась по ея худой, бѣлой, какъ лилія, щекѣ, потому что вслѣдъ за этимъ послышались возгласы Терезы.

— Только, ради Бога, не волнуйтесь, моя дорогая, не плачьте, а то снова можетъ произойти припадокъ... моя дорогая, обожаемая, пощадите свои нервы, возьмите себя въ руки... можетъ быть, вы уже чувствуете удушье?

Очевидно, въ этотъ вечеръ пани Эмилія и ея компаньонка вмѣсто того, чтобы путешествовать по необозримымъ пространствамъ земного шара, совершали путешествіе въ область времени, погрузившись въ чтеніе мемуаровъ одной изъ извѣстнѣйшихъ великосвѣтскихъ дамъ французскаго двора семнадцатаго столѣтія.

Юстина вошла въ темную столовую, въ глубинѣ которой чрезъ широко растворенную дверь виднѣлся кабинетъ хозяина дома, ярко освѣщенный большой лампой, стоявшей на письменномъ столѣ. За столомъ сидѣлъ Бенедиктъ Корчинскій предъ раскрытой приходо-расходной книгой, въ которой онъ вы-

водилъ длинные столбцы цифръ и замѣтокъ. Его высокая массивная фигура съ загорѣлымъ лицомъ, длинными усами и темными безпорядочно разсыпавшимися волосами рельефно обрисовывалась при свѣтѣ лампы тяжелыми, суровыми линіями. Было что-то печальное и очень величавое въ этомъ человѣкѣ, который тихою полночью одиноко работалъ въ глубинѣ большого стараго дома. Онъ выглядѣлъ настолько погруженнымъ въ свою работу, что, казалось, ни одна посторонняя мысль, никакая забота, не имѣвшая непосредственной связи съ выходящими изъ-подъ его пера замѣтками и цифрами, не могла бы отвлечь его отъ нихъ. Однако же, услыхавъ шаги въ сосѣдней темной комнатѣ, онъ быстрымъ движеніемъ поднялъ голову отъ приходо-расходной книги.

— Витольдъ?—окликнулъ онъ громко.

Юстина остановилась на порогѣ освѣщеннаго кабинета.

— А! это ты! — проговорилъ онъ разочарованнымъ тономъ.

Онъ провелъ рукой по вздрагивающимъ отъ усталости вѣкамъ.

— А не знаешь ли ты, гдѣ... Витольдъ?

Она разсказала, что видѣла его сейчасъ на Нѣманѣ въ обществѣ рыбаковъ, ловившихъ яицу.

— А!—сказалъ онъ коротко и снова наклонился надъ приходо-расходной книгой.

Юстина подошла ближе къ нему.

— Спокойной ночи, дядя,—проговорила она тихо и искреннѣе обыкновеннаго поцѣловала его руку.

Въ головѣ ея проносились слова: „не крикнулъ, не заплакалъ, а только нѣсколько разъ произнесъ имя Божіе такимъ голосомъ, какой бываетъ у умирающаго“. Цѣлуя его руку, она посмотрѣла ему въ

лицо. Боже! сколько морщинъ, сколько морщинъ покрывало это лицо! Толстыми складками и тонкими лучами располагались онѣ на лбу, щекахъ и вокругъ выпуклыхъ темныхъ и мрачныхъ глазъ. Которая изъ этихъ морщинъ была могилой обоихъ его братьевъ? Въ какихъ схоронены идеалы и увлеченія его молодости? Какія вырыло время, въ теченіе двадцати слишкомъ лѣтъ медленно и тяжело падавшее каплями свинца на его голову?

— Спокойной ночи, спокойной ночи,—разсѣянно отвѣчалъ онъ, прикоснувшись жесткими усами къ ея лбу. Онъ ни о чемъ не спросилъ ее. Никогда не разспрашивалъ онъ своихъ домашнихъ ни о чемъ, что касалось исключительно ихъ самихъ. Вѣчно занятый, озабоченный, задумчивый, онъ казался равнодушнымъ ко всему, что не имѣло связи съ хозяйствомъ и дѣлами, и, вѣроятно, былъ такимъ въ дѣйствительности. Однако, послѣ ея ухода, онъ снова поднялъ голову, отбросилъ перо и рѣзкимъ движеніемъ потянулъ книзу свой длинный усъ. Что-то кипѣло въ немъ обидой, гнѣвомъ, безпокойствомъ.

— Съ рыбаками по Нѣману плаваетъ... молокососъ!—громко и почти гнѣвно проворчалъ онъ. — Никогда его дома нѣтъ... никогда со мною... никогда, такъ, какъ раньше... злой мальчишка... безсердечный... эгоистъ!

Онъ прикусилъ кончикъ уса и, уставившись стекляннымъ взоромъ въ пространство, тихо, съ изумленіемъ проговорилъ нѣсколько разъ:

— Что съ нимъ сдѣлалось? что съ нимъ... что съ нимъ?.. что съ нимъ сдѣлалось?

Поднявшись по лѣстницѣ, которая вела въ верхнюю часть дома, Юстина тихо пріотворила дверь въ комнату отца. Раздававшійся въ темнотѣ громкій,

протяжный храпъ далъ ей понять, что отецъ ея спитъ глубокимъ и покойнымъ сномъ. Она открыла противоположную дверь и очутилась въ комнатѣ, принадлежащей ей и Мартѣ и освѣщенной лампочкой, которая горѣла на столѣ.

— Ага! это ты! вернулась таки! Въ полночь возвращается барышня съ прогулки. Поздравляю, но не завидую! Мнѣ лучше въ постели лежать. Старость и молодость обычная исторія!

Этими словами привѣтствовалъ ее густой, немного хриплый голосъ, выходившій изъ угла довольно просторной комнаты. Въ этомъ углу стояла кровать, на которой, завернувшись въ ватное одѣяло и вытянувшись во всю длину, лежала, лицомъ къ потолку, не уснувшая еще Марта. Ея неподвижное тѣло въ полумракѣ напоминало спеленатую мумію; желтое лицо неясно виднѣлось на бѣломъ фонѣ подушекъ, а глаза блестѣли, точно черныя бусинки.

Юстина молча подошла къ комоду, надъ которымъ висѣло прибитое къ стѣнѣ зеркальце, и начала медленно раздѣваться и заплетать волосы.

Марта продолжала:

— Откуда же это боги несутъ? А метлы не принесла съ собой никакой? Видѣла я сегодня, видѣла, какъ ты наряжалась въ кисейное платьице и съ полчаса укладывала передъ зеркаломъ волосы. Я была увѣрена, что ты ждешь визита богатаго жениха. Вотъ еще невидаль, честное слово! Бѣдную дѣвушку, не такъ, чтобы ужъ очень образованную и не такъ, чтобы ужъ очень красивую, прямо изъ приживалокъ у родственниковъ хочетъ взять въ жены и сдѣлать великосвѣтской дамой! „Ну, ну! — думаю себѣ, — неудивительно, что ты и сама не знаешь,

какъ лучше одѣться и чѣмъ себя украсить для него!“ А она тутъ взяла, да и ушла, да на полдня и исчезла! Гдѣ ты пропадала? Опять тамъ?... И зачѣмъ это? Вѣчная глупость! А если бы Ружицъ пріѣхалъ, а? Двумъ богамъ нельзя служить... или князь... ну не князь, а въ сравненіи съ тобой больше, чѣмъ князь, королевичъ, — или мужикъ. Бѣгая за мужицкими метлами, можешь потерять королевича и тогда горевать будешь. И сдѣлаешься похожей на холеру, какъ я, или на горлицу, которая, какъ Тереза, вѣчно вытягиваетъ шею за сахаромъ! Вѣчная потѣха! честное слово! Ха-ха-ха! Уфъ, не могу...

Она засмѣялась, закашлялась и снова сейчасъ же начала говорить. Кромѣ обычной возбужденности и раздражительности, въ словахъ ея слышалось также и необычное безпокойство. По временамъ она двигала ногами подъ одѣяломъ, а черные глаза ея все ярче блестѣли въ полумракѣ.

— Что же тамъ слышно?... а? что ты тамъ дѣлаешь? о чемъ разговариваешь? Да развѣ ты умѣешь съ ними разговаривать? Они тамъ ничего не слыхали ни о французскихъ романахъ, ни о сонатахъ, ни объ увертюрахъ и при томъ употребляютъ такія забавныя слова! Помню... помню... Когда-то я такъ, было, привыкла къ ихъ говору, что и сама не разъ, бывало, забудусь, да и брякну что-нибудь по ихнему, а потомъ чуть не сгорю со стыда. Ну, очень тебѣ не терпится узнать пріѣзжалъ ли сегодня королевичъ? Будь покойна, не пріѣзжалъ. Пани Кирло только, сейчасъ послѣ твоего ухода, пріѣхала; Эмилька прислала за мной, чтобы я приняла ее, потому что она сама пребывала въ ожиданіи мигрени и даже зѣвать ужъ начинала... Хотя въ сущности

она вовсе не изъ-за мигрени не хотѣла принять пани Кирло, а просто потому, что ей было лѣнь съ нею разговаривать. А Тереза опять говорила, что сегодня онѣ читаютъ какую-то очень интересную книжку. Вѣчная глупость! Довольно того, что я просидѣла съ пани Кирло часа два, хоть меня такъ и подымало съ дивана, потому что я сегодня булки пекла. Съ первыхъ же словъ начала спрашивать о тебѣ: гдѣ ты? что дѣлаешь? какъ теперь выглядишь? повеселѣла ли? Потомъ осторожно перевела разговоръ на Сигизмунда и спросила у меня потихоньку: влюблена ли ты еще немножко въ него? Наконецъ, она начала говорить о своемъ кузенѣ: какія у него остались еще имѣнія и богатства, какой онъ добрый и какой несчастный? — „да все, — говоритъ, — сожалѣетъ о томъ, что растратилъ молодость, здоровье и значительное состояніе, а кромѣ того“... и что-то такое мнѣ сказала, чего я не поняла... „Самое большее несчастье его“, начала и, покраснѣвъ такъ, какъ она умѣетъ краснѣть, прикусила языкъ. Меня любопытство взяло, и я стала допытываться что это за несчастье? А она, опустивъ глаза, пугливо, пробормотала: „Морфій!“ И ужъ ничего больше не могла я отъ нея добиться. Она говорила только о томъ, какъ сильно бы она желала, чтобы онъ женился и совсѣмъ поселился въ Воловщизнѣ, потому что только это одно могло бы еще вылѣчить его отъ всѣхъ несчастій. Нужно только, чтобы онъ женился на женщинѣ доброй, разсудительной, серьезной и такой, которая ему очень нравится. Такая женщина была бы съ нимъ счастлива, потому что онъ добрый, умный и благородный, и вся вина его состоитъ только въ томъ, что, будучи богатымъ, онъ позволилъ себѣ слишкомъ много; онъ самъ уже

сознаетъ это и рѣшилъ жениться... Слышишь, Юстинка? Уже рѣшилъ, а она, кажется, пріѣзжала сюда сегодня только за тѣмъ, чтобы разузнать, что ты объ этомъ думаешь и какъ рѣшишь... Въ сваху превратилась, но ничего въ этомъ нѣтъ удивительнаго: она хочетъ спасти своего кузена отъ танцовщицъ, банкротства и какого-то тамъ еще морфія, а онъ, кажется, очень добрый для нея и даже помогаетъ ей... Видишь, сколько я тебѣ наговорила? Можетъ быть, скажешь, что я дурная подруга? Можешь теперь спокойно ложиться и мечтать о богатствѣ. Не понимаю я только, честное слово, почему ты сегодня не сидѣла дома и не ждала королевича? Папенька твой цѣлый день игралъ одинъ, а къ вечеру захотѣлось ему поиграть еще съ аккомпанементомъ... Какой-то тамъ новый ноктюрнъ, или какого-то другого тамъ чорта, изучилъ и тебя хотѣлъ научить... По всему дому разыскивалъ дочку, а дочка точно въ воду канула. Гдѣ же ты пропадала? Не думаю, чтобы ты, какъ привидѣніе, блуждала одна по полямъ и лѣсамъ. Пока окончательно не поймала королевича, должно быть, нашла себѣ какого-нибудь пастушка? Ну, скажи же хоть одно слово. Или ты онѣмѣла? Я ей говорю и говорю, — всѣ новости, какія только могутъ ее интересовать, разсказала, а она мнѣ ничего сказать не хочетъ... скрытная, гордая... недобрая дѣвушка... честное слово, недобрая. Уфъ!

Легко было угадать, что она желала, чтобы та, къ которой она такъ долго говорила, отплатила ей взаимностью и въ свою очередь разсказала ей о чемъ-то, что ее занимало, горячо и страстно интересовало. Страстнымъ огнемъ пылали теперь въ полумракѣ ея черные глаза; она высвободила руки

изъ-подъ одѣяла и дѣлала ими безпокойныя, почти судорожныя движенія. Въ голосѣ ея, когда она проговорила послѣднія слова, звучала обида.

— Скрытная, гордая, недобрая, недобрая! — повторила она.

Она закашлялась, умолкла и снова лежала неподвижно, устремивъ глаза въ потолокъ.

Юстина, съ заплетенной на затылкѣ косой, въ бѣлой широкой кофтѣ, подошла босикомъ къ ея кровати и опустилась передъ ней на колѣни. Взявъ въ обѣ руки ея большую костистую руку и близко наклонившись къ ней, она тихо спросила:

— Тетя, почему ты не хотѣла сдѣлаться его женой?

— А? Что? — вздрогнула старая дѣва и повернулась всѣмъ тяжелымъ тѣломъ къ спрашивавшей.

— Что? Почему я... его женой? — начала она говорить громкимъ и немного свистящимъ шопотомъ, — его? чьей? развѣ ты дѣйствительно видишь его?... знаешь? Это онъ самъ говорилъ тебѣ... о мнѣ говорилъ... вспоминалъ... въ самомъ дѣлѣ вспоминалъ?

— Вспоминалъ; разсказывалъ, сколько онъ выстрадалъ и теперь еще не вполнѣ сталъ такимъ, какъ всѣ...

— Выстрадалъ! а я не страдала развѣ? Не такой, какъ всѣ!... а я развѣ такая? Вѣчное горе!.. вѣч-но-е го-ре!...

Долгій вздохъ приподнялъ ея широкую грудь, въ которой отозвалось хрипѣніе, походившее на жалобный стонъ.

— Такъ почему? почему же? почему? — почти съ лихорадочной поспѣшностью допытывалась Юстина, все сильнѣе сжимая ея руку.

Разгорѣвшіеся глаза Марты такъ впились въ ея лицо, точно хотѣли пронзить его насквозь, до самаго мозга, и прочесть самыя затаенныя мысли.

— Не сказалъ причинъ? Все разсказалъ, а причинъ не открылъ? Что?

— Не говорилъ.

Она долго молчала; потомъ, отводя глаза отъ стоявшей предъ нею на колѣняхъ дѣвушки, она немного спокойнѣе, чѣмъ прежде, начала говорить:

— А ты хочешь знать? хочешь? изъ любопытства? Всегда любопытно узнать, почему дѣвушка отказала жениху, хоть бы и такому, какъ этотъ. Ты, вѣрно, думаешь, что услышишь что-нибудь интересное? Какая-нибудь особенная исторія?... принужденіе... препятствія... приключенія... трагедіи. Вотъ и ошибаешься. Ничего особеннаго или романическаго, ничего такого, какъ бываетъ въ театрѣ, не было. Это была вещь обыкновенная, прозаическая, такая, какая растетъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ ее не сѣютъ. Была это вѣчная глупость.. моя собственная глупость... видишь, какъ прозаично...

Она засмѣялась.

— Причины... — повторила она, — причины... причины... Двѣ были: во-первыхъ, королева страшно боялась людского смѣха, а во-вторыхъ, она очень испугалась тяжелой работы. Вотъ и все. Запрещать не запрещали, потому что никто и права на это не имѣлъ. Я была сиротой, и мнѣ было двадцать съ лишнимъ лѣтъ, но насмѣхались, вышучивали, издѣвались. Пока на свѣтѣ кипѣло, какъ въ котлѣ, и люди ходили съ пылающими головами, до тѣхъ поръ рѣчь шла о равенствѣ; обнимались, цѣловались, братались, баринъ возилъ въ своей каретѣ мужика и упрашивалъ: „Люби ты меня хоть немножко

и называй по имени: Васька! или тамъ Юрка, или Анзельмъ". Но когда пожаръ потухъ, на пепелищѣ снова показались и горы и долины, какъ прежде, какъ прежде... горы и долины. „А, ты, Васька или Анзельмъ, не смѣй съ долины на гору взбираться. А ты, королевна, если спустишься съ горы въ долину, то мы тебя ни бить, ни преслѣдовать за это не будемъ, потому что мы слишкомъ умны и черезчуръ деликатны для этого, но зато осмѣемъ тебя, такъ осмѣемъ, что даже бока у насъ заболятъ отъ смѣху". Вотъ какъ было. Не преслѣдовали, не препятствовали, но только насмѣхались. „Вотъ такъ прекраснаго жениха добыла себѣ Марточка!" Дажецкіе смѣялись; тотъ шутъ, Кирло, тоже выщучивалъ; даже вдова пана Андрея улыбнулась при одной мысли, что я могу выйти замужъ за человѣка, который пашетъ собственными руками. Тотъ шутъ, Кирло, просто покатывался со смѣху: „Что тамъ пашетъ! Пахать это еще ничего, даже прекрасно, поэтично, но онъ собственноручно навозъ въ поле вывозитъ и отъ этого, должно быть, очень воняетъ". И каждый, кто бы ни услыхалъ о моемъ женихѣ, такъ и покатывался со смѣху. А я, знаешь ли, какъ въ огнѣ горѣла отъ стыда. Бывало такъ, что я по цѣлымъ ночамъ плачу съ тоски по немъ и, представляя себѣ, какъ бы я съ нимъ была счастлива, рѣкой разливаюсь, а днемъ передъ родственниками и знакомыми, честное слово, отрекаюсь отъ него, какъ Петръ отъ Христа, и... знаешь? вѣчная подлость! сама, сама смѣюсь надъ этимъ женихомъ, да еще больше, чѣмъ они. Иногда слезы градомъ сыплются у меня изъ глазъ, а они думаютъ, что это отъ смѣху... Только одинъ Бенедиктъ не смѣялся, да ему тогда и не до смѣха было, а, можетъ быть

онъ не такъ скоро, какъ другіе, забылъ, что братъ того, надъ которымъ такъ смѣялись, лежалъ въ одной могилѣ съ его братомъ. Но онъ опять начиналъ изъ другой оперы: „Тяжелый трудъ“ — убѣждалъ онъ меня. — „Ты должна будешь сама полоть, жать, коровъ доить, стряпать, стирать“... Цѣлый реестръ привелъ мнѣ того, что я должна буду сама дѣлать. „Не выдержишь, потеряешь здоровье, огрубѣешь, омужичишься“. Это меня оттолкнуло больше всего, еще больше, чѣмъ насмѣшки и вышучиванія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ же это я могла бы сама жать, полоть, доить коровъ, стирать?... Замучаюсь, навѣрное, замучаюсь, не выдержу и притомъ мужичкой сдѣлаюсь. Откуда только у меня барство бралось? Одинъ чертъ развѣ только объ этомъ зналъ, потому что у меня вѣдь ничего не было, въ дырявыхъ башмакахъ часто ходила, воспитаніе кой-какое дали мнѣ, только очень, очень неважное, а работала я въ Корчинѣ всегда, съ малыхъ лѣтъ и то не на шутку, такъ какъ я завѣдывала домомъ, садомъ и фольваркомъ, и притомъ сама шила для себя платья изъ матерій, которыя я получала въ подарокъ отъ родственниковъ. Но я происходила изъ помѣщичьяго рода, родственники мои владѣли имѣніями... Ну, значитъ, и королевна... Дѣйствительно испугалась такого труда, который меня тамъ ожидалъ... Что тамъ! забуду, перестану тосковать и жалѣть. А Дажецкая тараторила: „Другой кто-нибудь, вѣрно, случится тебѣ, болѣе подходящій, я тебѣ сама сосватаю“. — Но никто не случился, никого она не сосватала, потому что вскорѣ начала собственныхъ дочерей сватать, а забыла ли я и перестала ли сожалѣть о томъ, что могло быть, такъ это только мнѣ и Господу Богу извѣстно.

Довольно того, что за мужика я не вышла, не жала, не полола и коровъ не доила... что же касается стряпни и стирки, то случалось... Корчинъ изъ большого королевства превратился въ маленькое, и не разъ приходилось руки себѣ мозолить... Но я не жала и не полола и коровъ не доила, а это много значитъ... для этого можно отъ многаго отказаться... ужъ это одно вознаграждаетъ за все: за любовь и за собственный уголъ и за тѣхъ дѣтишекъ, которыя можетъ скрасили бы ласками жизнь, и за то, что я, прежде чѣмъ постарѣла, на холеру стала похожа, — за все вознаграждаетъ... За все нахожу я себѣ награду въ томъ, что я не жала, не полола и въ мужичку не превратилась... Ну вотъ я и довольна, очень довольна, и вся жизнь моя прошла въ большомъ удовольствіи... а притомъ честь и слава мнѣ за то, что я спаслась отъ стыда и униженія, честь и слава мнѣ... вѣчная честь!... вѣчная честь!...

— Тетя, тетя! бѣдная тетя!—шептала Юстина, сжимая руку взволнованной и тяжело дышавшей женщины.

Но она, повернувъ къ ней свое желтое лицо, на щекахъ котораго горѣлъ двумя огненными пятнами болѣзненный румянецъ, начала спрашивать быстрымъ свистящимъ шопотомъ:

— Что-жъ тамъ съ нимъ? какой у него видъ? выздоровѣлъ ли онъ совсѣмъ? Съ племянникомъ, кажется, живетъ согласно?

Онѣ обѣ долго разговаривали шопотомъ, близко придвинувшись лицами другъ къ дружкѣ.

— Домъ новый построилъ? Какъ же тамъ внутри? Свѣтлица большая? Чисто? Прилично?

А когда Юстина отвѣтила на всѣ вопросы, она спросила:

— Вспоминаетъ? Какъ вспоминаетъ?

Иногда онѣ обѣ задумывались и нѣкоторое время молчали. Потомъ снова слышался вопросительный шопотъ:

— Вспоминаетъ? Часто ли вспоминаетъ?

Женщина, цвѣтущая молодостью и силой, дружески мягко и тихо разсказывала, стоя на колѣняхъ предъ кроватью другой измученной, состарившейся, озлобленной и раздражительной, — какъ и когда онъ говорилъ, разсказывалъ и вспоминалъ.

На впалыхъ, увядшихъ губахъ Марты начала скользить улыбка, взволнованныя черты ея лица разглаживались, вѣки опускались на успокоенные, потухавшіе глаза.

— Вспоминаетъ! — еще разъ шепнула она и утихла совсѣмъ.

Она не уснула, но лежала тихо и неподвижно, а въ ея груди, взбудораженной волненіемъ и долгимъ разговоромъ, играла, стонала и ворчала хрипота.

Юстина поднялась и съ минуту еще смотрѣла на неподвижно лежащую женщину, а потомъ наклонилась къ ней и приникла тихимъ, долгимъ поцѣлуемъ къ ея губамъ. Затѣмъ она отошла, потушила лампу и, усѣвшись у закрытаго окна, долго глядѣла на голубоватый разсвѣтъ, въ которомъ деревья, точно очарованная стража, стояли въ каменной неподвижности, бѣлыя облака заслоняли небо креповымъ покрываломъ, а на блѣдно-серебристомъ Нѣманѣ кое-гдѣ плескалась рыба, разбивая его зеркальную поверхность большими расходящимися кругами, или взметывая кратковременные, невысокіе фонтаны.

Вскорѣ изъ-за бора, на восточной половинѣ неба, выглянула розовая полоска утренней зари; по вѣт-

вямъ деревьевъ пробѣжалъ дрожащій шопотъ; тишину нарушило пѣніе пѣтуха, раздавшееся близко около дома, повторившееся вслѣдъ затѣмъ нѣсколько дальше, а потомъ еще дальше, и съ каждымъ разомъ все отдаленнѣе и все слабѣе. Какъ бодрствующіе часовые, разставленные на огромномъ пространствѣ и поочередно передающіе одинъ другому сигналъ, такъ и птицы эти, одна за другой, повторяли свои торжествующіе крики, оповѣщая міръ о близкомъ наступленіи дня.

Юстина, засмотрѣвшись на все расширявшуюся и разгоравшуюся ленту зари, ловила слухомъ пѣніе пѣтуховъ, которое теперь доносилось слабымъ отголоскомъ изъ околицы, сначала изъ ближайшихъ ея домовъ, затѣмъ изъ болѣе отдаленныхъ и, наконецъ, изъ самыхъ дальнихъ, должно быть, около оврага Яна и Цециліи. Она закрыла глаза и опустила голову на лежавшую на подоконникѣ руку. Мечтала ли она или спала? Она ясно, живо, почти ярко видѣла передъ собою усадьбу, облитую розовымъ свѣтомъ зари, осыпанную жемчужной росой и ступающаго по низкой травѣ двора молодого, красиваго парня. Онъ вошелъ въ конюшню, открылъ дверь и началъ выкатывать оттуда телѣгу. Молоденькая босая дѣвушка съ ведрами на плечахъ пробѣжала подъ рядомъ старыхъ липъ, направляясь къ рѣкѣ; старикъ въ грубомъ кафтанѣ, съ лучистымъ снопомъ морщинъ на высокомъ лбу, отворялъ окно горенки и подымалъ блѣдные глаза къ утреннему небу. Но кто же это еще вышелъ на крыльцо и стоитъ подъ его карнизомъ, вырѣзаннымъ грубыми завитушками? Это она сама... сама... въ короткой клѣтчатой юбкѣ, съ косой, спускавшейся на широкую кофту, съ лицомъ счастливымъ, какъ само счастье этого красиваго парня, ко-

торый, держа въ своихъ рукахъ горящій отблескомъ солнца серпъ, смотритъ на нее...

Мечтала ли она или спала? Снова казалось ей, что на свѣтѣ царитъ сумракъ, прозрачный, но безъ дня и безъ солнца, а она плыветъ вверху и взоромъ охватываетъ широкій горизонтъ, такой широкій, что она ясно видѣла корчинскую усадьбу и околицу, и скрытый въ густой зелени памятникъ легендарной пары, а въ другомъ концѣ его печальную пустыню песковъ и замкнутую въ кольцѣ лѣсистыхъ возвышенностей, одинокую, великую могилу. Все это было погружено въ прозрачный сумракъ, а она, плывя вверху, держала въ рукѣ лампу... ту самую лампу, которая вчера вечеромъ горѣла на ольховомъ комодѣ Анзельма. Должно быть, она взяла ее оттуда и теперь подымала высоко, а лучи ея, хоть и скудные и узкіе, падали однако на крыши усадебъ, скользили золотыми нитями по соединяющей ихъ сѣти плетней и тропинокъ, озаряя всѣ эти мѣста и какъ будто сближая ихъ и связывая между собою, точно соединяя разрозненныя звенья въ одну крѣпкую цѣпь.

Мечтала ли она или спала? Она почувствовала на волосахъ, на лицѣ и на губахъ теплые, долгіе поцѣлуи. То были солнечные лучи, которые, брызнувъ изъ-за розовой полосы зари и разорвавъ бѣлый крепъ облаковъ, опустили концы своихъ стрѣлъ на деревья, на траву, на воду, на внезапно защебетавшихъ птицъ — и на нее. Но сонъ или мечта несли ей эти поцѣлуи не отъ дневного свѣтила, а отъ кого-то другого... другого... потому, что лицо ея загорѣлось румянцемъ, а улыбка восторга раскрыла ея пунцовыя губы.

Глава XII.

„Большой барыней", какъ ее называлъ Анзельмъ Богатыровичъ, вдова Андрея Корчинскаго никогда не была, но когда она, молодая, красивая и съ хорошимъ приданымъ, тридцать съ лишкомъ лѣтъ тому назадъ выходила замужъ за одного изъ трехъ братьевъ Корчинскихъ,— всѣ были того мнѣнія, что только одна любовь могла склонить ее къ этому супружеству. Претендентовъ, добивавшихся ея руки, сердца и состоянія, было немало, но она выбрала среди нихъ самаго небогатаго и наименѣе знатнаго. Она любила и дѣлила съ любимымъ человѣкомъ тѣ чувства и стремленія, которыя наполняли всю его молодость и были причиной его преждевременнаго конца. Она не принесла ему въ приданое милліоновъ, но ея имѣніе, значительно превышавшее стоимостью то, которымъ онъ владѣлъ, и принадлежавшее безраздѣльно ей, какъ единственной дочери, представляло изъ себя очень крупное состояніе. Въ Осовцахъ, по тогдашнему счету, было около ста дворовъ, много земли, прекрасные лѣса и домъ, выстроенный съ нѣкоторыми претензіями на роскошь. Сразу видно было, что его строилъ дворянинъ, соперничавшій съ крупной знатью.

Домъ этотъ, который на много миль въ окружности называли дворцомъ, былъ просто каменной, двухэтажной постройкой, съ двумя рядами большихъ оконъ, красной желѣзной крышей и широкимъ крытымъ подъѣздомъ, аркады котораго были густо обвиты непроницаемой чащей дикаго винограда. Передъ зданіемъ этимъ, имѣвшимъ довольно холодный и обнаженный видъ, разстилался огромный дворъ, украшенный газонами и клумбами, а фонъ его со-

ставляли старинныя аллеи и раскинувшійся за ними на значительномъ пространствѣ такъ называемый англійскій паркъ, въ глубинѣ котораго мелькала сѣть узкихъ дорожекъ, бѣлѣли разставленныя въ разныхъ мѣстахъ скамейки и граціозными арками выгибались мостики, перекинутые черезъ узкую, быструю и вѣчно шумѣвшую рѣчку.

Нѣмана здѣсь не было, но пересѣкавшая паркъ рѣчка впадала въ него въ верстѣ отсюда, и тамъ, въ большомъ треугольникѣ, образованномъ однимъ широкимъ, а другимъ узкимъ русломъ, на просторномъ лугу возвышалась цѣпь невысокихъ, очевидно, искусственно насыпанныхъ холмовъ, которые мѣстное населеніе окрестило именемъ шведскихъ окоповъ. Преданіе говорило, что когда-то, два вѣка тому назадъ, тутъ былъ расположенъ лагерь большихъ войскъ, и происходили кровавыя битвы. Когда аллеи и заросли сада теряли осенью свою листву, лугъ, окопы и двѣ сливавшіяся рѣки—большая и малая, виднѣлись издали изъ оконъ верхняго этажа осовецкаго дома, или такъ называемаго дворца.

Въ этомъ домѣ или въ этомъ дворцѣ пани Корчинская родилась, выросла и провела всю жизнь, за исключеніемъ тѣхъ восьми лѣтъ, которыя она прожила съ мужемъ, въ его собственномъ домѣ. Въ началѣ этихъ лѣтъ она выѣхала отсюда молодой, сіяющей счастьемъ супругой, а въ концѣ ихъ возвратилась вдовой, въ черныхъ одеждахъ, которыхъ ей не суждено было снимать никогда. Никогда не была она вѣтренной, кокеткой, или черезчуръ веселой; даже въ пору первой молодости и въ самыя счастливыя минуты жизни ея величественная фигура сохраняла какое-то спокойное величіе, свидѣтельствующее о глубинѣ и сдержанности чувствъ и даже

въ томъ сіяніи счастья, съ какимъ она отходила послѣ вѣнца отъ алтаря, чувствовалась сосредоточенность, размышленіе, внутренняя молитва, проблески натуры, привыкшей къ суровому отношенію къ самой себѣ, а, можетъ быть, и склонной къ мистицизму. Однако, всякій, кто видѣлъ ее въ ту пору ея жизни, помнилъ хорошо, что цвѣтъ ея лица напоминалъ распустившуюся розу, а въ обращеніи ея и разговорѣ, хотя и болѣе сдержанномъ и серьезномъ, чѣмъ у женщинъ ея возраста, было много привѣтливости и обаянія, свидѣтельствовавшихъ о способности къ благороднымъ увлеченіямъ и порывамъ.

Всѣмъ было извѣстно, что она раздѣляла всѣ убѣжденія и стремленія своего мужа. Жена патріота и демократа, она была его повѣренной и сообщницей и если не шла съ нимъ рука объ руку въ дѣлѣ сближенія съ народомъ и не завязывала съ нимъ тѣсныхъ отношеній, то это происходило не изъ гордости или презрѣнія, или изъ-за кастовыхъ предразсудковъ, но вслѣдствіе совершенной неспособности разстаться хоть на минуту съ изящными формами жизни и терпѣливо переносить житейскія явленія съ ихъ грубостью и тривіальностью. Никто легче и лучше Андрея не умѣлъ подойти къ этимъ простымъ сердцамъ, неуклюжимъ фигурамъ и темнымъ умамъ и никто менѣе его жены не былъ способенъ къ этой дѣятельности. Онъ, влюбленный въ нее и превосходно ее понимающій, прощалъ ей это легко и весело; она чувствовала себя глубоко опечаленной и униженной этимъ единственнымъ разладомъ, нарушавшимъ ихъ полное во всѣхъ отношеніяхъ согласіе. Она желала, силилась, работала сама надъ собой, боролась съ привычками и самыми глубокими своими инстинктами, — и не могла ничего сдѣлать.

Много, много разъ входила она въ низкія избы съ сердцемъ, полнымъ самыхъ дружелюбныхъ чувствъ, но всякій разъ появлялась тамъ съ величественной осанкой и высоко закинутой головой, какъ богиня, удостоившая перешагнуть порогъ обители смертныхъ, съ виду гордая и презрительная, въ душѣ же смущенная до отчаянія, не знающая что дѣлать и какъ говорить, полная самыхъ благихъ чувствъ и дрожащая отъ отвращенія, возбуждаемаго въ ней видомъ прозы, грубости и шероховатости почвы, по которой она ступала. Сколько разъ ни пробовала она говорить — ее не понимали; обращались къ ней — она не понимала. Цѣлое привлекало ее, подробности же поражали и отталкивали. Съ непреодолимымъ отвращеніемъ глядѣла она на грязныя тѣла, на неуклюжую одежду, закопченныя стѣны, огрубѣвшіе или искривленные члены и черты. Она вѣрила въ душу этого великаго сложнаго явленія, но для того, чтобы прикоснуться кончикомъ пальца къ его оболочкѣ, ей приходилось тяжело бороться съ собой. Она машинально отшатывалась передъ малѣйшимъ разсыпаннымъ на землѣ соромъ, а запахъ конюшни и скотнаго двора болѣзненно захватывалъ ей дыханіе.

Будучи способной къ пониманію тончайшихъ отвлеченностей и къ увлеченію ими, она останавливалась, какъ удивленное и испуганное дитя, передъ всякимъ хоть немного сухимъ и жесткимъ проявленіемъ дѣйствительной жизни. Она знала, что изъ всѣхъ этихъ реальныхъ явленій, изъ фактовъ, цифръ и низменнаго труда свивается та лѣстница, которая ведетъ на высоты идеаловъ; идеалы она понимала и любила, но ни одной изъ ступенекъ этой лѣстницы не могла бы она свить своими собственными руками. Препятствіемъ къ этому была чрезмѣрная эстетичность

и изысканность привычекъ и вкусовъ, равно какъ и гордость, почти безсознательная, но руководившая всѣмъ ея существомъ; гордость, не столько женщины высокаго происхожденія и богатой, сколько существа, чувствующаго, что оно стоитъ выше обыкновеннаго уровня, выше легкомыслія и прозы, и глубоко убѣжденнаго, что оно создано для жизни чистой и высокой. За эту гордость, не родовую, не имущественную, а скорѣе вытекающую изъ идеальнаго толкованія жизни, но къ которой, помимо ея воли и сознанія, примѣшивался какой-то элементъ родового и имущественнаго аристократизма, она не разъ сурово порицала себя, какъ потому, что она служила единственнымъ пунктомъ разлада между нею и любимымъ человѣкомъ, такъ и изъ чувства глубокой религіозности, предписывавшей относиться ко всѣмъ людямъ съ одинаковой любовью и снисхожденіемъ. Однако, уничтожить ее въ себѣ она была не въ состояніи, и не по слабости или снисходительности къ самой себѣ, но, можетъ быть, потому, что эта характерная особенность ея натуры была у нея въ крови, перешла по наслѣдству отъ многихъ поколѣній, а потомъ окончательно сложилась и развилась въ атмосферѣ комфорта, поэзіи и отдаленія отъ обыденной жизни съ ея заботами и трудами, въ атмосферѣ, наполнявшей ея родной домъ и окружавшей ее со всѣхъ сторонъ, въ атмосферѣ, въ которой она родилась, выросла и развивалась.

Позже, когда Андрея не было уже на свѣтѣ, а поле зрѣнія, отношеній и стремленій вдовы сильно сузилось и уменьшилось, она достигла полнаго примиренія съ собою. Она рѣшила, что какъ огонь и вода, такъ и организаціи высшія и низшія, существованія низменныя и возвышенныя не могутъ никогда

примириться другъ съ другомъ, что аристократія духа, основанная на любви ко всему чистому и прекрасному, не только существуетъ и имѣетъ право на существованіе, но, можетъ быть, она-то и составляетъ все оправданіе человѣческаго существованія; что для тѣхъ, которые тамъ внизу обливаются потомъ, трудятся, грѣшатъ, ходятъ и пресмыкаются по землѣ, хотя и съ прекрасной душой, но заключенной въ безобразную оболочку, слѣдуетъ и можно имѣть состраданіе и снисхожденіе, должно, въ случаѣ надобности, оказывать имъ помощь, но что имъ не слѣдуетъ приносить въ жертву своего спокойствія, одинокихъ полетовъ духа, облагороженныхъ привычекъ и вкусовъ. Она сказала это себѣ одинъ разъ и уже со спокойной совѣстью, какъ непорочный лебедь, плыла въ облакахъ жизни, высоко надъ низменностями, на которыхъ копошились муравьи, прыгали воробьи и кричали жабы, одинаково отдаляясь какъ отъ трудолюбивыхъ насѣкомыхъ, такъ и отъ легкомысленныхъ птичекъ и грязныхъ пресмыкающихся.

Къ себѣ она не была ни слабой, ни снисходительной. Въ ея наружности безъ труда можно было прочесть энергію, не ту, которая становится очевидной изъ внѣшней оживленности и поступковъ, а ту, которая обращена на внутреннюю жизнь и удерживаетъ ее въ строго ограниченныхъ рамкахъ. Эта энергія раздувала въ ней горячее пламя чувствъ, и, можетъ быть, даже страстей, но вмѣстѣ съ тѣмъ замыкала ихъ въ спокойную форму, какъ пламя, заключенное въ мраморный сосудъ. Когда она, на двадцать шестомъ году своей жизни, разставалась съ горячо любимымъ мужемъ и отцомъ ея единственнаго дитяти, неувѣренная, увидитъ ли она его еще когда-

нибудь, злые языки утверждали, что она подражаетъ спартанкамъ и тому подобнымъ историческимъ героинямъ. Въ дѣйствительности же она не подражала никому; слишкомъ сильно любила она, чтобы въ подобную минуту думать о какихъ бы то ни было историческихъ событіяхъ.

Она никогда не жаловалась на какія бы то ни было физическія страданія, однако, свѣжій румянецъ ея лица исчезъ съ той поры безслѣдно и навсегда. Отчаянія и слезъ ея никто не видѣлъ, но и веселаго смѣха тоже никто не слыхалъ отъ нея. Иногда она оффиціально улыбалась чужимъ, дружески—родственникамъ и домашнимъ, нѣжно и часто съ выраженіемъ глубокаго счастья смотрѣла, улыбаясь, на сына, но не смѣялась никогда. Впрочемъ, это никому не бросалось въ глаза, такъ какъ оно вполнѣ гармонировало со всей ея величавой наружностью. Однако же, сознавая, что эта сосредоточенность и немного холодное и гордое обращеніе производило на людей подавляющее и нѣсколько отталкивающее впечатлѣніе, она не дѣлала ничего для того, чтобы ихъ привлечь. Наоборотъ, одиночество, въ которомъ она жила, и полное отсутствіе всякаго оживленія вокругъ нея, казались ей какой-то вершиной, на которой она стояла, возвышаясь надъ обыденными душами и существованіями. При такомъ положеніи дѣла ей легче было скрывать нравственныя, а, можетъ быть, и физическія страданія, которыя сразу погасили на ея лицѣ румянецъ молодости и здоровья; легче было избѣгать всегда непріятныхъ для нея столкновеній со всякой вульгарностью и безобразіемъ; легче было погрузиться безраздѣльно и безъ помѣхи въ любимыя занятія, и тотъ образъ жизни, который она сразу и навсегда установила для себя.

Какія это были занятія и какой образъ жизни вела она въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ почти отшельническаго пребыванія въ большомъ, каменномъ, двухэтажномъ осовецкомъ домѣ? Это можно было угадать по окружавшей ее ближайшей обстановкѣ, когда она, въ полуденные часы осенняго дня, сидѣла у большого окна въ глубокомъ креслѣ и озирала задумчивымъ взглядомъ зеленую глубину парка.

Это была угловая комната верхняго этажа съ двумя окнами, выходившими на цѣлое море зелени. Высокій потолокъ и почти круглая форма комнаты придавали ей видъ часовни, а впечатлѣніе это усиливалось старинными обоями, во многихъ мѣстахъ выцвѣтшими, но еще блестѣвшими золотыми звѣздами на голубомъ фонѣ, а также значительнымъ числомъ висѣвшихъ на стѣнахъ картинъ и возвышавшимся въ полутемномъ углу комнаты передъ аналоемъ большимъ чернымъ распятіемъ. Аналой былъ изъ дорогого дерева, украшеннаго прекрасной рѣзьбой, а на тяжеломъ черномъ крестѣ рѣзко выдѣлялась бѣлизной художественно исполненная изъ слоновой кости фигура распятаго Христа. Впрочемъ, кромѣ этого распятія и лежавшаго на аналоѣ молитвенника въ богатомъ переплетѣ никакихъ священныхъ предметовъ здѣсь больше не было. На стѣнахъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ старыхъ портретовъ и одного, значительно болѣе свѣжаго, висѣвшаго надъ каминомъ и изображавшаго Андрея въ пору полнаго расцвѣта мужской красоты,—постоянно повторялось въ малыхъ и большихъ, рѣзныхъ, золоченыхъ и бархатныхъ рамкахъ одно и то же лицо, то дѣтское, то юношеское, то молодого человѣка, или мужчины, изображеннаго въ разныя эпохи его жизни и на-

строенія, то на фотографіи, то карандашомъ или кистью,—лицо Сигизмунда.

У пани Корчинской былъ только одинъ портретъ мужа, написанный по ея желанію въ первые годы ихъ супружества гдѣ-то далеко отсюда какимъ-то очень хорошимъ художникомъ; портретовъ сына разныхъ размѣровъ и разнаго рода у нея было около двадцати. Но гораздо больше еще было здѣсь его собственныхъ работъ, начиная съ первыхъ дѣтскихъ опытовъ и кончая эскизами, этюдами и копіями, набросанными въ разномъ возрастѣ на полотнѣ и бумагѣ. Это былъ маленькій музей, собранный съ безконечной заботливостью, который могъ бы разсказать каждому проницательному взгляду о натурѣ и исторіи жизни ея сына. То же самое пристрастіе къ собиранію сувенировъ сказывалось во всей меблировкѣ комнаты, состоявшей изъ предметовъ дорогихъ и прекрасныхъ, но не новыхъ и не модныхъ.

Другія части этого дома были старательно и прихотливо обновлены и отдѣланы передъ женитьбой Сигизмунда; сосѣди даже ядовито перешептывались, что на обновленіе, отдѣлку и передѣлку пошла значительная часть приданаго его жены. Никто, впрочемъ, особенно этому не удивлялся, потому что вездѣ было хорошо извѣстно о весьма эстетическомъ воспитаніи и необычайно прихотливомъ вкусѣ молодого Корчинскаго, равно какъ и о хорошихъ связяхъ и блестящемъ воспитаніи женщины, на которой онъ женился. Въ однѣхъ только комнатахъ пани Корчинской ничего не перемѣнилось. Въ домѣ, принадлежавшемъ когда-то ея мужу, уже давно жили чужіе люди, но часть мебели, которая ее тамъ окружала, и которую ей удалось съ большимъ трудомъ и значительными издержками добыть оттуда, находилась те-

перь вокругъ нея. Она состояла изъ модныхъ тридцать лѣтъ тому назадъ диванов и креселъ, обитыхъ блестящей волосяной тканью или выцвѣтшимъ дама, мужского письменнаго стола цѣннаго дерева и прекраснаго шкапа, наполненнаго книгами въ истрепанныхъ переплетахъ.

Однако, несмотря на благоговѣйное отношеніе къ старымъ воспоминаніямъ, здѣсь чувствовался также и живой интересъ къ современности. Столы были покрыты множествомъ газетъ и новыхъ книгъ, носившихъ на себѣ слѣды внимательнаго чтенія. Долгіе часы, а иногда и цѣлые дни проводила пани Корчинская, прислушиваясь къ разнымъ общественнымъ направленіямъ и перемѣнамъ, находившимъ свое выраженіе въ печати, слѣдя за новыми теченіями мысли и трудовъ того самого общества, объ интересахъ котораго она когда-то привыкла заботиться вмѣстѣ съ любимымъ человѣкомъ. Разбросанныя тутъ и тамъ, по стѣнамъ и столамъ, изображенія современныхъ дѣятелей, извѣстныхъ болѣе или менѣе мыслителей, художниковъ и писателей родного края еще болѣе убѣждали въ томъ, что она знала и чтила всѣхъ тѣхъ, которые хотя и другими способами приносили свою жизнь въ жертву тому же самому божеству, на алтарѣ котораго сгорѣлъ Андрей. Передъ глубокимъ кресломъ, стоявшимъ у окна, находилась большая корзина, наполненная полотномъ и шерстяными тканями, часть которыхъ съ иглой и другими швейными принадлежностями покоилась теперь на колѣняхъ пани Корчинской. Въ часы, свободные отъ чтенія, она шила одежду для бѣдныхъ семействъ, на посѣщеніе которыхъ она отваживалась очень рѣдко, но о которыхъ постоянно собирала самыя обстоятельныя свѣдѣнія. Она никогда не занималась тонкими, какъ

паутина, изящными рукодѣліями или производствомъ красивыхъ бездѣлушекъ, но зато ловко и искусно изготовляла собственными руками значительное количество разнообразной одежды, которая избавляла не мало человѣческихъ существъ отъ мукъ холода и стыда за свои лохмотья.

Такъ прошли у нея двадцать три года, на однообразномъ фонѣ которыхъ рельефно выдѣлялись нѣсколько яркихъ моментовъ, имѣвшихъ до извѣстной степени рѣшающее вліяніе на всю дальнѣйшую участь ея самой и ея сына. Приблизительно восемнадцать лѣтъ тому назадъ въ этой самой комнатѣ у нея произошелъ длинный и бурный разговоръ съ братомъ ея мужа, чуть-чуть не нарушившій того согласія и дружескаго довѣрія, которыя царили въ ихъ отношеніяхъ. Въ качествѣ юридическаго и естественнаго опекуна малолѣтняго племянника, Бенедиктъ Корчинскій часто бывалъ въ тѣ времена въ Осовцахъ. Онъ былъ тогда еще молодъ и недавно женатъ, но начиналъ уже мучительно чувствовать тернія общественной и своей собственной жизни, попадая въ разныя затрудненія, и начиналъ дѣлаться вульгарнымъ и мрачнымъ. Однако, онъ принималъ дѣятельное участіе въ управленіи имѣніемъ невѣстки, тѣмъ болѣе, что она, послѣ нѣсколькихъ опытовъ, предпринятыхъ ею искренно и ревностно, не могла справиться съ этой задачей и обратилась къ нему отъ имени его осиротѣвшаго племянника за помощью.

Занимаясь хозяйствомъ и дѣлами, владѣлица Осовецъ встрѣчалась съ тѣми же самыми непреодолимыми затрудненіями, которымъ она подвергалась и раньше при столкновеніи съ одной изъ общественныхъ задачъ, выполняемыхъ ея мужемъ. Какъ тамъ, такъ и тутъ соприкосновеніе съ человѣче-

ской темнотой и неотесанностью оказалось неизбѣжнымъ и настолько мучительнымъ для нея, что она была почти не въ силахъ вынести его. Счеты, тяжбы, хозяйственныя занятія и планы сковывали ея мысли, точно желѣзными кандалами. Слушая отчеты управляющаго, она безсознательно, несмотря на сильнѣйшее самообладаніе, начинала присматриваться къ живописной игрѣ свѣта въ зелени парка, ловить ухомъ мелодію, которую вѣчно пѣла пробѣгавшая въ немъ рѣчка, размышлять о только что прочитанной книгѣ или вспоминать какой-нибудь разговоръ, шалость, слово, улыбку маленькаго Сигизмунда.

Если бы дѣло касалось только ея одной, то она предпочла бы ограничиться самымъ скромнымъ существованіемъ, лишь бы только не заботиться о матеріальныхъ выгодахъ или потеряхъ. Подобныя заботы даже представлялись ей до извѣстной степени унижающими человѣческое достоинство. Склонная къ аскетизму, она не желала никакихъ излишествъ и не пользовались ими. Ея траурныя платья стоили недорого, старая мебель была ей милѣе всего, а испытывая себя лично, она пришла къ убѣжденію, что она могла бы долгое время довольствоваться грубой и скудной пищей. По сравненію съ сокровищемъ сердца, которое она утратила, и забыть которое она не могла никогда, матеріальное богатство представлялось ей такимъ ничтожествомъ, которое не стоило того, чтобы за нимъ наклоняться; въ сравненіи съ тѣми увлеченіями и самопожертвованіемъ, свидѣтельницей которыхъ она была, и въ которыхъ принимала участіе сама, заботы объ удобствѣ и роскоши она считала, по меньшей мѣрѣ, мелочными и вульгарными; въ сравненіи съ общественными несчастьями и нуждами, къ которымъ она жадно и съ болью въ сердцѣ

присматривалась изъ своей пустыни, угожденіе собственнымъ прихотямъ и накопленіе средствъ для удовлетворенія ихъ представлялось ей грѣхомъ и стыдомъ. Но она была не одна. Она хорошо понимала, что для сына и ради будущности его, мечтая о которой въ тихіе часы сумерекъ, она испытывала чувство высокаго наслажденія, она обязана была сохранить въ цѣлости, по крайней мѣрѣ, это одно имѣніе, если другое, отцовское, было для него утрачено навсегда. И опять она работала надъ собой, боролась, старалась преодолѣть свои привычки и сильнѣйшія влеченія и опять не могла.

Къ счастью, братъ ея мужа приходилъ ей на помощь, которую она принимала съ благодарностью, однако же она не хотѣла допускать его вмѣшательства въ другой области, имѣвшей для нея во сто кратъ большее значеніе и болѣе близкой ея сердцу. Бенедиктъ въ этомъ случаѣ походилъ на боязливаго и осторожнаго стратега, который много разъ и со многихъ сторонъ пробуетъ подходить къ непріятельскому лагерю, прежде чѣмъ рѣшается на окончательную битву ... Поэтому онъ много разъ пробовалъ говорить съ невѣсткой о маленькомъ Сигизмундѣ, намекалъ ей на разныя обстоятельства, старался навести ее на какую-нибудь мысль, но она дѣлала видъ, что не слышитъ и не понимаетъ его. Наконецъ, въ одинъ прекрасный день онъ вошелъ въ эту самую комнату, болѣе чѣмъ когда-либо мрачный и дергая усы, которые уже и тогда, падая внизъ, придавали его лицу выраженіе вѣчной озабоченности, объявилъ, что онъ намѣренъ откровенно и безъ всякихъ околичностей поговорить съ нею о маленькомъ племянникѣ. Она спросила, въ чемъ бы онъ могъ упрекнуть ея ребенка? Онъ отвѣчалъ, что его

воспитываютъ какъ будущаго маркиза, но никакъ не польскаго помѣщика, какъ барышню, а не какъ мужчину.

Передъ нею какъ разъ на столѣ стоялъ въ красивой рамкѣ прекрасно исполненный портретъ двѣнадцатилѣтняго мальчика въ французскомъ костюмѣ прошлаго столѣтія, состоявшемъ изъ бархата и кружевъ, съ волнами падавшихъ по плечамъ завитыхъ волосъ. Ребенокъ дѣйствительно былъ очень красивъ и въ этомъ живописномъ костюмѣ походилъ на принца. Глаза матери и дяди скрестились на этомъ портретѣ; первые свѣтились любовью и глубокимъ счастьемъ, вторые—были полны выраженіемъ пренебреженія и горечи.

Съ пренебреженіемъ и горечью говорилъ Бенедиктъ, что барчука этого гувернеръ водитъ на прогулкѣ за руку, заботливо оберегая его зрѣніе и слухъ отъ всего, что обладаетъ смысломъ дѣйствительной жизни; что физически мальчикъ развитъ очень недостаточно, за то во вкусахъ своихъ онъ черезчуръ прихотливъ, съ окружающими обращается деспотически и презрительно; что, наконецъ, въ качествѣ единственнаго средства, которое могло бы укрѣпить его тѣло, дать болѣе трезвое направленіе его уму и привить ему лучшія привычки, онъ, Бенедиктъ, совѣтуетъ ей отдать его въ общественную школу.

Тогда пани Корчинская поднялась во весь свой высокій ростъ и рѣшительно заявила, что она никогда не сдѣлаетъ этого. Чтобы она смѣшала своего единственнаго ребенка съ толпой, полной самыхъ низменныхъ, а, можетъ быть, и грязныхъ инстинктовъ, привычекъ и понятій; чтобы она подвергла его опасности заразиться вульгарностью, грубостью, а мо-

жетъ быть и господствующей въ настоящее время въ мірѣ погоней за наживой и карьерой, за грубыми матеріальными утѣхами! Она нисколько не презираетъ толпу, наоборотъ, она горячо желаетъ ей счастья и совершенства, но ея стремленіе и цѣль жизни заключается въ томъ, чтобы сынъ ея стоялъ выше толпы, былъ чище, совершеннѣе. Тамъ растутъ и подготовляются къ погонѣ за счастьемъ простые рядовые, онъ, по примѣру отца, долженъ сдѣлаться вождемъ, вождемъ въ томъ значеніи, что когда-нибудь, въ будущемъ, онъ долженъ возсіять предъ людьми свѣточемъ высокихъ чувствъ и мыслей, а, можетъ быть, также и возвышенныхъ поступковъ во имя блага тѣхъ же людей. Подъ ея крыломъ, подъ ея бодрствующимъ окомъ онъ долженъ вырости свободнымъ отъ всякаго нравственнаго пятна, съ душой настолько требовательной, чтобы всякая тѣнь безобразія и вульгарности наполняла ее отвращеніемъ. Она не перестаетъ заботиться объ его умственномъ развитіи; дорогіе учителя сообщаютъ ему множество знаній, а со временемъ, когда онъ выростетъ, то уѣдетъ далеко для полученія высшаго образованія. Но покамѣстъ, въ дѣтскіе и юношескіе годы, его никогда не перестанетъ окружать атмосфера нравственной чистоты и эстетической красоты. Эта роскошь въ обстановкѣ и образѣ жизни, которая такъ смущаетъ его дядю, служитъ только средствомъ для того, чтобы привить ему изысканныя привычки тѣла и души, которыя впослѣдствіи всю жизнь будутъ предохранять его даже отъ всякихъ поползновеній ко злу, въ формѣ физическаго или нравственнаго безобразія. Никакіе совѣты или доказательства не въ силахъ отклонить ее отъ этого воспитательнаго плана, отъ этихъ рѣшеній относительно

ея сына, а поэтому она желаетъ и проситъ, чтобы ее больше не безпокоили ими.

Бенедиктъ понялъ, что всякія дальнѣйшія попытки въ этомъ направленіи будутъ безполезны. То, что онъ услыхалъ, не было капризомъ, легкомысленной вѣтренницы, или громкими фразами размечтавшагося воображенія; таковы были глубокое убѣжденіе и твердая воля женщины мыслящей и энергичной. Это былъ обдуманный и законченный планъ, логически вытекающій изъ глубочайшихъ особенностей ума и характера этой женщины, и, до нѣкоторой степени, даже изъ самого содержанія ея собственной жизни.

Она не отдавала себѣ вполнѣ яснаго отчета, насколько къ ея разсужденіямъ, относящимся къ этому воспитательному плану, примѣшивалась гордость, вѣчно стремящаяся къ вершинамъ, недоступнымъ для толпы и одиноко выдѣляющимся среди нея, хотя она сама знала о своей гордости, и не только оправдывала эту характерную особенность высшими побужденіями, но даже высоко цѣнила ее въ себѣ. Когда, все еще сопротивляющійся, Бенедиктъ началъ говорить именно объ этой гордости, которую маленькій Сигизмундъ сталъ такъ преждевременно проявлять, она отвѣчала, что не перестанетъ развивать въ немъ это чувство, такъ какъ современемъ оно сдѣлается панцыремъ, который предохранитъ его отъ паденія и побудитъ стремиться все выше и выше.

Бенедиктъ глядѣлъ въ землю, дергалъ усъ и, пасмурный, недовольный, но безсильный, оставилъ эту комнату, похожую на часовню, въ которой вскорѣ послѣ того должна была разыграться рѣзкая сцена, одна изъ самыхъ тягостныхъ въ жизни вдовы Корчинской.

Несмотря на одинокую и однообразную жизнь, она все же не могла вполнѣ превратиться въ затворницу. Отъ времени до времени ее навѣщали; иногда она появлялась въ домахъ родственниковъ и сосѣдей, а потому было не только вполнѣ естественно, но даже неизбѣжно, что кто-нибудь когда-либо пожелаетъ обладать ея рукой и сердцемъ. И это случилось всего одинъ разъ только потому, что образъ ея жизни и обращеніе дѣйствовали охлаждающимъ образомъ на людей робкихъ и отымали надежду у самыхъ храбрыхъ. На этотъ разъ, однако, человѣкъ, съ которымъ она только что познакомилась, серьезный, безукоризненный, занимавшій въ обществѣ одинаковое съ нею положеніе, началъ все чаще и чаще навѣщать уединенные Осовцы, выказывая высокое почтеніе и симпатію ихъ владѣлицѣ. Свои намѣренія относительно нея онъ открылъ ея ближайшимъ родственникамъ и, какъ милости, просилъ у нихъ ходатайства и помощи. Тогда-то эта тихая комната сдѣлалась мѣстомъ частыхъ родственныхъ собраній, совѣщаній, совѣтовъ и увѣщеваній.

Никто почти не могъ допустить предположенія, что тридцатилѣтняя въ то время, красивая женщина заживо похоронитъ себя въ печальномъ прахѣ воспоминаній, отказавшись навсегда отъ реальныхъ и, какъ всѣмъ казалось, неизбѣжныхъ чувствъ и радостей жизни. Даже семья покойнаго Андрея не только не требовала отъ нея подобнаго отреченія, но всѣми силами отклоняла ее отъ него. Подвижная и во все вмѣшивающаяся Дажецкая всегда страстно любила затѣвать сватовство. Бенедиктъ питалъ надежду, что образованный и извѣстный своими нравственными качествами отчимъ сумѣетъ направить воспитаніе Сигизмунда на путь, болѣе

согласный съ его собственными убѣжденіями. Такимъ образомъ, въ Осовцы пріѣзжали, собирались, уговаривали, разсказывали о качествахъ и достоинствахъ претендента, о его искреннихъ и горячихъ чувствахъ къ молодой вдовѣ. Но самымъ краснорѣчивымъ ходатаемъ оказалось ея собственное сердце, которое заговорило въ пользу любимаго человѣка гораздо живѣе, чѣмъ она могла ожидать или даже предположить это раньше. Невольно почувствовала она, что въ его присутствіи она перестаетъ быть отвлеченной формулой женской добродѣтели, но становится существомъ, принужденнымъ подчиняться человѣческому вліянію и поддаться искушеніямъ. Невольно пробуждалось въ ней желаніе воскреснуть изъ мертвыхъ, отряхнуть съ себя могильный прахъ, выйти на солнечный свѣтъ туда, гдѣ расцвѣтаютъ цвѣты. Ее привлекала мысль о томъ, что она будетъ имѣть подлѣ себя умнаго и любящаго спутника каждаго мгновенія своей жизни; тоска по семейному очагу, какъ печальная лилія, молящая о каплѣ росы, выростала изъ гроба, до сихъ поръ одиноко и ненарушимо покоившагося въ глубинѣ ея сердца.

Наступила, наконецъ, минута, когда друзья и совѣтники, увидѣвъ ее слабой и взволнованной, вынудили у нея покамѣстъ еще нерѣшительное и условное согласіе. Они уѣхали, чтобы какъ можно скорѣе осчастливить этой вѣстью того, кто такъ нетерпѣливо ждалъ ея; но сейчасъ же послѣ ихъ отъѣзда въ молодой женщинѣ поднялась цѣлая буря кипучихъ и горькихъ чувствъ. Пока дѣло не было рѣшено окончательно и представлялось лишь въ видѣ отдаленныхъ предположеній, оно производило на нее обаяніе, которое она отталкивала, но противостоять которому она была не въ силахъ. Теперь же,

когда жизнь ея должна была разбиться на двѣ части, первая изъ нихъ ударила ее по сердцу всей силой дорогихъ и святыхъ воспоминаній.

Никогда такъ ясно, такъ отчетливо не представлялись ей день за днемъ, часъ за часомъ годы ея первой молодости и любви. Никогда еще такъ живо не воскресалъ въ ея воображеніи образъ ея перваго и единственнаго любовника и мужа! Какой-то печальный шопотъ началъ наполнять ея одинокую комнату, казалось, принося долгіе прощальные привѣты, долетавшіе неизвѣстно откуда, можетъ быть, изъ той могилы, которая возвышалась тамъ, въ глубинѣ бора, на которую въ этотъ день опустился туманъ осенняго дождя, и на образъ которой, вызванный ея возбужденіемъ, упали теперь ея обильныя, горючія слезы. Нѣтъ, она не могла ни забыть, ни вырвать изъ своего сердца того, чѣмъ было глубоко проникнуто все ея существо, и что одно только наполняло ее до сихъ поръ. Когда она подумала, что скоро, вотъ-вотъ, станъ ея обовьютъ чужія руки, а къ губамъ ея прильнутъ губы другого мужчины, что новыя обязанности, а, можетъ быть, и радости жизни окончательно порвутъ ея связь съ тѣмъ первымъ, и любовь къ нему, и воспоминанія о немъ станутъ почти измѣной и грѣхомъ,— то она прежде всего почувствовала такую боль, точно во второй разъ разставалась на вѣкъ съ Андреемъ, а затѣмъ ее охватилъ безконечный стыдъ передъ собственнымъ малодушіемъ и слабостью. Какъ! ради пошлыхъ временныхъ наслажденій, или хотя бы болѣе прочныхъ высшихъ, но все же эгоистическихъ радостей, ей предстояло собственными руками сокрушить идеалъ единственной вѣрной и вѣчной любви, порвать нити воспоминаній, связы-

вающихъ ее съ человѣкомъ, который пожертвовалъ собой для высокой цѣли, снять съ себя его имя и даже вздоха о немъ бояться, какъ измѣны! Какъ! Неужели же могла она, какъ самая обыкновенная изъ женщинъ, перейти изъ однихъ объятій въ другія, принадлежать въ одной жизни двоимъ, искать себѣ счастья въ то время, какъ тотъ потерялъ даже жизнь. Значитъ, на его долю выпала преждевременная смерть и могила, забытая всѣми, даже ею, а ей—всѣ радости и утѣхи жизни! Кто же сохранитъ память о немъ на землѣ, если она вырветъ ее изъ себя? Кто приметъ участіе въ его жертвѣ, если она отречется отъ него? Кто, по крайней мѣрѣ, мыслью, тоской, обожаніемъ будетъ сопутствовать ему въ томъ мрачномъ краю, если она улетитъ въ страну, залитую солнцемъ и цвѣтами?

Одного только предположенія, что все это могло случиться, одного мгновенія слабости ума и сердца она стыдилась такъ жестоко, что если бы она могла, то растоптала бы себя собственными ногами. Съ болѣе страстнымъ, чѣмъ когда-либо, взрывомъ любви къ Андрею пала она ницъ передъ распятіемъ, взывая о прощеніи не къ Богу, а къ любовнику и мужу. Ея роскошно развитое, прекрасное тѣло билось у подножія чернаго креста въ мукахъ, сокрушенія и скорби, а душа ея, пронзенная, точно кинжаломъ, невыразимой тоской, съ такимъ напряженіемъ силъ поднялась къ тому, по комъ она тосковала, что напряженіе это вызвало одно изъ тѣхъ видѣній, которымъ человѣческіе организмы подвергаются только при исключительномъ состояніи тѣла и души.

Это была галлюцинація, представлявшая для нея всѣ признаки несомнѣнной дѣйствительности. Она

увидѣла Андрея. Съ кровавой раной на блѣдномъ челѣ спускался онъ къ ней съ высоты и мягкимъ жестомъ прощенія или нѣжнаго покровительства простиралъ надъ ея головой свою руку. Она видѣла его ясно, съ точной рельефностью формъ и отчетливостью линій. Онъ молчалъ, но она говорила къ нему. Никогда впослѣдствіи не являлось у нея яснаго представленія о томъ, что и какъ она тогда говорила; она знала только, что эта минута была для нея минутой неземного восторга; послѣ она очнулась еще болѣе печальной, но и болѣе чѣмъ когда-либо сильной, и никогда не переставала жаждать повторенія такой-же минуты. Но она не повторилась больше, какъ не повторился и случай, который предшествовалъ ей.

Однако, она обладала яснымъ умомъ и не могла не понимать, что явленіе, которое она испытала, было обманомъ чувствъ, вызваннымъ исключительнымъ состояніемъ ея тѣла и души въ ту минуту; тѣмъ не менѣе оно оставило на ней неизгладимый слѣдъ, съ теченіемъ времени все болѣе углублявшійся. Мать Сигизмунда была по своему глубоко и горячо религіозна. Внѣшніе обряды она выполняла рѣдко; мелочи, носившія имя святыни: иконки, фигурки, освященныя четки и т. п. казались ей пустыми, не эстетическими знаками почитанія, недостойными идеи Божества. Сама идея эта была для нея безконечно дорогой и святой; вѣра въ идеалъ совершенный и недостижимый, въ высшее Могущество и Благодать составляла неотъемлемую потребность ея души и не только нигдѣ не поколебалась въ ней, но, наоборотъ, достигла необыкновенной крѣпости, благодаря жизни, полной одинокихъ размышленій и страданій. Она вѣрила также въ загробное существованіе, такъ

какъ ей казалось невѣроятнымъ, чтобы души людей, подобно потушеннымъ свѣчамъ, могли угаснуть внезапно и на всегда. Она думала, что Творецъ не напрасно далъ своему созданію сознаніе и жажду безконечности, изъ которыхъ у него вытекали всѣ его стремленія и дѣла. Поэтому она несокрушимо вѣрила въ загробное существованіе Андрея и сперва робко, а потомъ съ возрастающей надеждой думала, что, быть можетъ, ея любовь окупила своимъ постоянствомъ и силой право проникновенія въ невѣдомую область и достиженія общенія съ тѣмъ, къ кому такъ давно возносилось неугасимое пламя ея жертвы.

Какъ неподвижный предметъ начинаетъ двигаться передъ нашими глазами, если мы будемъ долго всматриваться въ него, такъ и цѣль, недостижимая, но надолго и исключительно сосредоточивающая на себѣ мысли и чувства человѣка, кажется, начинаетъ спускаться и приближаться къ нему. Простаивая долгіе часы на колѣняхъ передъ крестомъ, символомъ мученичества, перенесеннаго за идею, которая въ ея личной жизни сыграла такую значительную роль, эта женщина, въ продолженіе двадцати слишкомъ лѣтъ ни разу не снявшая съ себя траурныхъ одеждъ, не разъ невольно и безсознательно начинала заговаривать съ тѣмъ, по комъ она носила этотъ трауръ. Иногда она говорила къ нему съ полной и удивительно счастливой вѣрой, иногда же только съ робкой надеждой, что онъ слышитъ ее. Ни одинъ человѣкъ не слыхалъ того, что она говорила и разсказывала ему не только о себѣ, но и о томъ, что онъ болѣе всего любилъ на землѣ и за что онъ умеръ. Ему одному открывала она свои страданія, тоску, желанія, опасенія и тотъ проблескъ

счастья, который одинъ разъ освѣтилъ ея одинокую, тихую, почти монашескую жизнь.

Вскорѣ послѣ того, какъ она убѣдила и себя и другихъ, что не можетъ ни забыть прошлаго, ни броситься въ объятья новой, хотя бы и самой блестящей жизни, одинъ изъ учителей ея маленькаго сына открылъ въ немъ талантъ къ живописи. Вдова Корчинскаго нисколько не думала о томъ, сколько правды и сколько заблужденія, или, можетъ быть, желанія сдѣлать пріятное хозяйкѣ дома, было въ открытіи, съ торжествомъ сообщенномъ матери. Хотя воспитаніе ея съ дѣтства носило эстетическій характеръ, хотя она играла и рисовала, но не обладала настолько основательными познаніями въ области изящныхъ искусствъ, чтобы провѣрить это открытіе. Можетъ быть, впрочемъ, подобная провѣрка не была возможна, пока дѣло шло о двѣнадцатилѣтнемъ ребенкѣ. Она сразу и безповоротно повѣрила пріятному для себя извѣстію; она даже приняла его безъ особеннаго удивленія и восторга, какъ нѣчто такое, чего она всегда ожидала и что непремѣнно должно было случиться.

Она была всегда глубоко убѣждена, что рано или поздно у сына ея и Андрея долженъ проявиться какой-нибудь талантъ, который возвыситъ его надъ уровнемъ массы, что какая-нибудь искра, перешедшая въ него изъ крови его родителей, разгорится на его челѣ звѣздой первой величины. По ея убѣжденію, иначе и быть не могло; сынъ ея и Андрея не могъ быть обыкновеннымъ человѣкомъ, такимъ, изъ какихъ состоитъ сѣрая, безыменная толпа. А потому она безъ удивленія и восторга, но съ глубокой радостью приняла вѣсть о зарождающемся талантѣ Сигизмунда, и съ тѣхъ поръ все, что его

окружало, все, что только могло имѣть на него вліяніе, и до того времени проникнутое элементами изящества и красоты, было теперь всецѣло направлено къ развитію въ немъ эстетическихъ наклонностей и вкусовъ.

Мальчикъ, въ которомъ нѣжная прелесть наружности сочеталась съ бурными порывами души, росъ въ тепличной атмосферѣ Осовецкаго дома-дворца, такъ далеко отодвинутый отъ всего окружающаго, какъ будто впослѣдствіи ему предстояло провести жизнь не здѣсь, а гдѣ-либо въ иномъ мѣстѣ. Сперва онъ, отдавшись увлеченію, рисовалъ карандашемъ, потомъ схватился за кисть и краски, проявляя всегда и во всемъ громадное нетерпѣніе, которое приписывали его пылкому темпераменту, и причудливость, которую принимали за вѣрный признакъ геніальности.

Опытные и все болѣе дорогіе учителя пророчили ему будущность великаго художника, о которой онъ слушалъ съ наслажденіемъ, стараясь сдѣлать каждую подробность ежедневной жизни своей собственной особы настолько исключительной, насколько исключительной должна была быть въ мірѣ выпавшая на его долю роль избранника. Какъ лучи солнца собираются въ фокусѣ, такъ и все, что его окружало, сосредоточивало на немъ всѣ свои усилія и восхищеніе, такъ и онъ, въ свою очередь, сосредоточивалъ всѣ свои мысли и мечты на самомъ себѣ. Все существующее ниже той высоты, на которую онъ, по своему убѣжденію, поднялся еще будучи подросткомъ, казалось ему безобразнымъ, не заслуживающимъ вниманія, мало того — грязнымъ и отвратительнымъ. Выше себя онъ видѣлъ только себя въ будущемъ. Онъ былъ центромъ міра для

всѣхъ тѣхъ, съ которыми онъ находился въ общеніи, и для самого себя, въ ожиданіи того момента, когда онъ сдѣлается тѣмъ же самымъ и для человѣчества, то есть для той особенной части его, которая обладаетъ гладкой кожей на лицѣ и рукахъ, изящной одеждой и знаетъ толкъ въ изящныхъ искусствахъ.

Правда, онъ слыхалъ о другой части человѣчества и не разъ читалъ о ней, но не питалъ къ ней никакихъ чувствъ: ни дурныхъ, ни хорошихъ. Попросту онъ не думалъ о ней, не заботился о ней: для него она вовсе не существовала. Взамѣнъ этого онъ росъ и развивался въ абсолютной увѣренности, что онъ представляетъ собой одного изъ достойнѣйшихъ членовъ той извѣстной ему и родственной части человѣчества, и что въ будущемъ онъ сдѣлается однимъ изъ ея любимцевъ и боговъ.

Будущность эта улыбнулась ему не скоро, но, наконецъ, однако улыбнулась. Спустя много лѣтъ, которыя провелъ онъ вдали отъ родныхъ мѣстъ, послѣ долгаго труда, долго сопровождаемаго неудачными опытами, картина, вышедшая изъ-подъ его кисти, выдѣлилась изъ числа многихъ и привлекла къ себѣ благосклонное вниманіе знатоковъ. Собственно говоря, это была не картина, а картинка, размѣровъ небольшихъ и съ довольно избитымъ замысломъ, но въ исполненіи ея, несмотря на кой-какіе техническіе промахи, чувствовался трудолюбиво выбивающійся талантъ. Ограниченность идеи и техническіе недостатки вызывали критику, но молодой талантъ встрѣтилъ благосклонное поощреніе къ дальнѣйшему труду. Успѣхъ картины значительно увеличивали слухи о томъ, что она написана человѣкомъ состоятельнымъ, съ независимымъ и довольно высокимъ общественнымъ положеніемъ. Кромѣ того,

изъ устъ въ уста передавалась шопотомъ, болѣе или менѣе вѣрно, исторія его отца. И то и другое искусственно раздуло извѣстность имени молодого художника и его первой работы, съ которой онъ выступилъ публично. Но ни онъ самъ, ни его мать не знали ничего объ этой искусственности, а похвалы и поощренія еще разъ подвергались въ ихъ умахъ искусственному росту и увеличенію.

Для вдовы Корчинской это были минуты опьяняющаго счастья. Самыя горячія желанія ея осуществились. Почти съ экстазомъ думала она, что на томъ самомъ алтарѣ, на которомъ сгорѣлъ Андрей, сынъ его будетъ приносить жертвы геніальности и труда. Вмѣстѣ съ немногими избранниками онъ будетъ свѣточемъ, ярко озаряющимъ темноту, славой униженныхъ, доказательствомъ жизни тѣхъ, кто, казалось бы, умеръ. Его вдохновеніе составитъ одну изъ досокъ спасательнаго моста, съ трудомъ воздвигаемаго надъ пропастью униженія и упадка; сдѣлается однимъ изъ кирпичей для постройки ковчега, съ помощью котораго будетъ спасенъ отъ наводненія жизненный огонь.

Эта мысль преобладала у нея надъ всѣми другими. Сдержанная, какъ всегда, въ проявленіи своихъ чувствъ, она умѣла не выказать, что почти сходила съ ума отъ счастья и гордости. На ея наружности это отразилось тихимъ, но постояннымъ сіяніемъ. Чаще прежняго появлялась она среди людей, быть можетъ, желая услыхать, что говорилось о ея сынѣ, а, можетъ быть, чувствуя въ радости своей большее влеченіе къ нимъ. Но въ длинные зимніе вечера, при свѣтѣ лампы, освѣщающей большую высокую комнату, или въ лѣтнія звѣздныя ночи, посылавшія въ открытыя окна потоки шопота и аро-

матовъ, она проводила еще больше времени на колѣняхъ передъ чернымъ распятіемъ. Она не открывала почти никогда богато переплетеннаго молитвенника, лежавшаго на аналоѣ, но изъ устъ ея лились вдохновенныя слова мольбы и благодарности. Столько лѣтъ на этомъ самомъ мѣстѣ изливала она слезы и жалобы изъ глубины своего сердца, закрытаго для всего свѣта! Теперь она разсказывала о своемъ счастьѣ и надеждахъ духу Андрея, въ связь котораго съ ея собственнымъ духомъ она съ теченіемъ времени вѣрила все сильнѣе.

Все это происходило четыре года тому назадъ. Теперь почти пятидесятилѣтняя вдова казалась гораздо моложе своихъ лѣтъ. Ея всегда видный станъ въ послѣдніе годы еще болѣе пополнѣлъ и возмужалъ и дышалъ необычайной силой и серьезностью. Благодаря чистой, какъ вода родника, и правильной, почти монашеской, жизни, блѣдная кожа ея лица сохранила нѣжность и свѣжесть молодости, и только кое-гдѣ виднѣлись на ней мелкія морщинки. Въ этой прекрасной комнатѣ, которой круглая форма и стѣны, увѣшанныя картинами, придавали видъ часовни, на фонѣ большого окна, за которымъ разливолось море зелени, фигура ея, задрапированная тяжелыми складками траурнаго платья, казалась чрезвычайно торжественной. Ея правильный профиль оттѣнялся кружевами чернаго чепца и двумя темными прядями волосъ съ золотистымъ отливомъ, изрѣдка блестѣвшихъ серебряными нитями. Свои прекрасныя бѣлыя руки она опустила на складки простого полотна. Даже и въ настоящую минуту въ одиночествѣ и бездѣятельности она сохраняла одинъ изъ самыхъ характерныхъ признаковъ своей наружности: высоко закинутую голову и опущенныя рѣсницы.

Однако, въ выраженіи этого не молодого, но прекраснаго и благороднаго лица не видно было теперь ни счастья, ни спокойствія. Тихое сіяніе, которымъ четыре года тому назадъ были проникнуты ея черты, исчезло безслѣдно. Задумчивость ея была не спокойнымъ размышленіемъ о пріятныхъ вещахъ, а скорѣе раздумьемъ надъ чѣмъ-то непонятнымъ и грознымъ. Нѣсколько разъ она провела рукой по лбу, вздохнула, и изъ глубины ея груди вырвался звукъ, похожій на тихій крикъ изумленія; пальцы ея быстрымъ нервнымъ движеніемъ прокалывали иглой грубую ткань, покрывающую ея колѣни. Она походила не на человѣка, котораго поразилъ болѣзненный ударъ, разрушившій всѣ его надежды, а на такого, который еще издали предвидитъ возможность подобнаго удара и силится разгадать его причины. Ужъ около двухъ лѣтъ, т. е., точнѣе говоря, съ того самаго времени, когда женившійся Сигизмундъ возвратился въ Осовцы и окончательно поселился въ нихъ, всѣ, даже посторонніе люди замѣчали въ ней это безпокойство и грызущую, хотя никогда ни однимъ словомъ не выдаваемую тоску.

Четверть часа тому назадъ она увидѣла въ окно пару молодыхъ людей, направляющихся по дорожкамъ парка къ лугу, которому двѣ, пересѣкающія другъ друга рѣчки придали трехугольную форму, и на которомъ возвышалась цѣпь небольшихъ искусственныхъ холмовъ. Въ теченіе уже нѣсколькихъ мѣсяцевъ мѣсто это представляло излюбленную цѣль прогулокъ ея сына. Онъ началъ производить тамъ археологическія раскопки, которыя въ теченіе нѣсколькихъ недѣль горячо занимали его.

Теперь онъ снова шелъ туда, въ изящномъ костюмѣ, который дѣлалъ его похожимъ на картинку,

вырѣзанную изъ моднаго журнала, съ гибкой тросточкой въ рукѣ, съ лицомъ, оттѣненнымъ широкими полями немного фантастической шляпы. Подъ мышкой одной руки онъ держалъ порядочныхъ размѣровъ папку для рисунковъ, на другой повисла маленькая, удивительно граціозная женщина, одѣтая въ платье изъ легкой свѣтлой ткани. Вдова Андрея не могла видѣть лицъ этихъ двухъ людей, но каждый разъ, когда они, показавшись изъ-за зелени деревьевъ, проходили по открытому пространству дорожки или газона, она явственно видѣла, что молоденькая женщина прижималась къ мужу, подымала къ нему нарядную головку, щебетала, стараясь, повидимому, всѣми силами сердца и красоты добиться отъ него, точно искры изъ кремня, хоть одного дружескаго слова, или хоть одного веселаго взгляда; онъ же шелъ рядомъ съ нею размѣреннымъ шагомъ салоннаго кавалера, можетъ быть, разсѣянный, но, безъ сомнѣнія, молча и равнодушно.

Такъ прошли они часть парка, окруженные роскошью тщательно содержимой растительности, облитые блескомъ лѣтняго дня, и не казались заботливо слѣдившему за ними взгляду ни счастливыми, ни даже спокойными. Наконецъ, на одномъ изъ бѣлыхъ мостиковъ, граціозно повисшихъ надъ шумѣвшей рѣчкой, Клотильда рѣзкимъ движеніемъ выдернула свою руку изъ руки мужа и, прижавъ на мгновеніе сердитымъ или обиженнымъ жестомъ обѣ руки къ глазамъ, быстро пустилась бѣжать къ дому. Онъ, не оглядываясь и даже не измѣняя шагу, пошелъ дальше въ противоположную сторону, направляясь къ садовой калиткѣ, которая вела на лугъ. Единственнымъ признакомъ волненія было то, что онъ раза два стегнулъ гибкой тросточкой росшіе у до-

рожки кусты. Вскорѣ онъ скрылся за густой клумбой акацій.

Клотильда продолжала бѣжать по газонамъ и дорожкамъ парка, похожая на блѣдно-розовое облачко. Раза два она остановилась и оглянулась, точно въ надеждѣ, что тотъ, съ которымъ она сейчасъ разсталась, тоже оглянется за ней, или посо ветъ ее. Послѣ каждаго раза, однако, она дѣлала рукой жестъ, выражающій разочарованіе или негодованіе, пока, наконецъ, остановившись у росшей среди газона величественной лиственницы, она не прислонилась лбомъ къ толстому стволу ея, и по движеніямъ ея вздрагивающихъ плечей можно было догадаться, что она горько заплакала, какъ обиженный ребенокъ; сдерживая нервную дрожь заплаканнаго лица, она свернула въ темную аллею, которая вела прямо къ одной изъ входныхъ дверей. Вскорѣ вдова Корчинская услыхала легкіе шаги невѣстки, быстро пробѣжавшей лѣстницу и нѣсколько комнатъ; какая-то дверь захлопнулась со стукомъ, въ которомъ чувствовалось движеніе разсерженной или оскорбленной руки, — и все утихло.

Такъ случалось давно уже, болѣе года; такъ бывало всегда. Почему? Безконечное число разъ вдова Корчинская задавала себѣ этотъ вопросъ, но ни разу еще не произнесла его громко. Много разъ уже хотѣла она пойти къ невѣсткѣ, къ сыну, разспросить, вызвать признаніе, что-нибудь посовѣтовать и что-нибудь предупредить, но каждый разъ воздерживалась. Она видѣла и чувствовала язву жизни этихъ обоихъ людей и боялась притронуться къ ней, изъ опасенія еще больше растравить ее, изъ деликатности чувства, уважающаго чувства и тайны хотя бы собственнаго дитяти. И теперь она

также встала и повернулась къ двери, которая вела въ рядъ залъ, отдѣляющихъ ея комнату отъ комнаты молодой невѣстки, но сейчасъ же остановилась у стола, заваленнаго газетами.

Это былъ круглый столъ, стоявшій посрединѣ комнаты и окруженный креслами старомоднаго фасона. Среди книгъ и газетъ стоялъ въ прекрасной рамкѣ довольно большой фотографическій портретъ Сигизмунда, изображавшій его еще въ ту пору его жизни, когда онъ двадцатипятилѣтнимъ молодымъ человѣкомъ проживалъ въ столицѣ живописи, въ Мюнхенѣ. Изображеніе это представляло одну изъ главъ исторіи его жизни, которая въ рисункахъ карандашемъ или красками, или въ видѣ фотографическихъ снимковъ наполняла комнату его матери. На портретѣ былъ изображенъ молодой человѣкъ, опирающійся въ отчасти небрежной, отчасти же изысканной позѣ на колонну; довольно красивыя черты его лица были неподвижны, безъ улыбки, безъ огня во взорѣ, а надъ капризнымъ изгибомъ тонкихъ губъ извивались элегантно закрученные усики. Уже по одному положенію его ногъ, скрещенныхъ у подножія колонны, можно было угадать, что онъ опирается ими о землю съ чувствомъ превосходства надъ всѣмъ, что находилось на ней.

Мать, опустивъ на столъ сложенныя руки, долго всматривалась въ этотъ портретъ, который шесть лѣтъ тому назадъ привелъ ее въ неописуемый восторгъ и возбудилъ въ ней чудныя надежды. Сегодня она вдругъ замѣтила въ этихъ правильныхъ чертахъ холодность, и ее поразило капризное выраженіе вокругъ губъ. Она сдѣлала рукой такое движеніе, точно хотѣла отогнать назойливый призракъ, неизвѣстно откуда появившійся предъ нею. Но при-

зракъ этотъ былъ не плодомъ празднаго воображенія, а результатомъ длиннаго ряда внимательныхъ наблюденій, которыя, со времени окончательнаго поселенія Сигизмунда въ Осовцахъ, подобно рою осъ, терзали ея душу. Неподвижными глазами продолжала она всматриваться въ портретъ.

— Не любитъ онъ ее! Черезъ два года послѣ свадьбы уже не любитъ! Да и любитъ ли онъ въ сущности кого-нибудь и что-нибудь?

Этотъ вопросъ для этой женщины, которая сама умѣла такъ безпредѣльно и вѣрно любить, представлялъ огромную важность. Сомнѣніе, заключающееся въ немъ, было для нея такимъ, какое испытываютъ люди у смертельнаго одра самыхъ дорогихъ существъ. Она не могла бы съ большимъ отчаяніемъ задать себѣ вопросъ надъ тяжело больнымъ сыномъ: „останется ли онъ живъ или нѣтъ?“ Она видала людей, умиравшихъ отъ избытка любви, и чтила ихъ, какъ святыхъ; человѣкъ безъ привязанностей, хотя бы малыхъ, обыденныхъ, казался бы ей трупомъ.

Она подняла глаза на одну изъ стѣнъ, почти до половины покрытую рисунками и картинами ея сына, исполненными имъ въ разныя эпохи его жизни. Глядя на нихъ, она, быть можетъ, хотѣла увѣрить себя, что онъ обладаетъ не только тѣмъ, что по ея мнѣнію, составляло жизнь человѣка, но и тѣмъ, что является пламенемъ жизни и что окрыляетъ ее. Вѣдь онъ былъ же художникомъ и любилъ искусство! Но то, на что она глядѣла, было только юношескими опытами, исполненными здѣсь, за этимъ самымъ столомъ, подъ ея наблюденіемъ. Изрѣдка только кое-гдѣ среди этихъ, почти дѣтскихъ шалостей находились работы болѣе зрѣлыхъ лѣтъ, присланныя или

привезенныя изъ далекихъ странъ: какая-то женская головка, какой-то этюдъ nature morte; какой-то крошечный пейзажъ, списанный съ рабской точностью съ куска чуждой земли. Это были мелочи, свидѣтельствующія о скудномъ воображеніи и огромномъ напряженіи кисти, не воодушевляемой огнемъ увлеченія. Ничтожество идеи, усиленный трудъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и недостатки исполненія, ни одного смѣлаго полета мысли, ни одного смѣлаго взмаха кисти, — ничего выдающагося. И это было все, кромѣ той единственной картины, которыя четыре года тому назадъ блеснула первымъ лучемъ славы. Второй лучъ не засіялъ и даже не мелькнулъ. Почему? Развѣ ея сынъ не былъ настоящимъ художникомъ?

Страхъ и боль исказили это обыкновенно спокойное женское лицо; блѣдный лобъ ея покраснѣлъ отъ волны прилившей къ нему крови; бѣлыя руки судорожно стиснули листъ лежавшаго на столѣ раскрытаго журнала. Видно было, что утвердительный отвѣтъ на вопросы, молніей пронизавшіе ея мозгъ, былъ бы для нея ударомъ грома.

Въ потокѣ солнечнаго блеска, который въ этотъ свѣтлый, но нежаркій, августовскій день лился съ безоблачнаго неба, Сигизмундъ Корчинскій шелъ по сухому, недавно скошенному лугу. Эта, широко раскинувшаяся во всѣ стороны, изумрудно-зеленая равнина прорѣзывалась двумя лентами рѣкъ, сливавшихся на далекой точкѣ горизонта. Группы деревьевъ и заросли кустовъ, покрывавшихъ лугъ, придавали ему сходство съ обширнымъ паркомъ, разбитымъ рукой, которой руководила самая пылкая фантазія. Здѣсь все было полно сверканія и сумрака, тѣней, ложившихся узорчатыми рисунками на траву,

солнечныхъ лучей, золотымъ дождемъ игравшихъ въ листвѣ, игры свѣта въ разныхъ степеняхъ яркости, щебетанія птичекъ, металлическаго жужжанія насѣкомыхъ, ароматовъ, струившихся въ воздухѣ, который начиналъ уже принимать хрустальную прозрачность, свойственную приближающемуся началу осени.

Среди всего этого размѣреннымъ шагомъ изысканно приличнаго человѣка, который по привычкѣ и сознательно, даже находясь въ полномъ одиночествѣ, не перестаетъ сохранять умѣренность и грацію своихъ движеній, подвигался теперь Сигизмундъ. Въ модномъ, изящномъ и дорогомъ костюмѣ, въ открытыхъ ботинкахъ, блестѣвшихъ на солнцѣ и обнаруживавшихъ тѣлеснаго цвѣта носки, медленно шествующій, бросающій кругомъ взгляды изъ-подъ презрительно щурившихся рѣсницъ, онъ могъ быть принятъ за туриста, совершающаго экскурсію по чужой странѣ, которая представляется ему очень убогой, или же за обитателя большого города, случайно заблудившагося среди дикой и неизвѣстной природы.

Папка, которую онъ несъ подъ мышкой, свидѣтельствовала о намѣреніи рисовать. Дѣйствительно, нѣсколько дней тому назадъ онъ замѣтилъ въ эту самую пору дня одну группу ольхъ, нѣкоторые рисунки вѣтвей и свѣтовые эффекты которой, казалось, были созданы для того, чтобы доставить наслажденіе пейзажисту и вдохновить его. Онъ такъ долго учился живописи и такъ стремился къ ней и мечтами, и честолюбіемъ, что не могъ остаться слѣпымъ по отношенію къ прекрасному явленію природы, не могъ не посвятить ему хоть нѣсколькихъ минутъ вниманія. Сегодня именно въ умѣ его промелькнулъ пейзажъ, замѣченный имъ нѣсколько дней тому

назадъ; онъ почувствовалъ въ себѣ давно не испытываемый пылъ и какъ можно скорѣе отправился на лугъ. Можетъ быть, наступила минута для того, чтобы послѣ четырехлѣтняго перерыва приступить къ новому труду, правда, небольшому, очень небольшому, но такому, который составитъ развлеченіе въ скукѣ и холодѣ его жизни и, по всей вѣроятности, станетъ путемъ, ведущимъ къ большимъ произведеніямъ.

Послѣ получасовой ходьбы по лугу шаги его дѣлались съ каждой минутой все медленнѣе, а взглядъ все болѣе презрительнымъ и усталымъ; наконецъ, онъ очутился въ томъ мѣстѣ, куда направлялся. Онъ остановился и оглядѣлъ открывшійся предъ нимъ пейзажъ. Это было совершенно то же самое, что онъ видѣлъ нѣсколько дней тому назадъ; тотъ же самый художественный рисунокъ листьевъ; то же самое интересное освѣщеніе подножій и верхушекъ деревьевъ; даже птичка, качавшаяся на вѣткѣ въ глубокой тѣни была, казалось, та же самая. Утромъ онъ нѣсколько минутъ думалъ объ этой картинкѣ, теперь же стоялъ предъ нею равнодушный и спрашивалъ себя: что онъ могъ замѣтить въ ней особеннаго? Слабая искорка, которая загорѣлась въ немъ нѣсколько часовъ тому назадъ, погасла, и теперь онъ не чувствовалъ больше ничего, кромѣ холода и разочарованія, которые давно уже угнетали его. Онъ глядѣлъ кругомъ и думалъ, что все здѣсь такое простое, обыкновенное, убогое, бѣдное. Свѣтотѣни въ этихъ ольхахъ дѣйствительно красивы и могутъ послужить матеріаломъ для этюда съ натуры, но онъ попробуетъ перенести ихъ на полотно потомъ, когда-нибудь... не сегодня. Ему наскучила своей вѣчной нѣжностью и неумолкаемымъ щебетомъ

Клотильда, его охладилъ ея плоскій кругозоръ, убогій, хотя какъ будто и убранный довольно богатой растительностью... Наконецъ, онъ зналъ, что ему предстоитъ одна изъ непріятнѣйшихъ для него вещей: вечерній разговоръ съ управляющимъ о хозяйствѣ. Эта перспектива просто отравляетъ его и отнимаетъ у него охоту не только къ живописи, но и къ самой жизни.

Онъ покинулъ группу ольхъ и направился къ окопамъ, которые цѣпью низкихъ холмовъ перерѣзывали часть луга. Одинъ изъ этихъ холмовъ, широко раскопанный, свѣтился издали желтизной глины или песку. Онъ остановился передъ этимъ отверстіемъ и думалъ о томъ, какая это медленная и скучная работа выкапывать изъ земли предметы, покоющіеся въ ней въ теченіе столѣтій. Онъ увлекся этой работой два мѣсяца тому назадъ, но ожидалъ отъ нея совсѣмъ не того, что получилъ. Когда онъ отъ нечего дѣлать бывалъ въ школѣ изящныхъ искусствъ, ему случалось перелистывать отъ скуки археологическіе сборники, и рисунки на ихъ страницахъ, изображающіе добытые изъ земли предметы, неоднократно вызывали его любопытство и пріятно возбуждали его воображеніе. Положимъ, онъ зналъ, что подъ его ногами не почва древней Эллады или Рима, но онъ все-таки воображалъ, что найдетъ если не кубки, орнаменты и статуи, то все же что-нибудь особенное, что расшевелитъ его фантазію. Къ этимъ поискамъ его подстрекалъ также мужъ его тетки, Дажецкій, который, въ качествѣ высококультурнаго человѣка, какимъ считалъ себя, былъ страстнымъ любителемъ всякихъ рѣдкостей и для поддержанія чести семьи свято вѣрилъ въ геній племянника своей жены.

Въ теченіе нѣкотораго времени оба стоически проводили долгіе часы на вершинѣ холма, который раскапывало значительное число рабочихъ, обливались потомъ отъ жары и почти слѣпнули отъ разсматриванія каждаго комка выброшенной земли, радовались и скучали, надѣялись и разочаровывались, но когда разочарованіе и утомленіе взяло перевѣсъ, работы возлѣ старыхъ окоповъ были заброшены. Да и что же получилось отъ нихъ? Послѣ нѣсколькихъ недѣль раскопокъ Сигизмундъ помѣстилъ среди всякаго хлама, наполнявшаго его мастерскую, нѣсколько десятковъ почернѣвшихъ монетокъ, снабженныхъ полуистертымъ гербомъ Швеціи, а Дажецкій увезъ домой изъѣденную ржавчиной и продырявленную саблю.

Подобныхъ вещей должно было оказаться въ окопахъ множество, и какой-нибудь изслѣдователь исторіи старины сумѣлъ бы извлечь изъ нихъ какую-нибудь пользу; для Сигизмунда же онѣ не представляли ничего любопытнаго или важнаго. Если бы это были погребальныя урны, слезницы, удивительной формы ожерелья, можетъ быть, онѣ и заговорили бы его воображенію таинственнымъ или эстетическимъ языкомъ. Но теперь, стоя передъ желтымъ отверстіемъ разрытаго холма, онъ сдѣлалъ рукой жестъ, выражающій разочарованіе. Все здѣсь, въ этой землѣ, было такое бѣдное, ничтожное, прозаическое; рѣшительно ничего не могъ онъ найти въ ней такого, что удовлетворяло бы его эстетическимъ и общественнымъ потребностямъ. Онъ пропадалъ здѣсь напрасно, просто пропадалъ.

Единственной услугой, какую принесли ему эти раскопки, продолжавшіяся нѣсколько недѣль, было то, что онъ немного похудѣлъ. Думая объ этомъ,

онъ окинулъ взглядомъ свою фигуру. Опять пополнѣлъ! Удивительное дѣло! отъ чего онъ можетъ полнѣть? Скучаетъ, огорчается, тоскуетъ и все-таки полнѣетъ. Цвѣтъ лица у него, положимъ, блѣдный и утомленный, но фигура его, въ особенности въ средней части, округляется и полнѣетъ. Онъ рѣшительно становится черезчуръ тяжелымъ для своихъ тридцати лѣтъ; кто въ эти годы имѣетъ такой видъ, тотъ лѣтъ черезъ десять навѣрное будетъ толстякомъ. Эта мысль приводила его въ отчаяніе. Полнота есть безобразіе, а всякое безобразіе возбуждало въ немъ отвращеніе. Неужели же нравственныя муки не препятствуютъ тѣлу пріобрѣтать прозаическія формы? Положимъ, превосходный осовецкій поваръ умѣетъ артистически соединять французскую кухню съ польской...

Вдругъ онъ отскочилъ отъ разрытаго холма и гораздо проворнѣе, чѣмъ раньше, направился въ обратный путь домой. Причиной такого поспѣшнаго возвращенія была кучка людей, которые показались со стороны деревни, сѣрѣвшей на краю луга, и по тропинкѣ, протоптанной въ зарослях, направлялись въ сторону окоповъ. При видѣ ихъ, скучающіе глаза Сигизмунда, прекрасные, темные, миндалевидные глаза наполнились выраженіемъ почти испуга. Можетъ быть, эти люди шли не къ нему, но, можетъ быть, что и къ нему; на всякій случай онъ предпочиталъ уйти и скрыться отъ нихъ въ стѣнахъ собственнаго дома, куда они не могли проникнуть безъ его позволенія. Они, пожалуй, готовы были еще просить его о чемъ-нибудь, или спрашивать, какъ это уже неоднократно случалось, къ его огорченію. Такіе встрѣчи и разговоры огорчали его не потому, чтобы онъ питалъ къ людямъ этого сорта ненависть или

нерасположеніе, но собственно потому, что онъ чувствовалъ къ нимъ полное равнодушіе, какъ, напримѣръ, къ плывущимъ по небу стадамъ облаковъ; и даже болѣе: облака бываютъ красивы, и по временамъ онъ любитъ присматриваться къ игрѣ свѣта и красокъ на нихъ, а эти люди, съ ихъ грубыми формами и чертами, всегда безобразны, а сермяги ихъ или кожухи всегда издаютъ дурной запахъ. Разговаривать съ людьми, къ которымъ питаешь равнодушіе, всегда утомительно. Попросту говоря, ему было лѣнь переносить это утомленіе, и онъ не видѣлъ ни малѣйшей нужды причинять его себѣ. Положимъ, это были дѣйствительно люди, но, разумѣется, совсѣмъ другого сорта, чѣмъ онъ. Родъ человѣческій дѣлился, по его мнѣнію, на двѣ совершенно разныя половины: одну, которая состояла изъ людей, подобныхъ тѣмъ, съ которыми онъ теперь избѣгалъ встрѣтиться, и другую, къ которой принадлежали онъ самъ и ему подобные,—въ этомъ для него не было ни малѣйшаго сомнѣнія. Впрочемъ, онъ думалъ объ этомъ рѣдко и случайно, и все это занимало его очень мало.

Поднимаясь по лѣстницѣ своего дома, онъ бросилъ встрѣченному лакею краткое приказаніе:

— Подавать завтракъ!

Онъ чувствовалъ себя очень несчастнымъ и очень голоднымъ.

Мастерская молодого владѣльца Осовецъ представляла изъ себя прекрасную комнату, дававшую свѣтъ въ такомъ точно качествѣ и количествѣ, какой нуженъ для художника. Множество различныхъ предметовъ находилось тамъ: мольбертъ съ натянутымъ и закрытымъ бѣлой занавѣской полотномъ, кипы папокъ, рисунковъ, эскизовъ, мрамор-

ныя и гипсовыя статуэтки, бюсты, группы, куски выцвѣтшихъ гобеленовъ и старинныхъ тканей, нѣсколько оригинальныхъ диванчиковъ, приспособленныхъ для лежанія или сидѣнія, много прекрасныхъ растеній въ дорогихъ горшкахъ,—все это было разставлено и разбросано съ кажущейся небрежностью; наконецъ, въ одномъ изъ угловъ комнаты красивый шкапикъ, сквозь стекла котораго пестрѣли разноцвѣтными переплетами нѣсколько сотенъ книгъ. Это были скорѣе книжечки, чѣмъ книги: маленькія, красивыя, легкія. Среди нихъ преобладали преимущественно стихи и романы, и то и другое спеціальнаго и почти исключительнаго направленія: очень немного польскихъ поэтовъ, остальное—чувственный Мюссе, тутъ и тамъ Викторъ Гюго, очень много мрачнаго Байрона, нѣжнаго Шелли, раздушенный Фелье, пессимистъ Леопарди, затѣмъ встрѣчающіяся самымъ неожиданнымъ образомъ наряду съ этимъ поэтомъ-мыслителемъ сказки стараго Дюма и безсмысленныя приключенія Бреддонъ, еще кое-кто изъ современныхъ любимцевъ французской аристократіи: Кларети, Кравенъ и т. д.

Предъ этимъ красивымъ, какъ игрушка, шкапикомъ, наполненнымъ красивыми, какъ игрушки, книжками, остановился Сигизмундъ Корчинскій послѣ краткой прогулки вдоль и поперекъ мастерской. Онъ только что съѣлъ завтракъ въ обществѣ жены, лицо которой носило на себѣ слѣды недавнихъ слезъ, и матери, которая хотя и поддерживала съ полнымъ спокойствіемъ кой-какой разговоръ, но какъ-то удивительно внимательно присматривалась къ сыну. Покраснѣвшіе отъ слезъ глаза жены и проницательные взгляды матери окончательно испортили ему настроеніе. Онъ чувствовалъ настоятельную потреб-

ность въ чемъ-нибудь, что развлекло бы его, утѣшило и расшевелило какимъ-нибудь сильнымъ впечатлѣніемъ его замиравшее существо. Онъ хотѣлъ бы рисовать—рисовать ему хотѣлось всегда, такъ какъ въ искусствѣ, мечты о которомъ поглотили всю его молодость, онъ видѣлъ единственное свое назначеніе и единственный пьедесталъ, который могъ вознести его высоко... Но и сегодня онъ такъ же, какъ это бывало съ нимъ каждый день въ теченіе четырехъ лѣтъ, не могъ добыть изъ себя ничего: никакой идеи, никакой теплоты, никакой энергіи...

Послѣ краткаго періода первой молодости, когда ему казалось, что онъ творитъ, и когда даже онъ создалъ однажды кое-что, хоть и очень мелкое, но все-таки имѣвшее кой-какую цѣнность, наступило постоянное и полное безсиліе. Онъ зналъ о томъ, что на горизонтахъ искусства часто пролетаютъ метеоры слабыхъ и недоношенныхъ вдохновеній, которые, разъ блеснувъ, не возвращаются никогда; что миражи вдохновенія особенно охотно посѣщаютъ честолюбивые головы, но что это лишь миражи, а направленный къ единственной цѣли трудъ производитъ иногда одинъ какой-нибудь вымученный плодъ, который не можетъ имѣть послѣ себя второго. Но никогда, ни на мгновеніе не подумалъ онъ, чтобы эти метеоры, миражи, самообманы могли относиться къ нему. Въ молчаніи своего генія онъ обвинялъ внѣшній міръ. Онъ ожидалъ всего отъ внѣшняго міра и на него сваливалъ всѣ вины. Ему не приходилъ въ голову ни Тассо, слагавшій свое великое произведеніе въ тюремной камерѣ, ни Мильтонъ, пѣвшій пѣсни о раѣ во мракѣ вѣчной слѣпоты. Ему не приходило въ голову, что въ каждой волнѣ воздуха, свѣта, аромата, въ каждомъ придорожномъ

камешкѣ и каждой полевой былинкѣ, въ линіяхъ каждаго человѣческаго облика и вздохѣ каждой груди человѣческой таится частица міровой души, соединенной невидимыми нитями съ душой художника и приводящей ее въ движеніе, если это дѣйствительно душа художника. Какъ въ томъ, что онъ живетъ и дышитъ, былъ онъ увѣренъ, что для мышленія и творчества ему нужны горы, скалы, море; горячая синева небесъ, обнаженныя модели, фантастическія драпировки, шумъ, лихорадка борьбы. О если бы внѣшній міръ осыпалъ его какимъ-нибудь несмѣтнымъ сокровищемъ и поразилъ молніями впечатлѣній... Здѣсь же, увы, увы! ничто не производило на него никакого впечатлѣнія... Расхаживая по своей мастерской, онъ обѣими руками схватилъ себя за волосы, какъ уже не разъ... Былъ ли это жестъ гнѣва, или отчаянія, или того и другого вмѣстѣ?...

Къ довершенію всѣхъ золъ только что съѣденный завтракъ вызывалъ въ немъ чувство тяжести. Этотъ поваръ, появившійся въ Осовцахъ передъ самой женитьбой Сигизмунда, готовилъ превосходно. Мать раньше довольствовалась старыми и уже нѣсколько опустившимися слугами, но для молодыхъ хозяевъ все въ домѣ было обновлено и улучшено. Изъ такой кухни, какая теперь была здѣсь, въ жилы незамѣтно переливался сонный бальзамъ сибаритства. Послѣ получасового щекотанія неба тонкими соусами и сладостями чувствовалась настоятельная потребность вытянуть тѣло на эластичной кушеткѣ, заманчиво поставленной среди пальмъ и драценъ.

Приближаясь къ шкапику съ книгами, Сигизмундъ окинулъ взглядомъ свою фигуру. Полнѣетъ, рѣшительно полнѣетъ! Въ этомъ виновато отсутствіе впечатлѣній. Чѣмъ же другимъ, если не откор-

мленнымъ воломъ, можетъ сдѣлаться человѣкъ, лишенный всякихъ впечатлѣній.

Полулежа на эластичной кушеткѣ, онъ перелистывалъ томикъ стихотвореній Леопарди, неизмѣримая глубина печали котораго такъ согласовалась съ его сегодняшнимъ, впрочемъ, давно уже продолжающимся, настроеніемъ. Всѣ вздохи, слезы, сомнѣнія великаго пессимиста онъ относилъ къ себѣ. Читая о ничтожествѣ и отчаяніи обыденной жизни, онъ думалъ о своей жизни. Онъ не замѣтилъ, что дверь мастерской раза два пріотворялась, и изъ-за нея выглядывала, тотчасъ же скрывавшаяся хорошенькая женская головка, убранная тонкимъ пухомъ золотистыхъ волосъ и розовыми астрами. Раза два головка эта выглянула и скрылась, наконецъ, дверь отворилась такъ же тихо, какъ и прежде, и въ мастерскую вошла Клотильда.

Все еще не совсѣмъ отдохнувшіе отъ слезъ глаза ея робко и почти покорно устремились на лицо мужа, не отрывавшаго глазъ отъ страницъ книги. На ея молоденькомъ личикѣ виднѣлся вопросъ: „Подойти къ нему или не подойти? Заговорить или не говорить?“ Она колебалась не потому, чтобы чувствовала еще гнѣвъ или обиду... Правда, онъ не подарилъ ее сегодня ни однимъ нѣжнымъ словомъ, или хотя бы взглядомъ и дѣлалъ видъ, что совсѣмъ не слышитъ того, что она говоритъ ему; правда, это равнодушіе, съ которымъ, впрочемъ, онъ теперь всегда относится къ ней, разсердило и обидѣло ее такъ сильно, что она цѣлыхъ два часа строила въ своей тяжело оскорбленной головкѣ всевозможные дѣтскіе проекты отъѣзда, разлуки, даже самоубійства. Но быть въ ссорѣ съ нимъ болѣе двухъ часовъ, — это превосходило ея силы.

Природный характеръ ея былъ очень мягкій и легко прощающій. Она желала теперь примиренія и хотя бы одного часа, проведеннаго въ мирѣ, наединѣ съ нимъ. Если бы только онъ поднялъ на нее глаза, она съ крикомъ радости бросилась бы ему на шею. Но онъ, не замѣчая или дѣлая видъ, что не замѣчаетъ ея присутствія, продолжалъ смотрѣть въ книгу. Ея синіе глаза, свидѣтельствующіе своимъ блескомъ и глубиной о страстномъ и живомъ темпераментѣ, были теперь очень встревожены и помутились. Опустивъ свои нѣжныя ручки вдоль граціознаго стана, стояла она посреди мастерской колеблющаяся и робкая, но вдругъ хитрая улыбка пробѣжала по ея губамъ. Тихонько, на цыпочкахъ подошла она къ мольберту и, отодвинувъ закрывавшее его полотно, открыла свой собственный портретъ. Имѣть свой портретъ, исполненный кистью мужа, было ея постоянной мечтой, начиная съ перваго дня ея обрученія съ Сигизмундомъ. Послѣ года бездѣятельной жизни въ Осовцахъ, Сигизмундъ началъ его писать, но до сихъ поръ не окончилъ, откладывая эту работу со дня на день. Остановившись предъ этимъ портретомъ, нѣкоторыя части котораго были уже вполнѣ отдѣланы, нѣкоторыя же имѣли еще характеръ наброска, Клотильда сдѣлала прежде всего глубокій реверансъ, а затѣмъ, обращаясь къ своему собственному изображенію, заговорила:

— Добраго утра! Почему это вы сегодня такая печальная? Можетъ быть, потому, что кто-то не хочетъ васъ больше писать? Кто-то очень злой. Знаетъ онъ очень хорошо, что вы его любите, но не хочетъ забыть вашей маленькой вспышки и дуется, молчитъ и смотритъ въ книжку, когда вы пришли и уже всѣмъ сердцемъ желаете примириться... Бѣд-

ная! Можетъ быть, васъ уже не любятъ? О, нѣтъ не думайте такъ, это было бы слишкомъ жестоко... Кто-то немножко капризничаетъ, немножко скучаетъ, но о невѣрности и не думаетъ... Да и за что же пересталъ бы онъ васъ любить? Вѣдь не измѣнились же вы къ худшему... напротивъ, даже немножко похорошѣли, а что касается сердца, то оно по прежнему все его до послѣдней частички... капельки... искорки...

Слезы сверкали у нея на глазахъ, но въ голосѣ дрожалъ смѣхъ. Въ ея дѣтской выходкѣ чувствовалось сердце женщины, которое начинаютъ раздирать муки сомнѣнія; всѣ ея движенія, жесты, мимика дышали невыразимой прелестью. Эта веселая и полная граціи красота всего лишь два года тому назадъ приводила Сигизмунда въ восторгъ, и подъ ея то вліяніемъ, а также подъ впечатлѣніемъ прекрасной игры на роялѣ и пѣнія Клотильды онъ началъ свое, увѣнчавшееся женитьбой, ухаживаніе за избалованной и довольно богатой дѣвушкой. Но съ того времени прошло два года. Правда, онъ и теперь улыбнулся, но скорѣе отъ скуки и пренебреженія, нежели отъ удовольствія.

— Ты мнѣ мѣшаешь, Клотильда, — проговорилъ онъ.

При звукѣ его голоса она порхнула къ нему и граціозно опустилась около него на колѣни.

— Наконецъ-то ты заговорилъ! Видишь, я первая, я — женщина, пришла, чтобы помириться. Должно было бы быть наоборотъ, но это все равно. Когда любишь, то не обращаешь вниманія на самолюбіе. Взгляни же на меня долгимъ, хорошимъ, нѣжнымъ взглядомъ, какъ ты теперь рѣдко смотришь, и дай мнѣ руку...

Онъ не только взялъ ея руку, но даже довольно нѣжно поцѣловалъ ее.

— Значитъ, мы уже не сердимся!—вскричала она въ порывѣ радости.

— Ахъ, нѣтъ, только... ты мнѣ немножко мѣшаешь...

Снова оробѣвъ, она начала:

— Мнѣ казалось, что ты ничѣмъ не занятъ, потому что нельзя же считать работой перелистываніе этой книжки, которую ты знаешь хорошо...

— Я уже много разъ говорилъ тебѣ, что если даже я не занятъ никакой видимой работой, то изъ этого не слѣдуетъ, что я ничего не дѣлаю. Думаю... мечтаю... Вѣдь это же матеріалъ для будущей работы...

— Это правда, — серьезно отвѣчала она, — я знаю это хорошо, но я такая безпокойная... Ты хочешь остаться совсѣмъ одинъ? Въ такомъ случаѣ я уйду...

Можетъ быть, тронутый ея покорностью, онъ проговорилъ довольно привѣтливо:

— Напротивъ, мнѣ всегда пріятно, когда ты находишься около меня.

Она осыпала поцѣлуями не только лицо, а даже и руки его, но сейчасъ же вскочила.

— Хорошо! Боже мой, какъ это хорошо! Я возьму книгу и тихонько вонъ тамъ посижу въ уголочкѣ... Когда ты будешь уже свободенъ, тогда, можетъ быть, мы вмѣстѣ почитаемъ, а послѣ обѣда пойдемъ гулять, опять вмѣстѣ... ля, ля, ля!

Ея прекрасный голосъ наполнилъ всю мастерскую короткой, радостной гаммой. Она взяла съ мозаичнаго столика маленькую книжечку и на цыпочкахъ пошла, было, съ ней къ дивану, стоявшему въ

противоположномъ углу комнаты, какъ вдругъ услыхала голосъ Сигизмунда:

— Tiens! tiens! Clotilde! Покажи мнѣ эту книжку, которая у тебя въ рукахъ... что это?

— Третій томъ Мюссе! — отвѣтила она нѣсколько удивленная.

— Откуда онъ здѣсь взялся? — продолжалъ онъ разспрашивать, взявъ книгу изъ рукъ жены. — Какимъ образомъ я могъ не замѣтить ее на столѣ?

Молодая женщина мрачно посмотрѣла на мужа. Лицо его удивительно быстро оживилось, а глаза, прежде тусклые, блестѣли.

— Книжку эту, — медленно начала она, — привезли нѣсколько дней тому назадъ изъ Корчина... Я сама взяла ее отъ посланнаго и положила здѣсь... Должно быть, ты ее давалъ тетѣ, паннѣ Терезѣ, или...

Онъ протянулъ руку за изящнымъ томикомъ.

— Дай мнѣ ее, а сама возьми что-нибудь другое. Вѣдь для тебя это безразлично...

— Совершенно безразлично,—отвѣчала она и, поднявъ съ полу томикъ Леопарди, который Сигизмундъ уронилъ, усѣлась съ нимъ въ противуположномъ углу комнаты.

Все ея счастье и веселье, пробужденныя однимъ словомъ мужа, исчезли безслѣдно. Она догадалась, кому была послана въ Корчинъ эта книжка...

Перелистывая нетерпѣливо, почти лихорадочно, страницы книги, Сигизмундъ искалъ чего-то на нихъ или между ними. Та, которой онъ послалъ эти стихотворенія, желая такимъ способомъ пробудить ея воспоминанія и воскресить ея чувства, отослала ему ихъ, вѣроятно, при первомъ случаѣ, не отвѣтивъ ни единымъ словомъ на письмо, которымъ сопровожда-

лась эта книжка. Можетъ быть, однако, между ея страницами найдется какая-нибудь записочка или, можетъ быть, на страницахъ окажется какой-нибудь стихъ или слово, многозначительно подчеркнутые. Онъ искалъ и не находилъ ничего, но взамѣнъ этого въ воображеніи его, какъ живая, стояла Юстина, и образъ этотъ вызвалъ дрожь во всемъ его тѣлѣ.

Въ эту минуту изъ угла комнаты послышался удивительно рѣзкій и насмѣшливый женскій голосъ, проговорившій:

— Ты слышалъ, Сигизмундъ, mademoiselle Ожельская, по всей вѣроятности, скоро выйдетъ замужъ?

— Онъ быстрымъ движеніемъ обернулся къ Клотильдѣ.

— За кого? — кратко спросилъ онъ.

— За Ружица, — отвѣчала она.

Сигизмундъ замѣнилъ полулежачее положеніе сидячимъ.

— Quelle idée! — вскричалъ онъ. — Ружицъ никогда не женится на ней.

— Напротивъ, — сухо и рѣзко проговорила молодая женщина. — Она понравилась ему съ перваго раза и нравится все больше и больше. Elle a de la chance, cette... cette... cette... rien du tout! Пани Кирло, которая имѣетъ большое вліяніе на своего кузена, очень старается устроить этотъ бракъ, а я слыхала отъ пана Кирло, что окончательное рѣшеніе Ружица составляетъ только вопросъ времени.

Сигизмундъ повторилъ съ немного кривой улыбкой:

— Impossible! Какъ! она, эта модель сильной Діаны, вышла бы за этого молодого старика?...

Продолжая усмѣхаться, онъ сталъ ходить по мастерской, стараясь казаться совершенно равнодушнымъ

но глаза его мрачно сверкали изъ-подъ нахмуренныхъ бровей. Клотильда слѣдила за нимъ взглядомъ и такимъ же самымъ, какъ и раньше, сухимъ, рѣзкимъ голосомъ говорила безъ конца о необыкновенномъ, волшебномъ счастьѣ, какимъ являлось подобное замужество для подобной Ожельской... Потому что, чѣмъ же она была? Дочерью разжирѣвшаго идіота—отца, приживалкой, живущей изъ милости у родственниковъ, простой, совсѣмъ простой дѣвушкой, безъ воспитанія, граціи, остроумія и какихъ бы то ни было талантовъ. Играетъ недурно, но когда заговоритъ по французски, такъ уши болятъ... Une fille sans naissanse, sans distinction... une rien du tout... Неизвѣстно даже, что Ружицъ станетъ дѣлать съ ней, когда женится, и какъ онъ покажетъ ее въ свѣтѣ... Развѣ прежде всего отдастъ ее въ какой-нибудь пансіонъ... Модель Діаны! Конечно она здоровая и сильная, точно переодѣтая мужичка, но руки у нея вѣчно загорѣлыя, точно она никогда въ жизни не носила перчатокъ... Развѣ художники представляютъ себѣ Діану въ образѣ приживалки съ большими загорѣлыми руками?

Грудь молодой женщины быстро вздымалась и опускалась въ то время, когда съ ея маленькихъ губокъ сыпались всѣ ядовитыя и оскорбительныя слова. Она ни на минуту не переставала водить искрившимися глазами за мужемъ, который, продолжая ходить взадъ и впередъ, казалось, не видѣлъ и не слышалъ ея. Онъ дернулъ сонетку и со свойственною ему краткостью сказалъ моментально появившемуся лакею:

— Запрягать лошадей!

Лакей исчезъ за дверями. Клотильда вскочила съ дивана.

— Ты ѣдешь?—горестно вскричала она.

Иронія и злоба, которыя только что кипѣли въ ней, исчезли безъ слѣда; она чувствовала только, что мужъ ея уѣдетъ, и весь ея планъ, счастливо провести въ его обществѣ весь этотъ день, разсыпается въ прахъ.

— Нужно,—равнодушно отвѣчалъ Сигизмундъ.

— Куда?—снова спросила она.

— Въ Корчинъ.

Она поблѣднѣла и остановилась неподвижно.

— Сигизмундъ...

Голосъ ея былъ теперь тихій и сдавленный.

— Que veux tu, chère enfant?

— Ты не поѣдешь туда, Сигизмундъ...

Онъ быстро обернулся къ ней и спросилъ съ глубокимъ удивленіемъ:

— Почему?

— Потому...—начала она,—потому...

И не окончила. Она испугалась, или, можетъ быть, ей стало стыдно.

— Я давно уже не былъ у дяди, и у меня есть дѣло къ нему. Развѣ ты хотѣла бы, чтобы я порвалъ сношенія съ дядей?

— О нѣтъ, нѣтъ!—поспѣшно воскликнула она,—сохрани меня Богъ внести несогласіе въ семью, въ которую я вошла!

— Такъ чего же ты хочешь?

Она то краснѣла, то блѣднѣла поперемѣнно. Она не могла и не хотѣла быть вполнѣ искренней. Гордость и скромность сковывали ея языкъ. Наконецъ, она разразилась плачемъ.

— Такъ возьми, по крайней мѣрѣ, меня съ собой!

— И это невозможно, — возразилъ онъ. — Ты знаешь хорошо о слабомъ здоровьѣ и при-

чудахъ тетушки... неудобно дѣлать ей частые визиты...

— Это правда—прошептала она, разрывая пальцами тоненькій платочекъ.

Самый невнимательный глазъ могъ бы замѣтить, что она очень страдала.

— Какое у тебя дѣло къ дядѣ, Сигизмундъ? — спросила она, и ея безпокойные глаза впились въ лицо мужа съ такимъ напряженіемъ, какъ будто она хотя бы цѣною жизни желала прочесть на немъ всю правду.

Онъ улыбнулся.

— Ты принуждаешь меня говорить тебѣ неинтересныя вещи... Я хочу посовѣтоваться съ дядюшкой относительно перемѣнъ, какія слѣдуетъ ввести при переходѣ хозяйства съ экстенсивнаго къ интенсивному...

Онъ снова закрылъ ей ротъ и такъ ловко, что она не знала, чѣмъ ему возразить. Послѣ краткаго колебанія она только закинула свои руки ему на шею и, прижимаясь къ нему всѣмъ своимъ легкимъ, граціознымъ тѣломъ, зашептала съ мольбой:

— Не ѣзди туда сегодня... о, мой дорогой... только сегодня... умоляю... не ѣзди...

Сигизмундъ мягко высвободился изъ ея объятій, поцѣловалъ ее въ лобъ, провелъ раза два рукой по ея волосамъ и, взявъ съ табурета шляпу, проговорилъ:

— До свиданія! Ne deraisonnez pas, ma mignonne! Вѣдь я же возвращусь черезъ нѣсколько часовъ!

Онъ вышелъ изъ мастерской. Передъ крыльцомъ уже гремѣли колеса экипажа. Клотильда съ повисшими руками, съ прикушенной губой, безъ кровинки въ лицѣ остановилась неподвижно посреди

мастерской и только черезъ нѣсколько минутъ схватилась за голову.

— Къ ней поѣхалъ!—вскричала она.

Съ быстротой стрѣлы промчалась она черезъ нѣсколько комнатъ и, вбѣжавъ въ комнату свекрови, разразилась плачемъ.

Вдова Корчинская сидѣла въ томъ самомъ креслѣ, что и нѣсколько часовъ тому назадъ, но теперь она не склонялась надъ работой. На колѣняхъ ея лежала раскрытая книжка, а у колѣнъ на низенькой скамеечкѣ сидѣлъ ребенокъ, маленькая дѣвочка, въ толстой юбочкѣ и ситцевомъ платкѣ на головѣ. Однимъ изъ занятій, которымъ вдова Андрея Корчинскаго отдавалась болѣе двадцати лѣтъ, было обученіе деревенскихъ дѣтей. Среди обширной дворни и въ ближайшихъ деревняхъ было теперь уже много взрослыхъ людей, которые въ своемъ дѣтствѣ ежедневно входили въ эту прекрасную комнату и здѣсь проводили нѣкоторое время у колѣнъ пани Корчинской. Спускаться къ нимъ, смѣшивать свою жизнь съ ихъ жизнью, она и не могла и не хотѣла. Это превосходило ея силы, и она давно уже убѣдила себя, что это не составляетъ ея обязанности. Но эти дѣти, одѣтыя чисто, по крайней мѣрѣ, на это время, иногда хорошенькія, часто добрыя, нисколько не оскорбляли ея вкуса и привычекъ, работая же надъ ними, она думала, что исполняетъ заповѣдь любви къ ближнему, а, главнымъ образомъ, вѣрила, что она соединяется съ Андреемъ въ томъ, что было его самой любимой идеей. Мысль объ этой невидимой связи, которую она создавала путемъ этого труда, доставляла ей какое-то глубокое, мистическое наслажденіе. Давно не существующій и невозвратно потерянный мужъ не переставалъ быть ея вдохновителемъ и цѣлью.

Когда съ громкимъ стукомъ раскрылась дверь, и хорошенькая женщина въ блѣднорозовомъ платьѣ, безуспѣшно старавшаяся удержаться отъ слезъ, припала къ пани Корчинской, дѣвочка тихо выскользнула изъ комнаты. Первый разъ Клотильда признавалась передъ матерью мужа въ своихъ опасеніяхъ и обидахъ, прося помощи и совѣта и отчасти возлагая на нее отвѣтственность за свою судьбу.

Эту отвѣтственность вдова чувствовала и сознавала сама. Вѣдь это она, по вызову Сигизмунда, отправилась туда, гдѣ жили родители Клотильды и склонила ихъ, нѣсколько колебавшихся, ввѣрить ея сыну этого прелестнаго, талантливаго, семнадцатилѣтняго ребенка. Происхожденіе, родственныя связи, приданое, даже сами музыкальныя способности, которыя при тщательномъ развитіи, могли бы еще увеличиться въ будущемъ,—все пророчило Клотильдѣ блестящую будущность. Неужели же она должна была быть теперь несчастной, по винѣ Сигизмунда? Его вина падала тяжело и на сердце и совѣсть огорченной и встревоженной матери. Она слишкомъ хорошо знала, что жалобы молодой женщины были основательны, понимала превосходно, что страданія ея были жестоки и незаслужены. Она дрожала при мысли объ ужасѣ положенія этого избалованнаго дитяти роскоши, если бы ея любовь къ мужу, единственная, на какую она была способна, должна была угаснуть безъ взаимности, отвергнутая и растоптанная.

На своей совѣсти и даже больше, чѣмъ на своей, на совѣсти сына своего она чувствовала отвѣтственность не только за счастье, но и за душу этого еще невиннаго и любящаго существа. Храня въ своей душѣ ненарушимую вѣрность, она просто на

просто не могла понять своего сына. Вѣдь она же видѣла его два года тому назадъ влюбленнымъ въ Клотильду, однако въ охлажденіи этого чувства она была теперь болѣе увѣрена, чѣмъ сама Клотильда. Два мѣсяца тому назадъ она разсчитала одну изъ своихъ горничныхъ, которую Сигизмундъ называлъ моделью Фрины, и въ обществѣ которой она раза два замѣтила его въ паркѣ. А теперь эти поѣздки въ Корчинъ? Неужели же онъ въ самомъ дѣлѣ любилъ Юстину, а любовь къ Клотильдѣ была только обманомъ чувственности или воображенія. Но если бы онъ дѣйствительно любилъ ее такъ сильно, то сдѣлалъ бы ее своей женой. Она не желала этого брака и въ свое время высказывалась противъ него, это правда, но если бы Сигизмундъ рѣшительно заявилъ свою волю, то она никогда не предприняла бы ничего, могущаго воспрепятствовать осуществленію этой воли. Онъ самъ колебался, раздумывалъ, хотѣлъ и не хотѣлъ, и, наконецъ, уѣхалъ и, казалось, позабылъ обо всемъ, что связывало его съ Юстиной. Теперь, однако... опять... Что значило все это?

Нѣжно, какъ мать, обнимала она невѣстку, прижимая ея головку къ своей груди, мягко и спокойно старалась утѣшить ее всѣмъ, чѣмъ только могла; она обѣщала серьезно поговорить съ Сигизмундомъ объ опасеніяхъ и страданіяхъ Клотильды, терзаясь сама въ глубинѣ души самыми мрачными мыслями и вопросами.

Когда молодая женщина, успокоенная признаніемъ, а также ласками и обѣщаніемъ свекрови, блѣдная и наплакавшаяся, но уже снова улыбающаяся жизни, вышла въ садъ, чтобы осмотрѣть свои любимые цвѣты, вдова поднялась и дотронулась до стоявшаго на столѣ колокольчика.

— Куда поѣхалъ баринъ?—спросила она у появившагося въ дверяхъ лакея.

У нея еще оставалась слабая надежда, что онъ поѣхалъ не въ Корчинъ, но, услыхавъ отвѣтъ, который отнялъ у нея эту надежду, она послѣ минутнаго молчанія, сказала:

— Какъ только онъ возвратится, доложи, что я прошу его сейчасъ же прійти ко мнѣ.

Послѣ ухода лакея она долго стояла одна среди комнаты, опираясь сплетенными руками о столъ, покрытый книгами и журналами. На ея блѣдныхъ щекахъ огненными пятнами выступилъ румянецъ. Она столько думала и размышляла въ одиночествѣ, что даже страстная материнская любовь не могла ослѣплять ее; то, что она уже начинала замѣчать, хотя еще и не совсѣмъ ясно, было темной тучей, заслонявшей все, чѣмъ она могла утѣшать себя и чѣмъ была горда.

Глава XIII.

Въ послѣднихъ числахъ іюля, когда часть хлѣба стояла еще неубранной на корчинскихъ поляхъ, Витольдъ и Юстина шли по дорогѣ изъ Богатыровичей въ Корчинъ. Они шли быстро и вели оживленный разговоръ, настолько оживленный, что на щекахъ молодой дѣвушки вспыхнулъ горячій румянецъ, а глаза ея, обыкновенно нѣсколько мрачные, свѣтились радостью. Не останавливаясь и даже не замедляя шагу, она протянула руку своему молодому родственнику.

— Спасибо тебѣ, Витя, отъ всей души спасибо, — говорила она съ несвойственной ей экспан-

сивностью. Все, что ты мнѣ сказалъ, глубоко задѣло меня. Съ нѣкотораго времени эти самыя мысли приходили и мнѣ въ голову, но только я не могла дать себѣ яснаго отчета въ нихъ. Видишь ли, я и не ученая и не выдѣляюсь ничѣмъ, но сама не знаю, почему я замѣтила уже въ жизни очень много ничтожныхъ вещей и не много важныхъ...

И затѣмъ она прибавила съ веселой улыбкой:

— Я страшно скучала и, можетъ быть, со скуки выдумала все то, что ты знаешь гораздо лучше и больше, чѣмъ я...

Онъ лукаво поглядѣлъ на нее сбоку.

— А теперь не скучаешь?—спросилъ онъ.

Она отрицательно тряхнула головой.

— Нѣтъ! съ нѣкотораго времени, нѣтъ! хотя признаюсь тебѣ, что я еще хорошенько не понимаю...

Она оборвала.

— Чего еще не понимаешь?

Послѣ краткаго колебанія она тихо отвѣтила:

— Того, что я чувствую, и того, что я думаю...

— Отсутствіе подготовки, — замѣтилъ Витольдъ, но сейчасъ же весело прибавилъ, — это, по всей вѣроятности, выяснится, потому что почему же тебѣ не пойти въ самомъ дѣлѣ по новому пути?

Она покраснѣла еще больше и тихо прошептала:

— Не знаю... не знаю... Можетъ быть, это только обманъ чувствъ... Я боюсь...

— Чего?—спросилъ Витольдъ съ любопытствомъ.

Но она повернула въ сторону поля вспыхнувшее лицо и, можетъ быть, подъ вліяніемъ замѣшательства, которое причинялъ ей этотъ разговоръ, сильно сжимала въ рукахъ порядочную вязанку, повидимому, только что сорванныхъ флоксовъ, среди которыхъ была воткнута огромная, красная георгина.

— Далеко не изысканный букетъ, — произнесъ Витольдъ, глядя на цвѣты и улыбаясь. — Однако, достойно вниманія, до чего эти люди любятъ цвѣты. Даже эта прозаическая Эльжуся, которая за двѣ недѣли до свадьбы думаетъ о числѣ скота у жениха и о векселяхъ, которые выдастъ ей отецъ, и та разводитъ пропасть ихъ въ отцовской усадьбѣ. Оборачиваясь къ спутницѣ, онъ спросилъ:

— Ты въ самомъ дѣлѣ будешь на этой свадьбѣ?

— Разумѣется!—вскричала она съ живостью.

— Дружкой Эльжуси?

— Разумѣется!

— А твоимъ кавалеромъ и шаферомъ на свадьбѣ будетъ Казиміръ Ясмонтъ, иниціалы котораго ты должна вышить на тоненькомъ платочкѣ, и этотъ платочекъ ты предложишь ему взамѣнъ букета миртъ, который ты получишь отъ него... Да... Ты, должно быть, уже наизусть знаешь это, какъ и много разныхъ другихъ вещей, которымъ ты выучилась въ послѣднее время. Знаешь ли ты, что, когда вчера панна Тереза со слезами нѣжно говорила тебѣ о своей и маминой радости по поводу твоего предполагаемаго замужества, ты отвѣчала со смѣхомъ: „потому что вы знаете одно, а я другое!“ Если-бъ я тогда не смотрѣлъ на тебя, то подумалъ бы, что это говоритъ старая Стажинская! Опрощаешься, Юстинка, явственно опрощаешься!

Онъ весело и громко смѣялся, глядя дружелюбно на Юстину. Вдругъ онъ спросилъ:

— Правда ли то, что говорила госпожа Богатыровичъ, нёе Гецолдъ, будто ты совсѣмъ ужъ хорошо выучилась жать?

Юстина съ улыбкой показала ему обѣ свои руки, ладони которыхъ нѣсколько затвердѣли и

мѣстами были испещрены шрамами, оставшимися отъ серпа.

— Почти всю недѣлю я каждый день жала по нѣскольку часовъ... Трудъ это тяжелый, но все же менѣе тяжелый, чѣмъ...

— Чѣмъ что?...

Сверкнувъ глазами, она отвѣтила:

— Чѣмъ вѣчное самобичеваніе покаянной мыслью: „ты прахъ!“ съ прибавленіемъ: „прежде еще, чѣмъ ты разсыпалась прахомъ!“

— Браво! ты права! Есть на свѣтѣ люди, которые дѣйствительно могутъ разсыпаться прахомъ отъ подобныхъ мыслей, и ты, должно-быть, принадлежишь къ числу ихъ!

Черезъ нѣсколько времени онъ спросилъ серьезно:

— Но не превосходитъ ли это твои силы?

Выпрямляя свой прекрасный сильный станъ, она отвѣчала:

— Развѣ я похожа на созданіе, которое имѣетъ такой видъ, точно оно сейчасъ „улетитъ къ ангеламъ“.

Они оба расхохотались громкимъ смѣхомъ, который въ теченіе нѣсколькихъ секундъ вторилъ оглушительному чириканію кузнечиковъ въ придорожной травѣ. Они находились теперь около корчинскаго овина, который, несмотря на старыя стѣны, имѣлъ еще бодрый и крѣпкій видъ, благодаря каменнымъ столбамъ и заботливо поддерживаемой крышѣ.

— Нужно сознаться, — началъ Витольдъ, — что отецъ поддерживаетъ Корчинъ въ удивительной цѣлости и порядкѣ. Правда, что и работаетъ онъ, какъ волъ, только волъ никогда не имѣетъ подобныхъ

заботъ и непріятностей... хорошо, что я сегодня могъ немного помочь ему, потому что когда мы съ тобой встрѣтились въ околицѣ, я какъ разъ возвращался съ поля, куда онъ меня послалъ къ работникамъ. Бѣдный, милый отецъ!

Но въ ту же минуту онъ остановился, какъ вкопанный, и съ внезапно нахмуренными бровями началъ прислушиваться. Съ другой стороны овина, на экономическомъ дворѣ, раздался громкій, грубый, гнѣвный крикъ Бенедикта. Словъ нельзя было различить въ этомъ крикѣ, но чувствовалось, что это угрозы и брань. Витольдъ поднялъ руку ко лбу.

— Какъ мнѣ это больно! Боже мой, какъ мнѣ это всегда больно!

Онъ бросился впередъ, ускоряя шаги и совершенно позабывъ о своей спутницѣ.

Солнце зашло уже около четверти часа тому назадъ; только надъ занѣманскимъ боромъ горѣла еще широкая яркая полоса, которая обливала крыши и верхушки деревьевъ корчинской усадьбы краснымъ свѣтомъ, походившимъ на зарево пожара. Тамъ, гдѣ экономическій дворъ широко открывался на Нѣманъ, между одной изъ жилыхъ построекъ и конюшней, на фонѣ красныхъ зарѣчныхъ облаковъ, выдѣлялась фигура пана Бенедикта въ видѣ чернаго высокаго, тяжелаго и усатаго силуэта, очертанія котораго сливались вдали; его руки порывисто вскидывались, а длинные усы то трепались, то опускались, свѣшиваясь на грудь. Противъ этого силуэта тоже на фонѣ красныхъ облаковъ стоялъ другой, значительно ниже перваго, черный, съ коренастыми формами тѣла и головой, покрытой торчавшими вихрами волосъ, боязливо прятавшейся въ плечи. Между ними находилось какое-то земледѣльческое орудіе, запряженное парой

лошадей, которыя меланхолически свѣшивали головы къ травѣ, покрывавшей дворъ. У дверей людской и около конюшни стояли кучки людей, молча и неподвижно прислушивающихся къ крику хозяина.

Витольдъ, быстро перейдя дворъ, направился къ двумъ чернымъ силуэтамъ, раздѣленнымъ земледѣльческимъ орудіемъ и парой неподвижныхъ лошадей. Запыхавшись немного отъ слишкомъ поспѣшной ходьбы, онъ спросилъ:

— Что такое, отецъ?

Теперь въ немъ не было и слѣда того веселья и счастливаго юношескаго оживленія, съ которымъ онъ за минуту передъ тѣмъ разговаривалъ съ Юстиной. Но Бенедиктъ совсѣмъ не обратилъ вниманія на выраженіе лица своего сына. Указывая отчаяннымъ жестомъ на стоявшаго въ двухъ шагахъ рабочаго, онъ еще громче прежняго разразился:

— Наказаніе Божеское! чистое несчастье! и погибель съ этими ослами и негодяями! Жнею испортилъ мнѣ! Нѣсколько дней поѣздилъ съ ней въ полѣ и уже испортилъ! А знаешь ли ты, сколько я долженъ былъ ломать себѣ голову, прежде чѣмъ собралъ деньги на эту покупку?... Но что вамъ за дѣло до того, что вы кому-нибудь пакость сдѣлаете? Развѣ у васъ есть сердце или совѣсть, ослы, негодяи, мошенники!...

— Отецъ... — попытался прервать его Витольдъ, но Бенедиктъ, точно желая сдѣлать его попытку безполезной, еще больше повысилъ голосъ.

— Ужъ не думаешь ли ты,—обращаясь попрежнему къ рабочему, продолжалъ онъ,—что я это такъ и подарю тебѣ? Машину я пошлю въ починку, но то, что я заплачу за нее въ городѣ, я вычту изъ твоего жалованья...

При этихъ словахъ коренастый мужикъ въ сермягѣ первый разъ за все время выдвинулъ косматую голову изъ плечей и ворчливо пробормоталъ:

— Не вычитывайте, паночку, потому что съ чего же я жить буду?...

— Съ голоду не издохнешь! — крикнулъ Бенедиктъ. Мѣсячина есть... уголъ есть... даже корову держать позволяю вамъ... а, наконецъ, даже если бы тебѣ пришлось землю грызть, то все-таки вычту... чтобы ты, негодяй, научился чужое добро беречь.

— Батюшка!—громче прежняго заговорилъ снова Витольдъ и выпрямился надъ жнеей, поврежденія которой онъ быстро и внимательно осмотрѣлъ. Батюшка, я немного знаю въ этомъ толкъ... Въ прошломъ году тамъ, гдѣ я провелъ лѣто, жнеи портились довольно часто, и я присматривался, какъ ихъ починяютъ. Эту можно будетъ починить дома, недорогимъ способомъ и скоро... я самъ займусь этимъ... Не нужно будетъ вычитать у Максима изъ жалованья...

Онъ обернулся къ рабочему, который, переступая съ ноги на ногу, мялъ въ рукахъ свою шапку, вздыхалъ и что-то неясно бормоталъ.

— Слушай, Максимъ, ты понимаешь, какъ эта машина сдѣлана, и почему она можетъ жать? Вѣроятно, не понимаешь, и потому-то ты испортилъ ее, что не понимаешь... ну такъ смотри же и слушай: я тебѣ сейчасъ покажу это и растолкую.

Мягко, медленно и съ легкостью, свидѣтельствующей о близкомъ знакомствѣ съ народомъ, подбирая выраженія, понятныя для мужика, Витольдъ говорилъ въ теченіе доброй четверти часа, сопровождая поясненіе составныхъ частей машины и ихъ соединеній выразительной мимикой. Стоявшій въ покорной и

сонливой позѣ рабочій слушалъ сперва лѣниво и только въ силу необходимости, но черезъ нѣсколько минутъ наклонился и началъ посматривать съ любопытствомъ и оживленіемъ то на жнею, то на говорившаго. При этомъ онъ кивалъ головой въ знакъ удивленія или пониманія, иногда тихо бормоталъ что-то, дотрогиваясь толстыми, узловатыми пальцами до показываемыхъ ему частей машины.

— Ну, видишь, — окончилъ студентъ, выпрямляясь,—никакой тутъ особенной премудрости нѣтъ, и только въ уходѣ за этой машиной надо быть нѣсколько внимательнымъ и осторожнымъ. Завтра мы оба встанемъ съ разсвѣтомъ, машину эту отвеземъ въ кузницу, а черезъ какой-нибудь часъ послѣ восхода солнца ты уже выѣдешь съ ней въ поле. Убытку не будетъ никому, ни намъ, ни тебѣ...

Послѣднія слова покрыли темное, сильно обросшее, лицо мужика выраженіемъ радости. Онъ нагнулся и, громко поцѣловавъ рукавъ Витольдова сюртука, проговорилъ съ улыбкой:

— Спасибо, паничъ! Дай Богъ здоровья!

— Послѣ этого онъ поднялъ съ земли возжи и чмокнулъ на лошадей, которыя потащили машину къ конюшнѣ.

Бенедиктъ, видимо, не вполнѣ довольный вмѣшательствомъ Витольда въ сцену, происходившую между нимъ и рабочимъ, стоялъ нахмурившись и сильно дергая усъ. Послѣ ухода мужика онъ поднялъ глаза на сына.

— Ты далъ мнѣ урокъ, какъ слѣдуетъ обходиться съ людьми. Видно, теперь такія времена настали, что яйца курицу учатъ. Удивительно мнѣ только, какъ это ты, прокорпѣвъ столько лѣтъ надъ книжкой,

умѣешь такъ бѣгло и такъ понятно разговаривать съ мужиками...

Если это тебѣ не нравится, отецъ,—живо возразилъ Витольдъ,—пеняй самъ на себя. Когда я ребенкомъ росъ у тебя на глазахъ, и когда я потомъ изъ гимназіи пріѣзжалъ домой на каникулы, ты не воспрещалъ мнѣ заводить знакомства съ деревенскимъ людомъ...

Оборачиваясь къ дому, Бенедиктъ проворчалъ:

— На самого себя палку готовилъ! На основаніи идиліи, которая появилась въ твоей ребяческой головкѣ, ты теперь осуждаешь отца...

— Идилія! — порывисто вскричалъ Витольдъ. — Увѣряю тебя, отецъ, что я смотрю на вещи очень трезво, и что въ данномъ случаѣ... предѣломъ моихъ мечтаній является только то, чтобы люди не обходились съ людьми, какъ съ безсловесными животными... Или нѣтъ! — Какъ съ камнями, потому что есть же на свѣтѣ такіе чудаки, которые и къ животнымъ относятся снисходительно и сострадательно...

Бенедиктъ засмѣялся съ пренебреженіемъ.

— Когда ты самъ помучаешься хорошенько съ хозяйствомъ и дѣлами, то увидишь тогда, какая бываетъ разница между практикой и теоріей, между дѣйствительностью и идиліей...

Витольдъ прервалъ его.

— Если я когда-нибудь приду къ убѣжденію что теоріи мои ни въ какомъ случаѣ не могутъ примириться съ практикой, то я пущу себѣ пулю въ лобъ, но отъ теоріи своей не отступлю ни за что.

Бенедиктъ остановился, какъ вкопанный, и посмотрѣлъ на сына такимъ взглядомъ, точно увидѣлъ его на краю пропасти. Черезъ минуту, впрочемъ, онъ улыбнулся.

— Ребенокъ!... Всякому въ молодости кажется, что если онъ не сниметъ звѣзды съ неба, то сейчасъ же пуститъ себѣ пулю въ лобъ, а потомъ, однако, живетъ при свѣтѣ вонючей сальной свѣчки...

— Или же, — протестовалъ Витольдъ, — подставляетъ свой лобъ подъ пулю за свою звѣзду, а также хотя бы и для того, чтобы не чувствовать чаду сальной свѣчки... Ты, отецъ, знаешь близко подобные примѣры...

— Не зналъ, не знаю и знать не хочу! — крикнулъ Бенедиктъ.

— Дядя Андрей... началъ Витольдъ немного дрожащимъ голосомъ.

Но Бенедиктъ снова остановился, какъ вкопанный.

— Тише!—крикнулъ онъ подавленнымъ шопотомъ.

Онъ быстро и съ тревогой оглянулся кругомъ, но по близости не было никого.

На губахъ Витольда появилась улыбка мучительной иронiи.

— Не бойся, отецъ, — медленно проговорилъ онъ,—никто не услыхалъ, что я съ уваженiемъ упомянулъ имя твоего брата!

Темный румянецъ покрылъ лицо Бенедикта отъ корней густыхъ сѣдѣющихъ волосъ до самаго воротника рубахи. Онъ смутился еще больше, чѣмъ тогда, когда Витольдъ замѣтилъ его унизительную покорность передъ кредиторомъ. Онъ смягчился и, стоя въ воротахъ ограды, отдѣлявшей экономическiй дворъ отъ чистаго двора усадьбы, началъ говорить:

— У всякаго въ молодости бываютъ свои мечты и теорiи, которымъ впослѣдствiи практика подрѣзываетъ крылья. Плетью обуха не перешибешь, а тѣ

люди, хоть бы ты ихъ и медомъ смазалъ, всегда будутъ лѣнивы и недоброжелательны...

— Что же будетъ въ такомъ случаѣ, если ихъ кормить перцемъ? — улыбнулся Витольдъ.

— А кой тамъ чортъ захочетъ ихъ перцемъ кормить! — вскричалъ Бенедиктъ со вспыхнувшимъ опять раздраженіемъ.

— Прежде всего,—началъ Витольдъ,—не мало перцу этого насыпано было имъ въ горшки еще въ прошломъ...

Онъ остановился и, обернувшись къ экономическому двору, указалъ на рабочія казармы.

— Вѣдь не думаешь же ты, отецъ, что человѣческая энергія и чувства могутъ только развиваться въ этихъ закопченныхъ и переполненныхъ избахъ? Ты только что упомянулъ о томъ, что у нихъ есть уголъ и мѣсячина... и въ дополненіе этого тридцать рублей въ годъ, которые уменьшаются при каждомъ поврежденіи машинъ, причиненномъ неумѣлой и неловкой рукой... Дѣйствительно, подобное положеніе можетъ возбуждать и развивать усердіе, стараніе, расположеніе...

— Въ такомъ случаѣ,—прервалъ его Бенедиктъ, вспыхивая,— поищи же средствъ на постройку для нихъ дворцовъ и на паштеты... потому что я самъ ни дворца себѣ не нажилъ, ни паштетовъ не ѣмъ... По одежкѣ протягивай ножки. Вотъ когда ты самъ возьмешь въ свои руки кусокъ мѣлу, да примешься кроить, примѣрять, наставлять и одинъ конецъ такъ притягивать къ другому, чтобы ихъ свести, да такъ, что тебя при этомъ потъ прошибетъ, тогда только ты и узнаешь, что такое практика и въ особенности жизнь при нашихъ условіяхъ... охъ, жизнь!

Онъ взглянулъ на сына искрившимися глазами.

— Хотѣлось бы мнѣ,—проговорилъ онъ немного тише,—хотѣлось бы мнѣ очень, чтобы ты, закончивъ свое образованіе и вернувшись домой, не нашелъ бы меня уже здѣсь... чтобы я тогда былъ уже тамъ, куда... то... того... давно ушелъ... того... Андрей. И для меня было бы лучше, и для тебя...

— Отецъ!—хотѣлъ прервать его Витольдъ перепуганнымъ голосомъ.

Но Бенедиктъ не далъ ему прервать себя.

— Да,—окончилъ онъ,—навѣрное было бы лучше... потому что, если бы у тебя была ко мнѣ привязанность...

— Ты сомнѣваешься въ ней, отецъ?..

— Сомнѣваюсь. Но такъ какъ ея нѣтъ... нѣтъ... ну, такъ если бы старая рухлядь сошла со сцены, то ты могъ бы самостоятельно управлять въ Корчинѣ и, нарядивъ мужиковъ пастушками, улегся бы вмѣстѣ съ ними надъ ручейкомъ и игралъ бы на свирѣли...

Проговоривъ эти слова, онъ засунулъ въ ротъ конецъ уса, наклонилъ голову, и, тяжело ступая, пошелъ быстрыми, широкими шагами къ дому. Витольдъ, какъ окаменѣлый, стоялъ въ воротахъ. Онъ былъ такъ взволнованъ, что рука его сильно дрожала, когда онъ поднесъ ее ко лбу.

Только черезъ нѣсколько минутъ молодой человѣкъ, лицо котораго имѣло теперь страдальческое выраженіе и было блѣднѣе, чѣмъ обыкновенно, вошелъ въ столовую, освѣщенную лампой, которая висѣла надъ накрытымъ къ ужину столомъ. Вокругъ стола уже сидѣло довольно многочисленное общество. За исключеніемъ Кирло, который былъ здѣсь уже нѣсколько часовъ и послѣ ужина собирался ѣхать, общество это состояло только изъ домашнихъ. Но се-

годня, что случалось очень рѣдко, къ столу вышла и пани Эмилія, на этотъ разъ довольно здоровая, въ хорошенькомъ лѣтнемъ капотѣ; рядомъ съ нею помѣстилась Тереза. Лѣвая рука ея висѣла на перевязи изъ бѣлаго платка, потому что она чувствовала ревматическую боль; въ концѣ стола Ожельскій съ блаженной улыбкой подставлялъ подъ свѣтъ лампы свои серебристые волосы, чтобы лучше присмотрѣться къ разставленнымъ на столѣ блюдамъ; около него сидѣла выпрямившись Леоня, съ хорошенькимъ желтоватымъ личикомъ; Кирло же въ бѣлоснѣжной рубашкѣ съ туго накрахмаленной грудью, принявъ съ умильной улыбкой изъ рукъ хозяина рюмку водки, помѣстился противъ Юстины съ такой поспѣшностью, точно онъ опасался, что кто-нибудь предупредитъ его и займетъ это мѣсто.

Съ нѣкотораго времени Кирло оказывалъ Юстинѣ вниманіе, граничившее съ заискиваніемъ, не направлялъ больше по ея адресу своихъ шутливыхъ и пренебрежительныхъ любезностей и не обращался съ веселыми насмѣшками къ ея отцу. Сидя теперь противъ нея, онъ, казалось, слѣдилъ не только за ея движеніями, но даже за взглядами. Съ завязанной на шеѣ салфеткой, закрывавшей ему всю грудь, уплетая съ аппетитомъ котлеты, онъ старался занять почти неумолкаемымъ разговоромъ не слишкомъ оживленное общество. Онъ говорилъ о Ружицѣ. Вообще Кирло упоминалъ объ этомъ родственникѣ свой жены очень часто и съ большимъ удовольствіемъ; можно было думать, что онъ гордится этимъ родствомъ. Впрочемъ, онъ и не скрывалъ этого. На этотъ разъ, впрочемъ, онъ говорилъ о Ружицѣ не только для того, чтобы похвалиться имъ, но и съ другой еще цѣлью.

— Ручаюсь,—говорилъ онъ,—что если бы ему перерѣзать жилу, то изъ нея потекла бы такая же голубая кровь... какъ, напримѣръ... какъ, напримѣръ, вода Нѣмана въ хорошую погоду.

— Тереза захихикала.

— Ай, право, вы всегда шутите! Кто же видѣлъ когда-нибудь голубую кровь.

— Такъ, милая Тереня, всегда говорятъ о хорошихъ старинныхъ родахъ, — мягко пояснила пани Эмилія.

Бенедиктъ заворчалъ:

— Превосходное сравненіе... потому что голубая ли тамъ кровь или не голубая, но что воды въ ней много, такъ это правда.

Витольдъ, сидѣвшій до сихъ поръ съ опущенными глазами и совсѣмъ не дотрогивавшійся до ѣды, поднялъ на отца свои глаза и долго глядѣлъ на его суровое и морщинистое лицо, наклонившееся надъ тарелкой.

— Однако, все же это, милостивый государь,— продолжалъ далѣе Кирло,—вещь пріятная... очень пріятная... происходить изъ такого рода. Положимъ, титула онъ не имѣетъ никакого... ни князь, ни графъ... но такой родъ, какъ его, равняется графскому, а, можетъ быть, и какому-нибудь захудалому княжескому... а какое родство... фью, фью! съ знатнѣйшими семьями... милостивый государь... родная тетка за княземъ...

Онъ взглянулъ на Юстину блестящими глазками и, замѣтивъ, что ей нужно соли, поспѣшно и подобострастно пододвинулъ ей солонку. Затѣмъ, накладывая себѣ на тарелку омлетъ съ вареньемъ, онъ снова продолжалъ:

— Славный этотъ Теофиль! Двадцать два года было ему, когда умеръ его отецъ... мать жива еще,

въ Римѣ живетъ и Богу молится... очень почтенная матрона... а ему было двадцать два года, когда онъ потерялъ отца и получилъ въ наслѣдство маленькое состояньице, крошечное, ни болѣе, ни менѣе, глубокоуважаемый, только такъ, что-то около милліона рублей, около одного, единственнаго милліончика рублей!..

— О, Боже!—простонала Тереза.

Ожельскій щелкнулъ языкомъ.

— Цаца состояньице... цаца...Если бы это... того... имѣть хоть десятую часть этого!

— Ага! разумѣется!—подхватилъ Кирло,—если бы это того... га! десятую часть... тысченокъ сотню... Но вы еще омлета не брали... пожалуста!

И онъ съ оттѣнкомъ прежней шутливости подалъ отцу Юстины блюдо.

— Теперь же,—продолжалъ онъ,— на тридцать первомъ году жизни Теофиль обладаетъ всего только тремястами тысячъ, потому что Воловщизна, считая даже по самой низкой цѣнѣ, навѣрное стоитъ еще тысячъ триста. Въ теченіе восьми или девяти лѣтъ, значитъ, мальчикъ пропустилъ больше шестисотъ тысячъ... шестьсотъ тысченокъ, въ теченіе восьми или девяти лѣтъ... А? какъ это вамъ понравится... молодецъ мальчикъ, а?

Онъ добродушно, искренно засмѣялся и обвелъ окружающихъ торжествующимъ взглядомъ. Колоссальность только что произнесенныхъ имъ цифръ восхищала обладателя крошечной Ольшинки и какъ будто возбуждала его гордость. Онъ пересталъ смѣяться и, прихлебывая съ видомъ знатока дешевое французское вино, которое появлялось за корчинскимъ столомъ только при гостяхъ, разсказывалъ о тѣхъ способахъ, какими были истрачены Теофилемъ

Кирло поцѣловалъ кончики пальцевъ, а Ожельскій, который когда-то проѣзжалъ черезъ Воловщизну и видѣлъ дворецъ, чмокнулъ ртомъ, полнымъ омлета.

— Цаца дворецъ... цаца!—вскричалъ онъ и началъ вертѣть пальцемъ на воздухѣ.

— Башеньки, балконы, зигзаги, завитушки... только, глядя на все это съ дороги, кажется, что все это сейчасъ... рухнетъ.

— Не рухнетъ! Дворецъ не рухнетъ, а реставрируется, освѣжится, отдѣлается, какъ только владѣлецъ пожелаетъ этого... а пожелаетъ онъ тогда, когда надумаетъ жениться. Но суть въ томъ, что въ Воловщизнѣ восемь фольварковъ съ прекрасной пахатной землей, а въ этихъ фольваркахъ, какъ у Христа за пазухой, всего полно: лѣса, пруды, огороды, молочное хозяйство, мельницы, двѣ винокурни... прежде какой-то еще заводъ былъ и приносилъ большой доходъ, а теперь хоть онъ и запущенъ, но можетъ снова подняться и станетъ опять приносить немало дохода. Все тамъ, по правдѣ сказать, запущено и разорено, но можетъ обновиться и поправиться, если только Теофиль захочетъ, а захочетъ онъ навѣрно тогда, когда женится; умная и энергичная женщина пріохотитъ его къ хозяйству и, конечно, сумѣетъ ласками, умомъ и тактомъ, удержать въ гнѣздышкѣ эту прихотливую птичку...

Такъ говорилъ Кирло, глядя съ полушутливымъ, полуискреннимъ восхищеніемъ на Юстину. Его хитрое и подобострастное лицо какъ будто говорило ей: „Ты достойна обожанія за то, что сумѣла остановить на себѣ взоръ его, а когда ты вступишь въ обладаніе этимъ огромнымъ, волшебнымъ счастіемъ, которое я тебѣ пророчу, будь снисходительна къ твоему покорному слугѣ!“ Впрочемъ, всѣ остальные,

кромѣ Бенедикта и Виттольда, тоже поглядывали на Юстину; во взглядахъ и улыбкахъ пани Эмиліи, Терезы, даже подростка Леони, которую разсказы Кирло заинтересовали и оживили, явно свѣтились восклицанія: „Удивительное, неожиданное счастье! Настоящее чудо, ниспосланное Провидѣніемъ бѣдной дѣвушкѣ!“ Пани Эмилія даже вслухъ выразила эту мысль.

— Панъ Ружицъ окажетъ истинную честь женщинѣ, которую выберетъ себѣ въ жены... такой родъ, состояніе...

— Ахъ, и такое сердце!—перебила ее Тереза.

— А дворецъ! ахъ, мамочка, дворецъ! Это лучше всего!—воскликнула, подпрыгнувъ на стулѣ, Леоня, которая такъ недавно еще горячо и безуспѣшно умоляла отца купить новую мебель и статуи для корчинской гостиной.

Юстина молчала въ теченіе всего ужина. Она не могла ни принять всѣ направленные на нее взгляды, улыбки и намеки, прямо обращенные къ ней, ни отвѣтить на нихъ. Она рѣдко подымала глаза, но каждый разъ, какъ она дѣлала это, въ нихъ свѣтился огонекъ обиды. Губы ея, полныя и пурпурныя, какъ спѣлыя вишни, складывались по временамъ гордо и презрительно. Неизвѣстно почему, но то, что другимъ казалось лестнымъ и почетнымъ, ее раздражало и оскорбляло. Всѣмъ, впрочемъ, было извѣстно, что преобладающимъ качествомъ ея характера была гордость. Но именно гордая женщина и должна была бы чувствовать себя счастливой по поводу подобной блестящей, уже наполовину одержанной побѣды и открывающейся предъ ней перспективы...

Бенедиктъ, который по своему обыкновенію ѣлъ много и долго, одинъ только разъ вставилъ въ разговоръ свое замѣчаніе и больше уже не вмѣшивался;

онъ понималъ хорошо, что всѣ эти разговоры относятся къ Юстинѣ. Когда онъ въ первый разъ услыхалъ отъ жены полный изумленія и восторга разсказъ о довольно вѣроятныхъ намѣреніяхъ Ружица относительно Юстины и о стараніяхъ, предпринимаемыхъ пани Кирло для осуществленія, онъ тоже удивился и обрадовался.

— Дай Богъ, — говорилъ онъ, — дай Богъ! Для бѣдной дѣвушки это партія блестящая и неожиданная... дѣйствительно неожиданная!

Но потомъ онъ мало думалъ объ этомъ. Хотя онъ желалъ, чтобы его родственница и воспитанница сдѣлала хорошую партію, но у него не было ни времени, ни охоты помочь ей въ этомъ. Раньше еще ему не разъ приходило въ голову, что если бы Юстина вышла замужъ, то онъ былъ бы поставленъ въ необходимость отдать ей ея пять тысячъ, помѣщенныя на ипотекѣ Корчина, и что это обстоятельство увеличило бы еще и безъ того затруднительныя обстоятельства. Теперь, за ужиномъ онъ подумалъ, что если она выйдетъ за Ружица, то избавитъ его отъ этого затрудненія, такъ какъ владѣлецъ Воловщизны не будетъ нуждаться въ немедленной уплатѣ этой маленькой суммы. Больше онъ объ этомъ совсѣмъ не думалъ, но, должно быть, болтовня Кирло, а въ особенности тонъ звучавшаго въ этой болтовнѣ униженнаго преклоненія предъ богатствомъ и предъ наслажденіемъ, пріобрѣтаемымъ за деньги, немного раздражали его. Впрочемъ, Кирло всегда злилъ его. А потому онъ поднялъ лицо отъ тарелки, вытеръ усы салфеткой, оперся руками объ столъ, какъ бы собираясь вставать, и проговорилъ:

— Все это очень хорошо, и я Ружица обижать не желаю. Онъ молодъ и можетъ еще поправиться,

потому что, какъ я слышалъ и самъ замѣтилъ, у него есть разсудокъ и доброе сердце... Но за прошлое я не могу его похвалить. Пропустить такое состояніе въ карты и на любовницъ—это недостойно. Такъ поступаютъ только негодяи...

— Бенедиктъ!—тихо прошептала пани Эмилія.

— Ну да,—энергично подтвердилъ Бенедиктъ, не глядя на жену.—Притомъ же такъ-таки рѣшительно ничего не дѣлать, какъ эти господа, это также, сказать по правдѣ, свинство. Человѣкъ, который, живя на свѣтѣ, ѣстъ хлѣбъ, не работая, течетъ ли въ его жилахъ голубая кровь, сѣрая или красная, все равно—есть только дармоѣдъ и ничего больше... Если же въ добавокъ онъ питается трюфелями и взамѣнъ этого для міра, который даетъ ему эти трюфели, не хочетъ и пальцемъ пошевелить, ну то я ужъ считаю его...

Но тутъ онъ что-то вспомнилъ, спохватился и окончилъ немного мягче:

— Но я не говорю этого, относительно Ружица... никого обижать я не хочу... можетъ быть, онъ самый прекрасный человѣкъ... только... эти крупныя богатства, которыми порождаются подобные фрукты, то... того... такъ...

Онъ, очевидно, хотѣлъ проглотить слова, которыя срывались у него съ языка, но не могъ справиться съ этимъ. Онъ махнулъ рукой и окончилъ:

— Чертъ бы ихъ побралъ всѣ эти большія состоянія!..

Онъ шумно отодвинулъ стулъ и всталъ изъ-за стола. Около него, точно вздохи, раздались тихіе стоны:

— Бенедиктъ! я не могу... о Боже мой... я не могу слышать подобныхъ выраженій... я... такихъ мнѣній... о такомъ человѣкѣ... не могу... я...

Пани Эмилія дѣлала усилія, желая подняться со стула и не могла. Въ горлѣ она чувствовала судороги, ноги подгибались подъ нею.

— Это что же такое? — спросилъ Бенедиктъ съ удивленіемъ.—Что случилось?

Но заботливый и сочувствующій Кирло подскочилъ уже къ хозяйкѣ и подавалъ ей руку съ одной стороны, въ то время какъ съ другой ее поддерживала Тереза. Такъ втроемъ прошли они во всю длину столовой, Бенедиктъ же, стоя, какъ вкопанный, провожалъ ихъ глазами.

— Во имя Отца и Сына... да чѣмъ же я ее обидѣлъ? Опять захвораетъ, что ли?

Но въ эту минуту двѣ гибкія руки схватили обѣ его руки, и горячія губы прильнули къ нимъ.

— Батюшка,—тихо проговорилъ Витольдъ,—поцѣлуй меня... прошу тебя!

Что-то удивительно радостное и растроганное промелькнуло въ мрачныхъ глазахъ Бенедикта, но онъ все-таки нахмурилъ брови.

— Что же? Можетъ быть, за то, что я сыгралъ на твоей дудкѣ, когда говорилъ объ этомъ баринѣ, ты удостоишь простить мнѣ мои вины?

Витольдъ, продолжая держать его руку въ своихъ, повторилъ:

— Поцѣлуй меня, батюшка!..

Онъ прикоснулся къ блѣдному печально склонявшемуся передъ нимъ лбу сына жесткимъ, но долгимъ поцѣлуемъ. Улыбка, но не веселая, а скорѣе горькая, пробѣжала по его губамъ подъ длинными усами.

— Горячая у тебя голова,—замѣтилъ онъ.

Но Витольдъ, можетъ быть, даже не разслышалъ этого двусмысленнаго замѣчанія. Слова, которыя

отецъ его произнесъ въ концѣ ужина, и его поцѣлуй возвратили ему всю его живость и веселье. Онъ схватилъ въ объятья Марту, которая прятала въ буфетъ и компотъ, и остатокъ вина, и нѣсколько разъ завертѣлъ ею, затѣмъ подъ аккомпаниментъ воркотни и кашля старой дѣвы, онъ подскочилъ къ стоявшей у окна Юстинѣ.

— Знаешь, Юстинка,—говоритъ онъ быстро и съ сверкающими глазами, стуча кулакомъ одной руки о другую,—этотъ Кирло, это тунеядецъ, лизоблюдъ, шутъ, поклонникъ золотого тельца, гиппоцентавръ, мастодонтъ, допотопное животное! Если бы я могъ, то я подобныхъ людей бралъ бы одной рукой вотъ такъ... за волосы, а другой за горло и трррахъ! шеи бы имъ сворачивалъ!

Юстина расхохоталась.

— Сдѣлай это сначала съ цыпленкомъ,—вскричала она,—и тогда я повѣрю, что ты могъ бы сдѣлать это съ Кирло:

— Честное слово!—грозился еще студентъ.—Потому что, видишь ли, это міровой тормазъ. Если бы не такіе, какъ онъ, то міръ ушелъ бы уже далеко... далеко... а вѣдь для насъ важно... ты, можетъ быть, понятія не имѣешь, какъ это намъ важно... для идеи... для человѣческаго достоинства, свободы... Я бы въ огонь бросился за это, и отъ родного отца могъ бы от...

Онъ удержался, не договорилъ и немного остылъ. Вдругъ онъ проницательно заглянулъ въ лицо кузины.

— Неужели ты, Юстинка, выйдешь за это дырявое сито?

Она снова разсмѣялась.

— У тебя такая манера спрашивать...

— Ты знаешь очень хорошо, о комъ я говорю... Ну, за того бумажнаго человѣка выйдешь, если онъ сдѣлаетъ тебѣ предложеніе?

Она пожала плечами.

— Милый мой,—отвѣчала она медленно,—развѣ я могу оттолкнуть отъ себя такое огромное, неожиданное, волшебное счастье... такую честь и милость? Самъ суди, возможно ли это!

Ему казалось, что онъ услышалъ въ ея голосѣ подавленный смѣхъ, но лицо ея было серьезно и сурово, а глаза необыкновенно блестѣли.

— Ахъ!—проговорилъ онъ,—съ женщинами никогда нельзя быть ни въ чемъ увѣреннымъ. Кажется, будто ты и разсудительна, а, можетъ быть, у тебя и вѣтеръ въ головѣ, почемъ я знаю? Бушменками васъ воспитываютъ, и вы готовы отдать все въ мірѣ, лишь бы васъ покрасивѣе раскрасить. Но покамѣстъ, пока ты еще не сдѣлалась важной барыней, пойдешь на Эльжусину свадьбу... знаешь? Марыня тоже будетъ тамъ; ужъ я это выпрошу у пани Кирло, лишь бы только заручиться покровительствомъ тети Марты, которую я тоже берусь уговорить...

Въ эту минуту какія-то маленькія ручки обхватили его руку, и полудѣтскій голосокъ, раздавшійся тутъ же рядомъ съ нимъ, вскричалъ:

— Витя, и меня возьмите на эту свадьбу... мнѣ о немъ Софья столько наговорила уже... она родственница жениха и приглашена... будутъ танцовать... и я хочу потанцовать!

— Съ величайшей охотой! — вскричалъ Витольдъ.—По крайней мѣрѣ, ты хоть разъ увидишь въ Корчинѣ, что-нибудь, кромѣ дома и сада!

—Не шути, Витя,—скрививъ хорошенькія, блѣдныя губки, жаловалась дѣвочка,—мнѣ такъ скучно...

скучно всегда сидѣть въ комнатѣ у мамы или постоянно ходить по этимъ аллеямъ въ саду...

— Посмотрите-ка, — проговорилъ насмѣшливо молодой человѣкъ,—едва отъ земли отросла, а уже ей скучно! Можетъ быть, ты уже и на нервы начинаешь жаловаться, моя ты... будущая бушменка!

Дѣвочка продолжала жаловаться:

— Разумѣется! Голова у меня часто болитъ! Знаешь, Витя, я ужъ предпочитаю пансіонъ, потому что тамъ хоть разнообразія больше... Все мое счастье здѣсь въ томъ, что я вышила туфли для тети Марты...

Тутъ ея личико, выдававшее малокровіе, прояснилось улыбкой настоящей дѣтской радости.

— Чудесныя туфли!—вскричала она.—Завтра я отдамъ ихъ тетѣ! То-то она будетъ рада! рада!

Она всплеснула руками, подпрыгнула, обняла брата и снова начала просить жалобнымъ голосомъ:

— Возьми меня, Витя, на эту свадьбу... мнѣ хочется потанцовать... Софья говоритъ, что тамъ будетъ весело... она готовитъ уже себѣ такое хорошенькое платье!..

Витольдъ задумался.

— Нужно просить позволенія у мамы...

— Попроси!—упрашивала дѣвочка.

— Почему же ты сама не хочешь?

Леоня испуганнымъ жестомъ сжала руки.

— Боюсь... не могу... еще огорчится и заболѣетъ... Мама всегда хвораетъ, какъ только ей что-нибудь не понравится... Тебѣ легче... ты умнѣе...

Часъ спустя Марта, съ трескомъ отворивъ дверь своей комнаты, влетѣла въ нее и, увидѣвъ сидѣвшую тамъ Юстину, начала кричать:

— Исторія! Честное слово, арабскія сказки! На свадьбу съ ними идти! Упрашиваетъ, обнимаетъ, цѣлуетъ... иди, тетя, съ нами на свадьбу въ Богатыровичи... иди, иди! И смѣхъ, и досада. Что этотъ мальчикъ выдумалъ? Старыя кости по свадьбамъ таскать! Вѣчный смѣхъ! И что я на этой свадьбѣ стану дѣлать? На что я тамъ нужна? Тьфу! Сгинь, нечистая сила! Ну и присталъ же! Уфъ! не могу! .

Точно ураганъ бѣгала она отъ кровати къ шкапу и опять отъ шкапа, и трудно было угадать, разсердило ли ее все это или разсмѣшило, потому что она смѣялась, бранилась, размахивала руками... Юстина, занятая шитьемъ при свѣтѣ лампы, стоявшей у открытаго окна, подняла дружескій взглядъ на свою старшую пріятельницу.

— А вѣдь тетя пойдетъ таки съ нами на эту свадьбу,—сказала она лукаво, подзадоривая ее.

— Вѣчный смѣхъ!—крикнула старая дѣва,—зачѣмъ я пойду туда? почему? для чего?

— Во-первыхъ, потому, что вы не можете никогда ни въ чемъ отказать Витольду, а, во-вторыхъ, потому, что вѣдь это же ваши старые знакомые, тетя!

Марта, какъ вкопанная, остановилась посреди комнаты; черные глаза ея засвѣтились сразу, какъ уголья, а потомъ потускнѣли, выдавая этимъ ея замѣшательство. Она забормотала гораздо тише прежняго:

— Старые знакомые: это правда... и когда-то добрые знакомые!.. Но когда это было! И... недолго это было! А теперь... зачѣмъ? не затѣмъ ли, чтобы людей пугать? Какъ выходецъ съ того свѣта появиться передъ ихъ глазами!.. Старые знакомые... но... узнаютъ ли они меня теперь? Узнаю ли я ихъ?.. Вѣчное горе!

Внезапно притихшая, немного сгорбившись, она усѣлась противъ Юстины по другую сторону стола и, впиваясь въ лицо пріятельницы разгорѣвшимся взглядомъ, какъ-то странно, какъ будто стыдливо, заговорила:

— Какъ же это было? Откуда это взялось? Зачѣмъ это сегодня прилетала сюда Фабіанова дочка, и куда это вы бѣгали вмѣстѣ, какъ ошпаренныя? А Витольдъ тоже былъ тамъ? Вѣчныя чудеса! Ужъ не собираетесь ли вы передѣлаться въ мужиковъ?

Это было такъ: въ этотъ день, еще задолго до захода солнца, когда Юстина послѣ двухчасового аккомпанированія отцу пришла въ эту комнату и глядѣла, какъ въ бездонную яму, на приближающійся вечеръ, не зная, чѣмъ его наполнить, въ растворенной двери появилась немного запыхавшаяся отъ быстрой ходьбы Эльжуся въ своемъ праздничномъ „бордовомъ“ платьѣ. Она остановилась, выпрямила свою коренастую фигурку, подняла вздернутый носикъ и заговорила:

— Принимаютъ здѣсь или не принимаютъ? Если принимаютъ, такъ добрый вечеръ! а если нѣтъ, то прощайте! Именно такъ! Я пришла попросить васъ, барышня, на свѣжій медъ...

Усѣвшись на стулѣ, который Юстина придвинула ей, она продолжала тараторить:

— Этотъ ротозѣй Юлекъ спорилъ со мною, что у меня не хватитъ смѣлости пойти на барскій дворъ, и сунулся съ совѣтомъ, чтобы я шла около флигеля и въ кухнѣ спросила, можно ли къ барышнѣ... но я не таковская! что это я собака, что ли, чтобы возлѣ кухни бродить? Именно такъ! Я пошла прямой дорогой, черезъ крыльцо въ сѣни, а тутъ ужъ не знала, куда идти, направо или налѣво?

Къ счастью, въ сѣни вошла панна Марта, такая суровая, но она, Эльжуся, ни чуточку не испугалась ея, потому что съ чего же стала бы она пугаться. Не пришла же она затѣмъ, чтобы украсть, и не собака же она, чтобы ее можно было выгнать! Именно такъ! А хоть бы и самого пана Корчинскаго встрѣтила, такъ и того не испугалась бы, хоть онъ и аристократъ. Но онъ самъ по себѣ, а она сама по себѣ. Живетъ у родного отца, чужого хлѣба не ѣстъ, и никто ни пугнуть ее, ни на смѣхъ поднять не имѣетъ права. Она только одного Бога боится, а послѣ Бога отца, а больше ужъ развѣ въ цѣломъ свѣтѣ не найдется такого человѣка, котораго она могла бы бояться.

Говоря все это, она съ любопытствомъ озирала стѣны и мебель комнаты.

— Ничего особеннаго,—замѣтила она,—въ нашей свѣтлицѣ, можетъ, еще и лучше. Внизу, это правда, что комнаты хорошія, но не такъ уже, чтобы слишкомъ, развѣ только то, что полы блестятъ, какъ стекло, а это очень красиво. Но что же тутъ удивительнаго, что у короля жена красавица! Именно такъ!

По правдѣ говоря, отецъ велѣлъ ей идти на барскій дворъ и попытаться, не захочетъ ли панна Юстина прійти къ нимъ въ хату.—„Ступай и какъ будто на медъ пригласи!“ Именно такъ! Кто съ нами вмѣстѣ работалъ, тотъ пусть съ нами и повеселится, кто нашей горечи попробовалъ, тотъ пусть и сладости отвѣдаетъ. Но она знаетъ хорошо, что у ея отца на умѣ. Она захихикала.

— Отецъ такой тщеславный, что онъ никакъ не можетъ перенести, чтобы вы бывали у сосѣдей, а у него нѣтъ. Сказать это, онъ никому ни за что не скажетъ, но знаю хорошо, что его это печалитъ...

а теперь еще и съ этой тяжбой, которую онъ затѣялъ съ паномъ Корчинскимъ, у него выходитъ большое огорченіе... Слышно, что въ мѣстечкѣ ему сказали, будто адвокатъ не подалъ во время аппелляцію, или что-то тамъ такое, и что все пропадетъ... Можетъ быть, отецъ думаетъ, что придется съ паномъ Корчинскимъ помириться и хочетъ заранѣе посредниковъ имѣть. Именно такъ!

Но и это еще не все. Эльжуся снова захихикала, покраснѣла, опустила на минуту глаза, но затѣмъ сейчасъ же храбро проговорила:

— А больше всего отецъ хочетъ выразить, что для насъ всѣхъ будетъ большимъ счастьемъ, если панна Юстина и панъ Витольдъ будутъ на моей свадьбѣ.

Когда онѣ были уже на дорогѣ между усадьбой и околицей, она сказала Юстинѣ, что сегодня къ нимъ пріѣхали женихъ со сватомъ. Сватомъ былъ Стажинскій, отчимъ Янка. Такимъ образомъ Юстина познакомится съ ея женихомъ.

— Молоденькій и очень миленькій, и такой послушный, точно вотъ ягненокъ.

Тонъ, какимъ она говорила это, ясно доказывалъ, что она была въ восторгѣ отъ своего жениха. Однако, она не забывала и о практической сторонѣ замужества. Ей очень нравилось, что у Франуся Ясмонта были хорошія лошади, цѣлыхъ шесть коровъ и порядочный кусокъ луга. Если бы еще отецъ могъ дать ей все приданое наличными! Да гдѣ ужъ! Только половину дастъ, а на другую векселя выдастъ. На эту тяжбу съ паномъ Корчинскимъ онъ ухлопалъ много, а для родного дитяти долженъ жаться. Чортъ бы ихъ побралъ, эти тяжбы!

Когда они входили въ усадьбу Фабіана, солнце разстилало по травѣ золотой коверъ и наполняло

множествомъ таинственныхъ подвижныхъ свѣтлыхъ пятенъ рощицу сливъ, въ которой торчало больше десятка старыхъ ульевъ, гудѣли пчелы, и во все горло заливались щеглы. За сливовой рощицей, полемъ созрѣвшаго овса и грядками овощей, по краямъ которыхъ пестрѣли кустистые флоксы и красныя георгины, повернувшись бокомъ къ огороду, а крылечкомъ къ маленькому дворику, стоялъ домъ, осѣненный серебристыми тополями, которые, казалось, обливали его крышу и единственную трубу безпрерывнымъ дождемъ серебряныхъ капель. Все здѣсь было почти такъ же, какъ и у Анзельма, и Яна, но только значительно тѣснѣе и блѣднѣе. Ульи были старой конструкціи и некрашенные, овинъ былъ невеликъ и весь кругомъ обросъ лѣсомъ бурьяну, стѣны дома немного покривились отъ старости, крыша мѣстами зеленѣла отъ мху, мѣстами же имѣла заплаты изъ желтой соломы. Изъ фруктовыхъ деревьевъ въ усадьбѣ, кромѣ сливовой рощицы, было только нѣсколько росшихъ кое-гдѣ почти одичавшихъ грушъ и яблонь.

При видѣ входившей въ усадьбу гостьи, со скамейки, стоявшей около искривленной стѣны дома, подъ двумя открытыми окнами съ мутными маленькими стеклами, очень степенно поднялись двое людей и двинулись впередъ очень церемоніальнымъ шагомъ. Мужчина, походившій на рыжикъ съ торчащими усами и блестящими глазами, одной рукой подбоченился, а въ другой держалъ потертую шапку. Женщина, тонкая, худая, въ короткой юбкѣ, допотопной развѣвающейся мантильѣ и „корнетѣ“, т. е. въ бѣломъ чепцѣ съ топорщившейся отдѣлкой, шла съ такими улыбками и ужимками, точно ей предстояло протанцовать менуэтъ. На тропинкѣ

между овсомъ и грядками свеклы Фабіанъ громко поцѣловалъ руку Юстины и сейчасъ же, подбоченясь уже обѣими руками, началъ:

— Я чрезвычайно радъ и необыкновенно благодаренъ за то, что вы удостоили меня чести, которой такъ часто пользуются мои сосѣди, потому что, хоть они и немножко богаче меня, но и я самъ себѣ господинъ и, не будучи важнымъ, могу быть уважаемымъ. Покорнѣйше прошу, сударыня, поближе, съ особеннымъ удовольствіемъ прошу!

Жена же его, складывая губы сердечкомъ, присѣдала и всунула въ протянутую ей руку Юстины свою костистую, загорѣвшую докрасна, жесткую отъ работы руку. Она была немного озабочена и очень занята тѣмъ, чтобы показаться не только приличной, но даже свѣтской и стоявшей нѣсколько выше того, что ее окружало; она повторяла за мужемъ:

— Прошу... съ особеннымъ удовольствіемъ прошу!

И, проходя по грядкамъ свеклы, она отбрасывала съ тропинки ногой, обутой въ толстый башмакъ, сухія вѣтки, по которымъ ступала Юстина.

— Насорено тутъ у насъ, — оправдывалась она, — извѣстно, какъ въ маленькомъ хозяйствѣ ... вы къ этому не привыкли, и я тоже когда-то жила иначе и имѣла другія привычки ... Я урожденная Гецолдовна, и отецъ мой никогда въ подобной усадьбѣ не живалъ, а всегда держалъ аренду ... Позднѣе ужъ, когда Господь не благословилъ, пошли пожары, падежи, такъ ему пришлось пойти въ экономы ...

Она вздохнула и подперла рукой худую щеку.

— И теперь еще сынъ моего родного брата, Юзефъ Гецолдъ, аренду держитъ ... можетъ вы слыхали? .. недалеко отъ Корчина... а другой Гецолдъ чиновникъ ...

Но мужъ перебилъ ее:

— У тебя, сударыня, вѣчно только одни Гецолды въ головѣ сидятъ! Пора бы уже представить уважаемой гостьѣ нашего будущего зятя. Франусь! панъ Францишекъ! пожалуйста сюда!

Со скамейки, стоящей подъ стѣной дома, поднялись два человѣка, изъ которыхъ одинъ имѣлъ, по меньшей мѣрѣ, странный видъ. Довольно высокій, совершенно одинаковой толщины съ головы до пятокъ, одѣтый въ зеленый, травяного цвѣта сюртукъ, съ краснымъ, добродушнымъ, смѣющимся лицомъ, онъ былъ похожъ на ровно обрѣзанный зеленый кустъ, на верхушкѣ котораго былъ воткнутъ піонъ. Другой былъ молоденькій двадцатидвухлѣтній парень, маленькій, худой, въ черномъ сюртукѣ, некрасивый, загорѣлый, немного глуповатый и очень кроткій.

— Стажинскій изъ Стажинъ, мужъ бывшей Богатыровичъ ... а это Эльжусинъ кавалеръ Францишекъ Ясмонтъ ... отрекомендовалъ ихъ Фабіанъ.

Эльжуся, которая до сихъ поръ тихонько шла за обществомъ, выскочила изъ-за спины отца и затораторила:

— Іисусе! Никакъ это панъ Стажинскій! а я думала, что это такой большой кустъ піона расцвѣлъ подъ нашими окнами!

Стажинскій провелъ взглядомъ по своему сюртуку и разсмѣялся глубочайшимъ басомъ такъ весело, что его толстыя щеки даже затряслись, а маленькіе глазки наполнились слезами.

— А это моя супруга такъ нарядила меня, — говорилъ онъ, не переставая смѣяться; — выткала сукно и велѣла его выкрасить въ зеленый цвѣтъ ... Я ей: „что ты, баба, умъ по дорогѣ потеряла?“ А она: „Ты, сударь, поблагодари еще меня, потому что зе-

леный цвѣтъ самый пріятный, надежду означаетъ ..." Что подѣлаешь? Вѣдь хоть старая, а романтическая! Все равно! Что бы человѣкъ ни надѣлъ, все ладно, было бы только чѣмъ ротъ набить.

Эльжуся шепнула на ухо Юстинѣ:

Кажется, будто и добрый, а самъ такой скупой, что упаси Господи! .. Въ кускѣ и себѣ и дѣтямъ отказываетъ, а въ комодѣ у него полная шкатулка ассигнацій ...

Однако, фигура и лицо Стажинскаго нисколько не свидѣтельствовали о томъ, чтобы онъ особенно отказывалъ себѣ въ каждомъ кускѣ.

Передъ скамейкой, у стѣны дома, на небольшомъ столикѣ стояла порядочныхъ размѣровъ миска, наполненная прекраснымъ, золотистымъ, только что вытекшимъ изъ сотовъ медомъ, а около нея лежалъ большой каравай ржаного хлѣба и широкій ножъ съ костяной ручкой.

Первымъ дѣломъ Эльжуси, по приходѣ домой, было снять башмаки. Теперь она бѣгала по травѣ босикомъ, отдавая приказанія жениху:

— Панъ Францишекъ, принесите стулъ для панны Юстины!

Парень въ одинъ мигъ бросился въ хату. Фабіанъ рѣзалъ хлѣбъ, нижняя корка котораго такъ же, какъ и у Анзельма была покрыта отчетливымъ рисункомъ кленовыхъ или липовыхъ листьевъ.

Минуты двѣ царило нѣсколько неловкое молчаніе, прерываемое только восклицаніями Эльжуси, которая посылала своего жениха то за особымъ блюдцемъ для Юстины, то за ложкой, то приказывала ему отогнать собаку, подбиравшуюся при видѣ хлѣба къ скамейкѣ: при этомъ она муштровала его и какъ будто подсмѣивалась надъ тѣмъ, что онъ ходитъ то

слишкомъ медленно, то неловко размѣщаетъ принесенные предметы, и все это выкрикивала громко, рѣшительно, улыбаясь, сверкая бѣлыми зубами и подымая съ видомъ превосходства свой вздернутый носикъ. Онъ же, безмолвный, покорный, неловкій отъ смущенія, исполнялъ всѣ ея приказанія и желанія, и каждый разъ, при взглядѣ на нее, отъ удивленія или влюбленности раскрывалъ ротъ и замиралъ неподвижно, какъ столбъ. Онъ даже еще не попробовалъ меду, до того гоняла его и муштровала Эльжуся. Зато всѣ остальные брали по очереди ножъ съ костяной ручкой, накладывая съ его помощью медъ на хлѣбъ и, откусивъ кусокъ, клали остальной ломоть на скамейку, медленно пережовывая, скрестивъ руки на груди или опустивъ ихъ на колѣни.

Фабіаниха разсказывала тягучимъ голосомъ, какая пасѣка была у ея отца Гецолда, когда онъ еще занимался арендой.

— Дни смѣняются ночами, а ночи — днями, — пѣла она, — такъ и я ... изъ такого довольства дошла до такого маленькаго хозяйства; какъ рабочая пчела трудилась я весь свой вѣкъ, и вотъ ... чего я добилась ...

— Ворчунья ты, сударыня, — сердито прервалъ ее Фабіанъ, — ко всякому пустяку придираешься, чтобы только ныть. Извѣстное дѣло; чѣмъ дряннѣе колесо, тѣмъ больше скрипитъ!

Стажинскій опять смѣялся до слезъ. Фабіанъ же вдругъ устремилъ взглядъ на тропинку, которая вела отъ воротъ черезъ садъ, началъ выпрямляться, всталъ со скамейки и подбоченился.

Его румяныя щеки задрожали отъ большого удовольствія, а пучекъ жесткихъ усовъ зашевелился.

— Радостный день у насъ сегодня! — громко вскричалъ онъ. — Уже другого почтеннаго гостя посылаетъ намъ Богъ! ..

Этимъ другимъ гостемъ былъ Витольдъ, который уже нѣсколько минутъ, незамѣченный никѣмъ, стоялъ за низенькой оградой, присматриваясь издали къ сидѣвшему на скамейкѣ обществу, пока непреодолимое желаніе приблизиться къ нему не потянуло его впередъ. Черный Марсъ бѣжалъ за нимъ. Подавая руку хозяину усадьбы, молодой Корчинскій извинялся за то, что онъ привелъ съ собой свою собаку. Но Фабіанъ съ необычайной привѣтливостью и размашистыми и низкими поклонами твердилъ:

— Это ничего! Это ничего! Съ большимъ удовольствіемъ привѣтствуемъ ... съ большимъ удовольствіемъ, вмѣстѣ съ собачкой, милости просимъ ... Развѣ это мѣшаетъ? Кто любитъ хозяина, тотъ и пса его гладитъ. Добрая собака лучше злого человѣка!

Онъ гладилъ по спинѣ спокойнаго понтера, а Фабіаниха, въ развѣвающейся мантильѣ, вставъ со скамейки передъ новымъ гостемъ, продѣлывала самые прекрасные изъ своихъ реверансовъ. Но ничто не могло осчастливить ее больше, чѣмъ то, что Витольдъ освѣдомился о ея здоровьи. Во-первыхъ, она усматривала въ этомъ глубокое вниманіе, а во-вторыхъ, это былъ прекрасный попутный вѣтеръ для ея парусовъ. Улыбаясь отъ радости, она начала все-таки жалобнымъ голосомъ:

— Скриплю ... всегда скриплю, но это скрипучее дерево два вѣка живетъ. Мы же съ вами не со вчерашняго дня знакомы ... вотъ такимъ еще маленькимъ бѣгали къ намъ, да и послѣ, пріѣзжая на каникулы къ мамашѣ съ папашей, навѣщали насъ

иногда ... Вы вѣдь знаете, отчего мое здоровье прахомъ пошло ... Надрывалась, воду на гору таскала ... эта кровавая вода больше всего меня погубила ... Притомъ же, не на то я родилась ... привычки въ началѣ у меня не было ... потому что вы же, вѣроятно, помните, что я урожденная Гецолдовна, дочь того самаго Гецолда, что арендами занимался ... Сынъ моего брата и теперь еще аренду держитъ, а другой чиновникъ ...

— Вотъ еще баба тараторка! — пробормоталъ Фабіанъ и, прерывая женину рѣчь, началъ распрашивать гостя о корчинской жатвѣ.

Стажинскій, который тоже зналъ съ дѣтства молодого Корчинскаго, вмѣшался въ разговоръ и завелъ рѣчь о хозяйствѣ, урожаяхъ и разныхъ почвахъ этой мѣстности, часто прерывая свой разговоръ басовымъ, добродушнымъ, безконечнымъ смѣхомъ.

Тѣмъ временемъ немного поодаль, за угломъ дома, Эльжуся совала жениху ложечкой въ ротъ по капелькѣ меду, а онъ за каждымъ разомъ, громко чмокая, цѣловалъ ея красную руку.

— Вы бы, панъ Францишекъ, перестали ужъ чмокать, а лучше бы поговорили со мной толкомъ,— скомандовала она.

Послушный, какъ машина, онъ сейчасъ же пересталъ цѣловать и вмѣсто этого они начали шептаться, то есть шептала она, онъ же только съ покорнымъ видомъ поддакивалъ всему, что она говорила.

Тутъ у досчатаго забора, раздѣлявшаго усадьбы Фабіана и Анзельма, что-то зашелестѣло. Это была Антолька, соскользнувшая съ верхушки забора на землю, оплачивая такимъ образомъ долгъ своей пріятельницѣ, навѣщавшей ее нерѣдко тѣмъ же самымъ путемъ, съ той однако разницей, что Эльжуся шле-

палась, подобно пухлой клецкѣ, Антолька же, тоненькая и легкая, слетала, какъ перышко. Она была одѣта въ домашнее платье, потому что день былъ будничный, и только у Фабіана, по поводу визита жениха, онъ сдѣлался праздничнымъ.

Замѣтивъ Юстину, она подняла обѣ руки къ головѣ.

— Ой, Боже мой, Боже мой!—вскричала она.— Вотъ Янекъ-то будетъ жалѣть, что его сегодня дома не было! За сѣномъ поѣхалъ на лугъ ... за двѣ мили отсюда ...

Это наивное восклицаніе дѣвушки покрыло пурпуромъ лицо Юстины, которой какъ разъ въ это время Фабіаниха разсказывала о самыхъ лучшихъ способахъ сушенія и мочки льна и, говоря о льнѣ, совершенно позабыла о Гецолдахъ. Витольдъ нагнулся къ уху Юстины.

— Чего-жъ ты такъ покраснѣла? — спросилъ онъ, шутливо поддразнивая ее.

Антолька, оробѣвшая при видѣ такого большого общества, подходила медленно. О, эта навѣрно не сумѣла бы приказывать жениху и муштровать его! Она была пуглива, кротка и обладала удивительно нѣжными формами тѣла и движеніями. Но и тотъ молодой человѣкъ, холщевой сюртукъ котораго мелькнулъ въ это мгновеніе прекраснѣйшимъ канареечнымъ цвѣтомъ въ воротахъ усадьбы, тоже не позволилъ бы никому помыкать собой. Онъ тоже ѣздилъ сегодня за сѣномъ на лугъ, расположенный въ двухъ миляхъ отсюда, который онъ арендовалъ совмѣстно съ нѣсколькими сосѣдями, но, возвратившись около часу тому назадъ, принарядился въ свой канареечный сюртукъ и поспѣшилъ туда, куда его влекло сердце. Можетъ быть, съ дороги онъ увидалъ свою возлю-

бленную, когда она перепрыгивала черезъ заборъ къ сосѣдямъ. Съ закрученными вверхъ усиками и остроконечной бородкой, въ высокихъ сапогахъ и щегольской шапочкѣ, онъ шелъ широкими смѣлыми шагами и когда дошелъ до сливовой рощицы, то спрятался за дерево, откуда немедленно раздалось на всю усадьбу громкое, изумительно вѣрное подражаніе пѣнію соловья.

— Ісусе! вскрикнула Антолька.

Вѣроятно, въ первый разъ въ мірѣ трели соловья до такой степени испугали молодую дѣвушку. Она не замѣтила подходившаго Михаила и очень испугалась, потому что это имѣло такой видъ, точно они раньше сговорились прійти сюда одновременно.

— Техъ, техъ, техъ!.. ля... ля... ля... ля!..—заливался соловей въ сливовой рощѣ.

Стажинскій держался за бока отъ смѣха. Фабіаниха хихикала. Эльжуся смѣялась во все горло, а женихъ послушно вторилъ ей. Наконецъ, щеголь вынырнулъ изъ рощи, а смущенная Антолька, напуская на себя дѣловитость, закричала:

— Богъ знаетъ, что вы выдумываете. Лучше бы вы сказали, скоро ли пріѣдетъ Янъ.

Онъ отвѣчалъ, что Янъ сегодня будетъ ночевать на лугу, потому что онъ не собралъ еще всего сѣна.

Витольдъ опять лукаво шепнулъ на ухо кузинѣ:

— Что же ты такъ опечалилась, Юстинка?

За минуту передъ тѣмъ она весело разговаривала съ дѣвушками, но отвѣтъ Михаила прервалъ ея разговоръ. Она снова покраснѣла и нѣсколько минутъ задумчиво смотрѣла на сапѣжанку, широко простиравшую свои вѣтви по ту сторону забора. Фабіанъ разспрашивалъ Михаила объ Адасѣ, кото-

рый тоже убиралъ сѣно на далекомъ арендуемомъ лугу и, по словамъ Михаила, долженъ былъ вернуться не раньше, какъ завтра вмѣстѣ съ Яномъ. Онъ, Михаилъ, раньше всѣхъ выкосилъ свое сѣно. Такъ умаялся, что у него еще и сейчасъ поясница трещитъ. Но что же дѣлать? Кому спѣшно, тотъ спѣшитъ! При послѣднихъ словахъ онъ взглянулъ на Антольку и ухарски поправилъ на шеѣ голубой платокъ, которымъ онъ, несмотря на трещавшую поясницу, не забылъ украсить себя.

Сидѣвшіе и стоявшіе вокругъ скамейки и миски, которая теперь вмѣсто меду наполнилась мухами, вели шумный разговоръ. Громче всего звучали въ немъ жалобы на недостатокъ луговъ и пастбищъ. Шутка ли ѣздить за двѣ мили за сѣномъ, и то, если бы еще на свои луга, а то на урендуемые! Они ужъ и клеверъ сѣютъ и всякія сорныя травы съ луговъ выпалываютъ, а все-таки большую нужду терпятъ. Впрочемъ, не только одно это гнететъ ихъ. Лицо Фабіана омрачилось и покрылось множествомъ морщинъ. Понемногу онъ терялъ заносчивость и ворчливо началъ изливаться:

— Пороговъ въ кабакѣ я не обивалъ и собакъ по дорогѣ не гонялъ, а что изъ этого? Только то и есть, что душа въ тѣлѣ держится, а даже хаты новой выстроить не на что...

Онъ махнулъ рукой по направленію усадьбы Анзельма.

— Тѣмъ хорошо! Земли имѣютъ больше двадцати морговъ и втроемъ только живутъ... а у меня и двадцати нѣтъ, а дѣтей пятеро. Что я подѣлаю съ сыновьями, когда всѣ повыростутъ и захотятъ жениться? Раньше, бывало, на службу шли, а иногда и добивались чего-нибудь, теперь-же и это трудно.

Аренду, если бы которую и могъ взять, то также трудно, потому что на большую не хватитъ, а мелкихъ по близости почти что и не видать... Однимъ словомъ, ни туда, ни сюда... Ни тебѣ направо, ни тебѣ налѣво... никакой дороги и никакого подсобія нѣтъ. Хоть сгинь, хоть до смерти убивайся надъ работой, а дѣлъ своихъ не поправишь никакъ!

— И земли прикупить,—отозвался Стажинскій,—если бы кто даже понатужившись и собрался съ деньгами, такъ все равно по другой причинѣ нельзя...

— А нельзя,—подтвердилъ Фабіанъ,—никуда и никакого ходу нѣтъ намъ; со всѣхъ сторонъ окружила насъ земля богачей, а мы едва по узкой тропиночкѣ можемъ пробраться...

Онъ впалъ въ элегическій тонъ и, по примѣру жены, которая давно уже, подперевъ лицо рукой, раскачивалась то взадъ, то впередъ, тоже опустилъ щеку на ладонь. Горькая улыбка пробѣжала по его губамъ, прикрытымъ жесткими усами.

— Объ одномъ сынѣ мнѣ ужъ нечего голову ломать... черезъ три мѣсяца пойдетъ въ солдаты, а хоть черезъ пять лѣтъ и вернется, то я уже къ тому времени безъ него, можетъ быть, потомъ изойду. Самый старшій, работящій, послушный, хоть и въ меня пошелъ, вспыльчивый. Второго послалъ мнѣ Господь болвана, который только на Нѣманѣ пахать и косить умѣетъ, а остальные два, тѣ еще молокососы... развѣ только лошадей пасти да боронить могутъ...

Изливъ такимъ образомъ всѣ свои жалобы, онъ снова почувствовалъ приливъ гордости и дерзости. Онъ поднялъ голову, очевидно, устыдившись временнаго упадка духа.

— Вотъ!—воскликнулъ онъ,—удача портитъ людей. Можетъ быть, Господь Богъ затѣмъ посылаетъ испытанія грѣшнымъ людямъ и отдаетъ ихъ въ пасть непріятеля, чтобы они не очень привязывались къ этой жизни и думали больше о жизни будущей...

— Терпѣніе приводитъ къ небу,—вставилъ Стажинскій.

— Убей меня Богъ, если я не думаю всегда того же самого!—вскричалъ Фабіанъ,—только, когда ужъ очень солоно придется, то не стерпишь, и самъ не знаешь, чего наговоришь...

— Кого Господь Богъ сотворилъ, того еще не уморилъ, и конецъ, и баста! — покручивая усы, сказалъ Михаилъ, который все время принималъ очень серьезное участіе въ разговорѣ, происходившемъ вокругъ скамейки, а къ Антолькѣ не подошелъ ни разу; очевидно, онъ стѣснялся присутствіемъ стольких людей, вѣроятно, заботился о томъ, чтобы дѣвушка не попала людямъ на языки.

Стажинскій, смѣясь басомъ, замѣтилъ, что Фабіанъ долженъ благодарить Господа Бога за старшихъ сыновей. Изъ младшихъ еще неизвѣстно, что выйдетъ, но оба старшіе честные и хорошіе ребята. Хоть онъ и не живетъ въ этой околицѣ, но слухомъ земля полнится. Видно было, что Фабіанъ чувствовалъ себя польщеннымъ похвалами, высказываемыми его сыновьямъ, но притворялся равнодушнымъ и даже недовольнымъ. Онъ презрительно потрясъ головой и махнулъ рукой.

— Атъ! необыкновенное утѣшеніе! одинъ неумный, другой болванъ, а оба дурни!

Вскорѣ послѣ этого онъ провожалъ размашистыми поклонами уходившихъ гостей и въ длинной рѣчи приглашалъ ихъ на свадьбу дочери. Когда онъ

кланялся многократно и низко, а вслѣдъ затѣмъ выпрямлялся и, подбоченившись, говорилъ о своей убогой хатѣ, а затѣмъ опять добавлялъ, что онъ объ этомъ не горюетъ, потому что онъ самъ себѣ господинъ и что, не будучи важнымъ, можно быть уважаемымъ, когда умильно и почти заискивающе смотрѣлъ молодому Корчинскому въ лицо, а при упоминаніи о тяжбѣ съ его отцомъ, которое неосторожно вырвалось у Михаила, оттопырилъ усы и грозно нахмурился, тогда въ немъ видна была натура, полная самыхъ противоположныхъ свойствъ, а именно: глубокаго почтенія къ высокому положенію въ свѣтѣ и заносчиваго сознанія собственной независимости, гордости, вспыльчивости и тонкой хитрости, забитости вслѣдствіе трудовъ и заботъ скудной жизни и проскальзывавшаго въ шуткахъ, поговоркахъ и притчахъ балагурства.

— Лазарь убогій, — говорилъ онъ, — воспѣвалъ покои богача: „полно креселъ и столовъ, стѣны тканями обиты“. Въ моей хатѣ нѣтъ такихъ прекрасныхъ покоевъ, ни золотыхъ матерій на стѣнахъ, но я объ этомъ не горюю! Даже передъ такими почетными гостями не постыжусь я своего убожества, если они придутъ пожелать счастья моей дочкѣ въ день ея свадьбы, но сочту себѣ это за большую честь и милость, потому что у всякой птицы своя пѣсня и въ маленькомъ горшкѣ вода такъ же закипаетъ ключемъ, какъ и въ большомъ.

Жена же его, тоже провожавшая гостей, танцовала въ это время по огороду свой менуэтъ, выгибаясь и присѣдая, при чемъ не забывала о Гецолдахъ.

— Юзефа, Гецолда жена, свахой будетъ на Эльжусиной свадьбѣ, Стажинскій сватомъ, а панна Юстина

первой дружкой въ парѣ съ Казиміромъ Ясмонтомъ, котораго Франусь пригласилъ первымъ шаферомъ...

Она всплеснула худыми руками и отъ большого удовольствія выполнила какое-то антраша.

— Должно быть, самъ Господь послалъ моей Эльжусѣ такое особенное счастье, что у нея будутъ столь почетные гости.

А Эльжуся, срывая для Юстины флоксы, приказывала жениху сорвать самую лучшую георгину.

— Не та!—кричала она,—вонъ та, большая такая, красная!.. Развѣ Францишекъ слѣпой, что не видитъ, куда ему пальцемъ указываютъ? Эй! Францишекъ, вѣрно, такъ умѣетъ цвѣты рвать, какъ медвѣдь танцовать!

— Но зато, можетъ быть, въ любви окажется проворнѣе! — загремѣлъ хохотъ Стажинскаго.

Когда Юстина и Витольдъ подъ блѣднѣющимъ вечернимъ небомъ, при оглушительномъ чириканіи полевыхъ кузнечиковъ, прерываемомъ рѣзкими криками коростелей и мелодичнымъ боемъ перепеловъ, возвращались домой, молодой человѣкъ, заинтересовавшійся, со свойственнымъ ему увлеченіемъ, участью, характеромъ и обычаями людей, только что оставленныхъ имъ, въ первый разъ заговорилъ со своей кузиной о мысляхъ и цѣляхъ, которымъ онъ обѣщалъ посвятить свою собственную будущность.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ Юстина, можетъ быть, не поняла бы его или слушала бы все это равнодушно, какъ слишкомъ отдаленное, недоступное и не могущее вызвать въ душѣ ея откликъ или участіе. Теперь же идеи, долетавшіе къ ней изъ далекаго міра, изъ пылавшихъ любовью сердецъ и трудящихся человѣческихъ умовъ, изъ ежедневнаго дыханія человѣчества, бились объ ея грудь сво-

ими горячими крыльями и яркими лучами пронизывали ея мозгъ. Ей казалось, что все то, что говорилъ ей Витольдъ по дорогѣ между усадьбой Фабіана и корчинскимъ дворомъ, невидимой нитью связано съ тѣмъ часомъ, который она провела на могилѣ. Всѣ ея отрывочныя наблюденія и впечатлѣнія начали складываться въ одну цѣльную форму чувствъ и мыслей. Обо всемъ этомъ она глубоко задумалась теперь. Разсказавъ Мартѣ обо всемъ, о чемъ та хотѣла знать, и потушивъ лампу, тихо и одиноко стояла она у открытаго окна, глядя на звѣздную ночь и ловя любопытнымъ, а, можетъ быть, и тоскующимъ слухомъ послѣдній шорохъ окружающей Корчинъ жизни природы и людей.

На другой день передъ полуднемъ, въ полуоткрытую дверь комнаты Марты и Юстины заглянула хорошенькая завитая головка Леони.

— Тетя здѣсь?—зазвенѣлъ смѣющійся голосокъ.

— Здѣсь, моя кошечка, здѣсь?—отозвался изъ комнаты грубый, но обрадованный голосъ. — А чего хочешь, дѣточка? Можетъ быть, котлеточку или варениковъ съ черникой? Уже готовы... превосходные!..

Дѣвочка вошла, въ платьицѣ, покрытомъ складками и оборками, выпрямившись, съ торжественнымъ видомъ и въ то же время улыбаясь всѣмъ своимъ хорошенькимъ, бойкимъ, малокровнымъ личикомъ. Она несла въ рукахъ два куска канвы, покрытыхъ вышитыми шерстью розами и завитушками.

— Туфли собственной работы для моей дорогой тети, которыя прошу принять въ знакъ... знакъ... моей...

Она, очевидно, собиралась сказать что-то очень замысловатое и длинное, но увидѣвъ, что лицо Марты начинаетъ такъ дергаться, какъ будто его

во многихъ мѣстахъ сразу кусали комары, она не окончила, но, однимъ прыжкомъ бросившись на грудь старой дѣвы, обвила ея шею своими тоненькими ручками и покрыла поцѣлуями ея вздрагивающее темное, морщинистое лицо, которое теперь стало маленькимъ.

Это былъ пустякъ, однако Марта смѣялась и плакала вмѣстѣ, подымала дѣвочку на руки, прижимала ее къ своей груди и, кашляя, повторяла то громко, то шопотомъ безконечное множество разъ:

— Кошечка ты моя!.. дѣточка... птичка!.. рыбка!

Потомъ, нѣсколько успокоившись, она стала разсматривать туфли, расхваливала ихъ и примѣрила къ своей большой ногѣ; она вся сіяла счастьемъ, которое произвело въ ней удивительную перемѣну, сдѣлавъ ее какъ будто моложе, легче, мягче. Наконецъ, она снова предложила Леонѣ варениковъ съ черникой. Но дѣвочка кружилась по комнатѣ, подскакивая на одной ножкѣ съ быстротой и легкостью металлическаго волчка, при чемъ хлопала въ ладоши и напѣвала:

— Мама ужъ встала и пьетъ какао... Витя пошелъ уже просить, чтобы она позволила мнѣ пойти на свадьбу съ нимъ, съ тетей и Юстинкой... Пошелъ... пошелъ... пошелъ просить.

Тутъ дверь со стукомъ отворилась и на порогѣ показалась молодая, расфранченная горничная, которая сказала:

— Барыня заболѣла и проситъ къ себѣ панну Марту!

Марта съ быстротой молніи сбѣжала по лѣстницѣ; за ней сходила Леоня испуганная, опечаленная и опять такъ же выпрямившись. Черезъ сѣни широкими шагами шелъ Бедениктъ, отчаянно дергая усы

и поспѣшно спрашивая у попадавшихся ему навстрѣчу:

— Что случилось? Опять захворала? За докторомъ нужно посылать?

На порогѣ залы онъ разминулся съ сыномъ, который посреди сѣней схватилъ Леоню за руку.

— Бушменкой сдѣлаютъ тебя! Ей Богу бушменкой!—закричалъ Витольдъ голосомъ полнымъ негодованія и помчался въ глубину дома.

Въ спальнѣ пани Эмиліи происходили ужасныя вещи, важнѣйшей, но не единственной причиной которыхъ былъ сегодняшній разговоръ матери съ сыномъ. Еще вчера, послѣ выходки Бенедикта за ужиномъ, она легла въ постель съ сердцебіеніемъ и удушьемъ. Ночью ее по временамъ схватывали легкія желудочныя спазмы, которыя она успокаивала лекарствами и громкимъ чтеніемъ Терезы, продолжавшимся почти до восхода солнца. Когда въ домѣ и вокругъ него все пришло уже въ движеніе и приготовлялось къ занятіямъ трудового лѣтняго дня, она уснула.

Незадолго до полудня она, немного оправившаяся, но не вполнѣ свободная отъ грустныхъ предчувствій, улеглась на пунцовый chaise longue, окутанная бѣлоснѣжными волнами пенюара, съ чашкой укрѣпляющаго какао, съ одной стороны и съ начатой вчера книжкой и тоже недавно начатой работой изъ шерти—съ другой. Тутъ же около нея Тереза, рука которой покоилась на перевязи, пила кофе, потому что какао было ей вредно; она присоединила къ разсказу о сегодняшнемъ снѣ сообщеніе о предчувствуемой зубной боли, противъ которой она уже употребила одно лѣкарство, а другое какъ разъ приготовляла въ то время, когда въ полуотворенную дверь будуара заглянулъ Витольдъ и попросилъ позволенія войти.

Пани Эмилія не только позволила сыну войти, но, когда онъ цѣловалъ ея руку, она нѣсколько разъ поцѣловала его въ лобъ и, мягкимъ движеніемъ потянувъ его къ ближайшему стулу, начала медленно разсказывать ему съ терпѣливой и грустной улыбкой о сегодняшней дурно проведенной ночи и вообще о своемъ утомленіи и нервномъ разстройствѣ.

Это продолжалось добрую четверть часа, послѣ чего Витольдъ высказалъ просьбу, съ которой онъ пришелъ сюда. Пани Эмилія сразу совершенно не поняла, чего хотѣлъ сынъ, и была увѣрена, что не разслышала его словъ.

— Гдѣ? Чья свадьба? Куда поѣдетъ Леоня? — спрашивала она тихо и кротко. — Извини меня, Витя, но я такъ ослабѣла... у меня отъ слабости шумъ въ ушахъ...

Когда она, наконецъ, вполнѣ поняла слова сына, то сперва остолбенѣла отъ изумленія, а потомъ рѣшительно возстала противъ его просьбы. Рѣшимость эта была тихая, мягкая, но непреклонная. Впрочемъ, все это дѣло представлялось ей такимъ неслыханнымъ, что она даже не считала нужнымъ приводить причинъ своего несогласія.

— Я, — говорила она тихо и мягко, — не могу согласиться на подобное чудачество... Мнѣ очень прискорбно, Витя, что я должна тебѣ отказать, но я мать, и воспитаніе Леони составляетъ мою священную обязанность... Когда вы опустите меня въ могилу, тогда вы можете поступать съ ней, какъ хотите, но пока я жива, моя дочь не можетъ бывать въ неподходящемъ для нея обществѣ, портить себѣ манеры и смотрѣть на вещи, которыхъ она не должна никогда видѣть.

— Напротивъ, мама, она должна все видѣть и слышать, чтобы знать этотъ міръ, въ которомъ придется же ей жить, — прервалъ Витольдъ настолько терпѣливо, какъ только могъ, послѣ чего онъ еще въ теченіе нѣсколькихъ минутъ самымъ тихимъ голосомъ старался убѣдить мать въ необходимости предоставить Леонѣ побольше физическаго движенія, полезнаго для ея здоровья, а для ея ума — побольше свѣдѣній о природѣ и людяхъ, среди которыхъ предстоитъ ей провести всю ея жизнь.

Несмотря, однако, на сдержанность, съ которой онъ говорилъ, нѣкоторыя изъ его словъ больно задѣли пани Эмилію. Она приняла ихъ за намекъ на собственную болѣзненность и безполезность. Итакъ, вмѣсто сочувствія она встрѣчала со стороны сына только осужденіе и неодобреніе! Однако она любила этого сына. Въ дѣтствѣ она ласкала его больше, чѣмъ дочь, и не позволяла ему только шумѣть около себя, когда же онъ подросъ, она не разъ съ удовольствіемъ любовалась его стройной фигурой и тонкими чертами, которыя трогательно напоминали ей Бенедикта, какимъ онъ былъ въ молодости, и какимъ увы! онъ такъ скоро и безвозвратно пересталъ быть. Чувство горечи къ сыну, который не могъ ни любить, ни понимать ее, закипѣло у нея въ груди и наполнило слезами ея темные прекрасные, страдальческіе глаза. Но, несмотря на это, ни одно слово гнѣва или обиды не сорвалось съ ея губъ. Съ выраженіемъ мученицы, покорной своей участи, выслушала она все, что говорилъ Витольдъ, и только тогда, когда онъ, убѣдившись въ непреклонности материнскаго сопротивленія, цѣловалъ на прощаніе ея руку, она почувствовала возобновившіяся и на этотъ разъ ужасныя спазмы желудка.

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ этого она металась на chaise longue въ непритворныхъ и мучительныхъ страданіяхъ. Грозная истерія приняла сегодня эту форму, чтобы пронзить бѣдную страдалицу своимъ жаломъ. Къ несчастью, Тереза, со своей безпомощной рукой и еще болѣе разболѣвшимися отъ огорченія зубами, не могла придти ей на помощь. Къ одному платку, на которомъ висѣла ея рука, она прибавила другой, которымъ обвязала себѣ лицо и, скорчившись въ углу комнаты, плакала надъ страданіями пріятельницы и своей неспособностью ей помочь; она плакала, напрасно стараясь подавить слезы салициломъ и морфіемъ. Позвали горничную, пришлось еще позвать Марту: въ суету, которая поднялась около больной, вмѣшалась и Леоня. Несмотря на все это, пани Эмилія долго не чувствовала облегченія, главнымъ образомъ потому, что ее раздражали и волновали тяжелая поступь Марты и ея громкое дыханіе. Она ничѣмъ не выражала этого раздраженія, но ея страданія успокаивались гораздо медленнѣе, чѣмъ тогда, когда около нея легко, какъ птичка, порхала и щебетала Тереза. Напрасно Марта, стараясь какъ можно тише ступать на кончикахъ пальцевъ, раскачивалась своей тяжелой высокой фигурой; напрасно она сдерживала дыханье и почти задыхалась отъ подавляемаго кашля: даже самый ея шопотъ, грубый и свистящій, раздражалъ нервы больной. Она отлично замѣчала это, и огорченіе покрыло ея лицо выраженіемъ мучительнаго страданія.

— Никогда не могла я ей угодить и не могу, — тихо, какъ ей казалось, шепнула она Терезѣ и съ глубокимъ упрекомъ по адресу самой себѣ прибавила: — не понимаю, честное слово, зачѣмъ я живу и для чего хлѣбъ ѣмъ! Вѣчное несчастье!

Однако за докторомъ не пришлось посылать. Бенедиктъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ, проведенныхъ въ комнатѣ жены, вошелъ въ свой кабинетъ и уже брался за шапку, чтобы отправиться въ поле, когда чрезъ отворенную дверь увидѣлъ въ другой комнатѣ сына.

— Витольдъ! — закричалъ онъ. — Чудесно ты поступилъ! Разстроилъ мать, которая теперь захворала по твоей милости. Можетъ быть, это тоже входитъ въ ваши теоріи: затѣвать споры съ бабами и доводить ихъ до нервныхъ припадковъ?

— Дѣло шло о сестрѣ, — тише обыкновеннаго проговорилъ юноша, медленно подымаясь со стула и положивъ на столъ книгу, которую онъ перелистывалъ.

Бенедиктъ перешагнулъ черезъ порогъ, раздѣлявшій обѣ комнаты.

— Мать была совершенно права, — началъ онъ, — Леоню вовсе незачѣмъ таскать по разнымъ мужицкимъ собраніямъ и свадьбамъ. Я даже не понимаю, откуда пришло тебѣ въ голову мучить мать своими идиллическими затѣями?

Витольдъ молчалъ. Онъ заложилъ руки за спину, опустилъ глаза и крѣпко стиснулъ зубы.

— Почему же ты не отвѣчаешь? — бросилъ Бенедиктъ, котораго молчаніе сына раздражало.

Не сразу и съ видимой неохотой Витольдъ отвѣчалъ:

— Я думалъ о томъ, отецъ, почему ты никогда, ни въ дѣтствѣ, ни когда я подросъ, не запрещалъ мнѣ этихъ идилліи?... Напротивъ... не разъ даже самъ склонялъ меня къ нимъ?

— Фантазія! Ужъ не принимаешь ли ты меня за круглаго дурака, чтобы я сталъ обертывать маль-

чика въ пухъ и заставлялъ его жить въ заоблачныхъ краяхъ? Но Леоня дѣвочка, а что мальчику полезно, то дѣвочкѣ можетъ оказаться вреднымъ. Ты, вѣрно, и въ этомъ не согласенъ со мной? что?

Витольдъ молчалъ. На лицѣ его Бенедиктъ въ первый разъ замѣтилъ что-то въ родѣ озлобленія, обнаруживавшаго упорную рѣшимость молчать.

— Что жъ? — проговорилъ онъ. — Ты, кажется, даже не считаешь меня достойнымъ разговора съ тобой?

Не подымая глазъ, молодой человѣкъ отвѣчалъ:

— Позволь мнѣ молчать, отецъ, и такимъ образомъ не обижать ни тебя, ни себя.

— Не обижать! — повторилъ Бенедиктъ. — Ты правъ! Не новыхъ обидъ ждалъ я отъ тебя, но скорѣе, скорѣе забвенія тѣхъ... которыя...

Онъ махнулъ рукой.

— Ну, что тамъ, — прибавилъ онъ, — такъ ужъ все на свѣтѣ! На кого Богъ, на того и люди! Пусть еще и это!...

Онъ порывистымъ движеніемъ нахлобучилъ шапку на голову и вышелъ.

Витольдъ долго стоялъ на одномъ мѣстѣ, глядя въ землю и почти до крови прикусивъ губу. Но, услыхавъ топотъ коня передъ крыльцомъ, онъ быстро подошелъ къ окну и не отходилъ до тѣхъ поръ, пока уѣзжающій отецъ не скрылся у него изъ глазъ на дорогѣ, длинной полосой тянувшейся за воротами. Онъ долго ходилъ въ глубокой задумчивости по пустой столовой, борясь съ собственными чувствами; наконецъ, перешелъ черезъ сѣни и залъ, и, остановившись на порогѣ будуара матери, взялся за ручку двери. Съ минуту стоялъ онъ еще колеблющійся въ нерѣшительной позѣ,

затѣмъ тихонько пріотворилъ дверь, но едва голова его показалась въ полутемной комнатѣ, какъ всѣ, находившіеся въ ней, кромѣ пани Эмиліи, вдругъ замахали на него руками. Только что за минуту передъ тѣмъ больная немного успокоилась и какъ-будто задремала. Увидавъ заглядывавшаго въ комнату Витольда, Марта, Тереза, Леоня и горничная въ глубочайшемъ молчаніи и въ высшей степени перепуганныя, стали дѣлать ему знаки, которые должны были означать, чтобы онъ поскорѣй уходилъ и не прерывалъ отдыха больной.

Онъ ушелъ, а черезъ нѣсколько минутъ видно было, какъ онъ съ ружьемъ за спиной и съ торчавшей изъ кармана книжкой уходилъ въ сопровожденіи чернаго Марса по направленію къ Ольшинкѣ.

Никогда еще Бенедиктъ не казался такимъ мрачнымъ и обозленнымъ, какъ въ это лѣто, когда на голову его свалилась новая матеріальная забота, а на сердце глубокая и неожиданная печаль. Эта печаль, казалось, выростала съ каждымъ днемъ. Отношенія его съ сыномъ, повидимому, казались хорошими, но они были таковыми только по внѣшности. Они ходили вмѣстѣ по корчинскимъ полямъ, толковали объ агрономіи, которой интересовался когда-то Бенедиктъ, а теперь Витольдъ, но оба чувствовали, что эти отношенія были совершенно поверхностными, души же ихъ все болѣе и болѣе отдалялись одна отъ другой. Съ того самаго вечера, когда Бенедиктъ, стоя въ воротахъ экономическаго двора, бросилъ сыну горькія слова о желаніи поскорѣе умереть, Витольдъ замкнулся въ непоколебимомъ молчаніи относительно всего, что не имѣло связи съ самыми обыденными дѣлами. Онъ охотно разгова-

ривалъ съ отцомъ о ежедневныхъ и безразличныхъ вещахъ, поспѣшно хватался за каждый случай, чтобы помочь ему въ работѣ или оказать какую-либо услугу, но объ убѣжденіяхъ своихъ, о томъ, что ему нравилось или не нравилось, а также о собственной своей будущности, онъ уже не говорилъ съ нимъ никогда. Каждый разъ, какъ онъ предвидѣлъ, что нѣчто подобное можетъ случиться, на лицѣ его появлялось то самое выраженіе упорной рѣшимости, которое уже однажды такъ чувствительно задѣло отца.

Бенедикта раздражало это тихое упорство и съ каждымъ днемъ огорчало все больше и больше. Онъ предпочелъ бы уже открытыя, даже жаркія схватки этой упорной замкнутости юноши, порывистую откровенность котораго онъ зналъ хорошо, почему и объяснялъ эту искусственную скрытность разными все болѣе уязвлявшими его причинами. Бывало, что въ теченіе ряда дней они, казалось, взаимно избѣгали другъ друга и почти совсѣмъ не встрѣчались, но бывали также случаи, когда они, повидимому, не имѣя намѣренія искать другъ друга, встрѣчались, однако, на каждомъ шагу, вмѣстѣ шли на прогулку и вели длинные разговоры. Впрочемъ въ этихъ разговорахъ каждый искренній звукъ, каждая попытка признанія или откровенности быстро обрывались, уступая мѣсто, съ одной стороны, тайному, а съ другой—прорывавшемуся въ горькихъ и порывистыхъ словахъ раздраженію.

Въ одинъ изъ такихъ дней они провели почти цѣлый часъ, просматривая вмѣстѣ научныя книги Витольда, изъ которыхъ молодой человѣкъ черпалъ темы для разсказовъ отцу о разныхъ новыхъ работахъ, выполняемыхъ на бѣломъ свѣтѣ въ области агрономіи.

— Чортъ побери! — вскричалъ Бенедиктъ. — Когда я подумаю теперь, что и я когда-то читалъ столько же книжекъ и всякую мудрость глоталъ, то самъ себѣ не могу надивиться. Теперь же я до того отвыкъ, что какъ только возьму что-нибудь печатное въ руки, такъ сейчасъ же и засыпаю...

И онъ глядѣлъ на привезенное сыномъ изъ школы въ дѣйствительности очень небольшое собраніе книгъ такими изумленными и почти перепуганными глазами, что Витольдъ весело расхохотался; потомъ что-то такое, не то жалость, не то состраданіе, наполнило его глаза. Онъ взялъ руку отца и прижалъ ее къ губамъ.

— Витя, — проговорилъ Корчинскій немного неувѣреннымъ голосомъ, — у меня къ тебѣ есть просьба!

— У тебя, отецъ, ко мнѣ? Просьба! Прикажи только!

Дѣйствительно, видно было по немъ, что въ эту минуту онъ готовъ былъ броситься въ огонь или помчаться на край свѣта.

Наматывая на палецъ длинный усъ и не глядя въ лицо сыну, Бенедиктъ началъ говорить:

— Черезъ три недѣли ты уѣзжаешь изъ Корчина... Нужно же, чтобы ты сдѣлалъ прощальный визитъ теткѣ. Ну, вотъ, ты же знаешь хорошо, какая у меня забота съ этимъ долгомъ Дажецкимъ... Если бы ты поѣхалъ къ нимъ и попросилъ тетку о продолженіи срока или о разсрочкѣ уплаты на нѣсколько лѣтъ... Приласкайся къ теткѣ, расположи ее къ себѣ... Имѣя только однѣхъ дочерей, она страстно любитъ сыновей своихъ братьевъ, и Сигизмундъ, когда былъ за границей, тянулъ съ нея сколько хотѣлъ... Можетъ быть, она и для тебя сдѣлала

бы это снисхожденіе... Правда, Дажецкій самъ занимается дѣлами, но она имѣетъ на него большое вліяніе, и притомъ вѣдь это человѣкъ тщеславный, который за одинъ низкій поклонъ, за одинъ поцѣлуй руки много можетъ сдѣлать... Что жъ? Сдѣлаешь ты это для меня, Витя?

Тяжелой тучей покрылось прояснившееся передъ тѣмъ лицо молодого человѣка. Онъ молчалъ. Бенедиктъ немного подозрительно, немного стыдливо взглянулъ на него.

— Что же? Сдѣлаешь ли то, о чемъ я тебя прошу? — спросилъ онъ уже рѣзче.

— Нѣтъ, отецъ... очень больно мнѣ это... но нѣтъ... — глухо отвѣчалъ Витольдъ.

— Почему? Объясни же, по крайней мѣрѣ!...

— Позволь мнѣ, отецъ, молчать!

— Опять! — крикнулъ Бенедиктъ, и лицо его отъ волосъ до самой шеи залилось кровью.

Онъ хотѣлъ что-то говорить, но долго не могъ произнести ни слова, пока, наконецъ, отодвигая съ шумомъ стулъ, не вскричалъ:

— Хорошо. Будемъ молчать оба. Ты хочешь быть мнѣ чужимъ? Замыкаешься предо мной, какъ передъ врагомъ? Будь же такъ добръ считать меня съ этого времени за своего знакомаго, который только тѣмъ отличается отъ всѣхъ прочихъ, что ты получишь послѣ него наслѣдство!

На этотъ разъ Витольдъ, очень блѣдный, дрожалъ всѣмъ тѣломъ, а изъ глазъ его сыпались искры. Онъ сперва сдѣлалъ такое движеніе, точно хотѣлъ броситься за уходившимъ отцомъ и, взамѣнъ незаслуженно полученнаго оскорбленія, разразиться градомъ горькихъ упрековъ. Но онъ не сдѣлалъ этого. Что-то приказывало ему сдержаться и скорѣе вынести

все, чѣмъ разорвать окончательно связующій его съ отцомъ узелъ. Онъ только упалъ на стулъ и, схватившись обѣими руками за голову, вскричалъ:

— Ужасъ! Ужасъ! Никогда не понимать другъ друга! Заколдованный кругъ!

Они легче могли бы понять другъ друга, если бы оба не были такими горячими и вспыльчивыми; если бы прежде всего то безпрерывное раздраженіе, въ которомъ болѣе двадцати лѣтъ пребывалъ отецъ, не перешло путемъ наслѣдства и какъ бы прививки въ кровь и нервы сына. Въ крови обоихъ кипѣли горькимъ кипяткомъ, съ одной стороны, пережитыя, а съ другой — видѣнныя и понятыя страданія.

Однажды, впрочемъ, вскорѣ послѣ окончанія жатвы, Бенедиктъ возвращаясь домой изъ сосѣдняго мѣстечка, сидѣлъ на бричкѣ съ такимъ бодрымъ и прояснившимся видомъ, какого давно уже никто у него не видалъ. Не обращая вниманія даже на ворчаніе сидѣвшаго на козлахъ конюха, онъ хитро улыбался самому себѣ и, что случалось чрезвычайно рѣдко, закручивалъ свой усъ кверху, вмѣсто того, чтобы дергать его внизъ.

Уже въѣзжая во дворъ, онъ увидѣлъ отъѣзжавшій отъ крыльца и остановившійся немного въ сторонѣ, въ тѣни яворовъ, изящный экипажъ, запряженный четверкой прекрасныхъ лошадей съ ливрейнымъ кучеромъ; на крыльцѣ же стоялъ только что пріѣхавшій въ этомъ экипажѣ Сигизмундъ. Выскакивая изъ своего пароконнаго тряскаго экипажа, выкрашеннаго въ желтую краску, Бенедиктъ любезнѣе обыкновеннаго поздоровался съ племянникомъ.

— Ты пріѣхалъ сегодня въ счастливый для меня день, Сигизмундъ! Я такъ доволенъ, точно сто тысячъ выигралъ!

Сигизмундъ молча шелъ за дядей вглубь дома, а Бенедиктъ, очутившись въ своемъ кабинетѣ, снялъ полотняный плащъ, бросилъ на стулъ шапку и вынулъ изъ кармана сюртука какое-то письмо.

Это было письмо, полученное имъ въ мѣстечкѣ отъ адвоката, которому Бенедиктъ поручилъ вести дѣло съ Богатыровичами и который увѣдомлялъ его, что такъ какъ противная сторона пропустила срокъ подачи апелляціи въ высшую инстанцію, то, стало быть, онъ выигралъ процессъ, съ присужденной ему въ первой инстанціи значительной суммой въ вознагражденіе за издержки по веденію дѣла. Хлопая письмомъ о ладонь и расхаживая широкими шагами по комнатѣ, Бенедиктъ говорилъ:

— На своемъ поставилъ! И проиграли! И имъ придется еще опорожнить карманы! Для нихъ это громадная сумма, но и для меня тоже не мало значитъ... въ особенности теперь. Вотъ подымутъ крикъ! Но я не подарю! Ей Богу, ни гроша не подарю! Если добровольно не отдадутъ, судебнымъ порядкомъ вытребую!... Лошади, коровы, рухлядь хотя бы даже подушки, все съ молотка продамъ, а свое получу! Пускай не начинаютъ! И мнѣ вѣдь тоже этотъ процессъ стоилъ, не столько, разумѣется, но все же стоилъ. А утомленіе и непріятности развѣ не считаются? Для нихъ это прекрасный урокъ, а для меня такія денежки... фью, фью... на дорогѣ не валяются!

Повѣренный спрашивалъ въ письмѣ долженъ ли онъ хлопотать о томъ, чтобы произвести взысканіе съ Богатыровической околицы присужденныхъ ему судомъ издержекъ. А какъ же! Разумѣется. Сію минуту онъ отвѣтитъ ему, чтобы онъ усиленно, самымъ усиленнымъ образомъ хлопоталъ объ этомъ. Онъ

намѣренъ взыскать слѣдуемую ему сумму, взыскать, не обращая вниманія ни на что. Онъ даже не допуститъ никакой отсрочки, строго держась только буквы закона, а если они не отдадутъ добровольно и скоро, то онъ произведетъ продажу съ молотка, все, до нитки съ молотка!... да!

— Ступай-ка ты на какіе-нибудь полчасика къ бабамъ, а я сейчасъ напишу этотъ отвѣтъ... Почта отходитъ изъ мѣстечка сегодня вечеромъ, нужно сейчасъ же отослать съ нарочнымъ, чтобы не опоздать...

Добрый десятокъ лѣтъ уже, намѣреваясь писать какое-либо письмо, онъ собирался долго и неохотно; сегодня же онъ уже сидѣлъ предъ письменнымъ столомъ, вынималъ изъ ящика бумагу и потиралъ руки. Очевидно, теперь въ подобныхъ случаяхъ у него внутри уже ничего не плакало, какъ это бывало раньше.

Сигизмундъ, какъ всегда немного чопорный и напоминавшій собою картинку изъ моднаго журнала, прошелъ со шляпой въ рукахъ чрезъ пустую столовую, но послѣ краткаго колебанія, вмѣсто того, чтобы пойти въ комнаты пани Эмиліи, направилъ свои шаги къ лѣстницѣ, которая вела наверхъ. Домъ этотъ онъ зналъ съ дѣтства, а его колебаніе было вызвано мыслью, что на верху жила не одна Юстина, но также и Марта. Въ это время онъ увидалъ чрезъ окно, что старая дѣва съ ключами и въ сопровожденіи дворовой дѣвки шла къ отдаленнымъ постройкамъ. Дверь въ комнату пани Эмиліи была, по обыкновенію, плотно закрыта, зала совершенно пуста, сверху доносились звуки скрипки. Онъ поднялся по лѣстницѣ; въ узкомъ и полутемномъ коридорчикѣ его обдали волной звуки музыки Ожель-

скаго; онъ открылъ дверь комнаты, въ которой онъ въ дѣтствѣ и юношествѣ своемъ бывалъ довольно часто. Тогда въ ней жила Марта; теперь онъ зналъ очень хорошо, что можетъ найти тамъ Юстину.

При видѣ входившаго, молодая дѣвушка, сидѣвшая у открытаго окна, поднялась со стула, при чемъ работа, которую она держала въ рукахъ, — какой-то бѣлый платокъ съ одной уже вышитой буквой, — выпала у нея изъ рукъ на столъ. Она слегка поблѣднѣла, потомъ покраснѣла и, едва дотронувшись кончиками пальцевъ до руки, которую Сигизмундъ протягивалъ ей, устремивъ на нее упорный взглядъ, спросила сдержаннымъ голосомъ:

— Чему я должна приписать, кузенъ, твое появленіе... въ моей комнатѣ?

Онъ, вмѣсто отвѣта, глядѣлъ на нее еще упорнѣе и съ шутливой нѣжностью проговорилъ:

— Негостепріимная! Даже не попроситъ меня сѣсть!

— Напротивъ, садись, пожалуйста, кузенъ!

Она пододвинула ему стулъ, а сама усѣлась на прежнемъ мѣстѣ, повидимому, равнодушная, но немного сдвинувъ брови и съ мелькавшей гдѣ-то въ глубинѣ зрачковъ тревогой. Онъ сѣлъ такъ, что кончикъ его ноги, обутой въ носокъ тѣлеснаго цвѣта и блестящій открытый ботинокъ, почти дотрагивался до ея платья. Онъ взглянулъ въ открытое окно.

— Довольно живописный видъ... — началъ онъ.

— Ты давно знаешь его, кузенъ,—замѣтила она, продолжая вышивать и равнодушно опустивъ на работу глаза.

— Изъ чего я долженъ заключить, — подхватилъ Сигизмундъ, — что мнѣ совсѣмъ незачѣмъ любоваться имъ въ окно твоей комнаты. Ты, однако,

любезна, кузина. Впрочемъ, отчасти ты права: я не обладаю даромъ восхищаться видами родной природы, можетъ быть, потому, что сильное впечатлѣніе можетъ производить на меня только то, что ново, оригинально, неожиданно... Какъ же можно сравнить такой, какъ, напримѣръ, вотъ этотъ хорошенькій ландшафтикъ, съ величественными захватывающими духъ картинами природы...

Здѣсь онъ съ очевиднымъ даромъ слова, началъ изысканно и образно говорить о Рейнѣ, Дунаѣ, Альпахъ, озерахъ Швейцаріи, Адріатическомъ морѣ... Можетъ быть, у него было отчасти намѣреніе подѣйствовать на слуховые органы слушательницы, потому что онъ придавалъ своему голосу мягкія, музыкальныя модуляціи; но видно было также и то, что все, о чемъ онъ разсказывалъ, когда-то возбуждало въ немъ искренній восторгъ, а теперь доставляло ему одну только тоску. Во время разсказа онъ, не отрываясь, глядѣлъ на склонившуюся надъ работой голову Юстины. Взоръ его скользилъ по ея синевато-черной лоснящейся косѣ, по чистымъ линіямъ смуглаго лба, по опущеннымъ, обрамленнымъ бахромой черныхъ рѣсницъ, вѣкамъ, пока не впился въ пунцовыя, полныя, совершенно спокойныя въ эту минуту губы, а съ нихъ спустился на ея станъ, свѣжія и сильныя формы котораго обрисовались подъ темнымъ лифомъ, въ то время, какъ ея грудь подымалась медленнымъ и глубокимъ дыханіемъ.

Рѣчь его въ это время замедлялась; нѣсколько разъ онъ запинался, дотрагивался рукой до лба и наконецъ, прервавъ разсказъ на половинѣ фразы, тихо проговорилъ съ румянцемъ, внезапно вспыхнувшимъ на его блѣдныхъ щекахъ:

— Надѣюсь, ты не думаешь, кузина, что я пришелъ сюда съ цѣлью разсказывать тебѣ о сушѣ и водахъ этого міра...

Она, не измѣняя позы, подняла на него глаза.

— Когда ты входилъ сюда, то я именно спросила тебя о причинѣ...

— Причина вотъ какая: я хотѣлъ спросить у тебя, правда ли, что Ружицъ ухаживаетъ за тобой, и дѣйствительно ли ты имѣешь... вообще... намѣреніе выйти за этого, теперь уже во всѣхъ отношеніяхъ захудавшаго, милліонера?

Онъ говорилъ поспѣшно и немного свистящимъ голосомъ. Она опустила руки съ работой на колѣни и подняла голову.

— Если ты скажешь мнѣ, кузенъ, по какому праву ты спрашиваешь у меня объ этомъ, то я отвѣчу на твой вопросъ.

Онъ, очевидно, сдерживаясь, снова спросилъ:

— А ты сама не догадываешься объ этомъ правѣ, или... или не признаешь его?

— Не догадываюсь, — отвѣтила она.

Онъ наклонился и хотѣлъ взять ее за руку, но она отодвинула свой стулъ и скрестила руки на груди.

— Это самое святое изъ всѣхъ правъ на землѣ... право любви! — вскричалъ онъ.

Юстина быстро поднялась со стула и, отодвигаясь еще дальше къ окну, вскричала:

— Пожалуйста, кузенъ, о, пожалуйста, уходи отсюда!

Но онъ тоже поднялся и стоялъ около нея.

— Не пугайся, Юстина, не пугайся ничего... Та любовь, о которой ты не хочешь ничего слышать, такъ чиста, такъ высока, такъ идеальна, что не можетъ

оскорблять тебя... Я знаю хорошо, что ты можешь мнѣ сказать... Я самъ добровольно утратилъ то, чего теперь жажду всѣми силами моей души... Но прости мнѣ минуту слабости... Припомни то стихотвореніе, которое мы оба такъ любили: „Ils ont péché, mais le ciel est un don; ils ont aimé, c'est le sceau du pardon!“ Будь великодушна и возврати мнѣ свое сердце, свою пріязнь, свое довѣріе... свою душу!... Я ничего больше не хочу, никогда больше ничего отъ тебя не потребую, только душу твою, Юстина!

И, произнося послѣднія слова, онъ съ разгорѣвшимися глазами схватилъ уже обѣ ея руки.

По ея лицу пробѣгала ироническая дрожь. Выдернувъ отъ него свои руки, она спросила:

— Развѣ это моя душа, Сигизмундъ? Эти мои руки, которыя ты хочешь держать въ своихъ, развѣ это моя душа?

Затѣмъ, скрестивъ снова руки на груди, она начала:

— Хорошо, я скажу все, и пусть этому будетъ положенъ конецъ разъ навсегда. Я любила тебя, кузенъ, до такой степени, что, несмотря на годы твоего отсутствія, даже когда ты женился на другой, я все еще не могла равнодушно слышать твой голосъ, и при каждомъ твоемъ приближеніи я чувствовала, что все возвращается... все, все мое прошлое возвращается ко мнѣ! Боже! какъ я страдала! Когда ты пріѣзжалъ въ Корчинъ, я не хотѣла видѣть тебя и не разъ, какъ сумасшедшая, бѣжала на берегъ рѣки... съ мыслью, что лучше смерть, чѣмъ такая борьба и такая тревога...

— Юстина! Юстина! — бросился къ ней Сигизмундъ съ новой вспышкой.

Но она отстранила его повелительнымъ жестомъ и продолжала.

— Какія мученія! Я столько жалѣла о томъ, что когда-то составляло для меня величайшее счастье, сколько боялась... ахъ, какъ боялась какой-нибудь дурной минуты... какой-нибудь ужасной минуты... въ которую я бы сама... которая бы... которая бы меня толкнула къ окончательному паденію... Я не хотѣла падать... да, кузенъ, хотя я была страшно унижена, хотя и ты, и другіе сдѣлали все, что вы только могли сдѣлать, чтобы мнѣ доказать мою незначительность, мое ничтожество... я все еще была горда... даже больше, именно тогда-то я сдѣлалась горда и начала бояться того, что казалось мнѣ послѣднимъ глубочайшимъ униженіемъ. Гордость, кузенъ, моя женская, или, можетъ, быть, просто человѣческая, гордость отталкивала меня тогда отъ тебя, защищала отъ тебя, выгоняя меня изъ дому, когда ты пріѣзжалъ!... хватило ли бы мнѣ ея навсегда?... О, навѣрно, навѣрно! Но я нашла еще и другую болѣе сильную поддержку! Тогда, помнишь? Когда ты говорилъ со мной при гостяхъ... твоя жена смотрѣла на меня, на тебя, и ея глаза наполнились слезами. Что сдѣлала мнѣ эта женщина, чтобы она должна была плакать по моей винѣ? Я не хочу, чтобы кто-нибудь плакалъ изъ-за меня. Тогда-то, кузенъ, я испугалась уже не только униженія и стыда, но подлости. Между мной и тобой стали слезы, которыя я увидѣла въ глазахъ твоей жены. Между мной и тобой стала моя совѣсть.

Она говорила все это, обернувшись къ нему профилемъ и глядя не на него, а въ открытое окно. Признанія, которыя она дѣлала, стыдили и смущали ее.

Онъ же въ этомъ смущеніи, даже въ самыхъ воспоминаніяхъ ея о пережитыхъ по его винѣ страданіяхъ черпалъ надежду и смѣлость. Стоя тутъ около нея, онъ нѣжно и мечтательно шепталъ ей почти на ухо:

— Возможно ли, чтобы Юстина, моя прежняя мечтательная, поэтическая Юстина, придавала такое значеніе свѣтскимъ правиламъ и предразсудкамъ, или суевѣрнымъ побужденіямъ?... Слезы Клотильды? Но, увѣряю тебя, что quand même я сумѣю утѣшить ее! Совѣсть? Вещь относительная! Одна для натуръ рабскихъ и низменныхъ, а другая — для высшихъ и независимыхъ. Самое святое право на землѣ есть любовь; высшая добродѣтель состоитъ въ томъ, чтобы брать и давать счастье!...

Она хотѣла перебить его, но онъ, увлеченный и не теряющій надежды на побѣду, говорилъ, или, вѣрнѣе, продолжалъ шептать:

— Я страшно несчастливъ... мнѣ кажется, что все во мнѣ замерло. У меня нѣтъ ничего, что побуждало бы меня къ жизни; я не могу творить. Ты одна можешь воскресить меня и возвратить меня къ счастью, къ жизни, къ искусству... Уйди изъ этого дома, живи въ Осовцахъ... теперь я самъ хозяинъ. Моя мать сдѣлаетъ все для меня, Клотильда—ребенокъ, котораго можно утѣшить игрушками и ослѣпить мелкой монетой нѣжности... Мы будемъ жить вмѣстѣ, неразлучные... не бойся! Никогда не оскорблю, никогда не позволю я себя унизить тебя чѣмъ-нибудь! Ты будешь только моей музой, моимъ вдохновеніемъ, подругой и сестрой моей одинокой души... Что намъ за дѣло до того, что станетъ думать грязный и подозрительный свѣтъ о томъ, что ты будешь рядомъ со мной, когда мы

будемъ пребывать въ странѣ идеаловъ, выше и чище всего свѣта?...

У него захватило духъ, его глаза искрились, и лобъ покрылся влагой; онъ хотѣлъ взглянуть ей въ глаза и уже дотронулся до ея таліи рукой. Но она гибкимъ и возмущеннымъ движеніемъ отбѣжала отъ него на нѣсколько шаговъ и съ блѣднымъ, какъ лежавшій на столѣ платокъ, лицомъ проговорила сквозь судорожно стиснутые зубы:

— Онъ, она и третья! Совершенно такъ, какъ во французскихъ романахъ, которыхъ мы вмѣстѣ когда-то прочли такъ много...

И вдругъ со вспыхнувшимъ негодованіемъ она вскричала:

— За кого же ты меня считаешь, кузенъ? О чемъ ты говорилъ? Но ты, должно быть, и самъ не понимаешь этого! Какъ! У кого-то ни въ чемъ не повиннаго, у кого-то, кто не сдѣлалъ намъ ничего дурного, отнять то, что для него составляетъ счастье, честь, можетъ быть, жизнь; ежедневно, ежечасно, ежеминутно лгать и обманывать: вѣчно носить маску, чувствуя подъ ней грязь и пятна... Боже! И ты посмѣлъ предложить мнѣ подобную жизнь!... По какому праву! Что я тебѣ сдѣлала? Какъ ты смѣлъ? О! Какое счастье, что я ужъ не люблю тебя! Да нѣтъ же! Если бы я даже еще и любила тебя, если бы я даже любила тебя какъ прежде, то въ эту минуту я разлюбила бы... отъ гнѣва, отъ оскорбленія, отъ отвращенія!...

Теперь, когда она дрожала и мяла въ рукѣ лежавшій на столѣ платокъ, когда грудь ея быстро вздымалась, а глаза, въ которыхъ одновременно сверкали молніи и слезы, свѣтились, какъ два черныхъ брилліанта, по ея блѣдному лицу можно было видѣть,

что въ жилахъ у нея течетъ не розовая водица, а горячая, бурная, гордая кровь. Никогда не казалась она Сигизмунду такой прекрасной! Съ восторгомъ, съ жадностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ и съ чувствомъ обиженности, глядѣлъ онъ на нее.

— Я думалъ, что любовь все очищаетъ и освящаетъ... началъ онъ,

Но она прервала его:

— Измѣни названіе, кузенъ, измѣни названіе... это не любовь, а...

Она на минутку замялась; стыдъ облилъ румянцемъ ея лицо, но она снова начала:

— Это романъ... имъ полны французскія книжки, полна имъ и жизнь... О, мнѣ знакомо это, давно знакомо. Онъ былъ проклятіемъ моего дѣтства, когда онъ убивалъ мою мать и отымалъ уваженіе къ отцу... Я замѣчала его и позже между людьми, и всегда онъ начинался отъ звѣздъ, чтобы окончиться въ грязи. О! музы, родственныя души, чистыя чувства... страна идеаловъ... Боже! сколько словъ! сколько прекрасныхъ поэтическихъ словъ! Или вы, употребляя ихъ, лжете, или обманываете ими самихъ себя? Но вся эта поэзія составляетъ только вступленіе къ огромной прозѣ... Любовь оправдываетъ и освящаетъ все! Можетъ-быть, и оправдываетъ, но ничуть не то, что прячется въ землю и стыдится самого себя. Ты сказалъ, что права любви самыя священныя изъ всѣхъ правъ на свѣтѣ. О, да, но о какой любви думалъ ты, образованный человѣкъ и художникъ, когда говорилъ это? Не о той, навѣрное, не о той, мерцаніе которой я съ давнихъ поръ почувствовала въ себѣ... Ступай на могилу отца, кузенъ... ступай на могилу отца!

Она вдругъ оборвала. Очевидно, она не хотѣла высказать вполнѣ свои мысли. Сигизмундъ стоялъ передъ нею съ опущеннымъ лицомъ и стиснутыми зубами.

— Ты, какъ философъ! — бросилъ онъ, — резонерствуешь, взвѣшиваешь, разсуждаешь, анализируешь...

— Нѣтъ, — отвѣчала она, — я даже не имѣю яснаго представленія о философіи; а этой способностью резонировать и анализировать я обязана прежде всего тебѣ, кузенъ...

Онъ съ изумленіемъ и недовѣрчивостью смотрѣлъ на нее.

— Но вѣдь это не можетъ быть! Ты, Юстина, такая прежде пылкая, поэтическая, ты сдѣлалась вдругъ такой холодной, полной предразсудковъ, низменной! Нѣтъ! Ты хочешь насильно подавить свое чувство! Ты горда и хочешь сама предъ собой сыграть роль героини.

Она пожала плечами и уже холодно возразила:

— Ты сказалъ, что оба мы возвышенныя и независимыя натуры. Прошу тебя, кузенъ, измѣнить свое мнѣніе обо мнѣ. Увѣряю тебя, что я женщина совершенно обыкновенная и вполнѣ подчиняющаяся правиламъ совершенно обычной честности. Вотъ и все!

— Все! И ты не скажешь мнѣ больше ничего? ничего? ничего?

— Напротивъ, — поспѣшно отвѣчала она, — даже необходимо, чтобы я сказала тебѣ рѣшительно и разъ навсегда, что отъ того чувства, которое когда-то я питала къ тебѣ, у меня не осталось ровно ничего, кромѣ, впрочемъ, обыкновеннаго доброжелательства, которое я питаю ко всѣмъ вообще лю-

дямъ, и что предметъ моихъ мечтаній и мыслей составляетъ что-то или кто-то... а, можетъ, одновременно что-то и кто-то, не имѣющій ничего общаго съ тобой...

— Вѣроятно, Ружицъ и les beaux restes его милліоновъ, — саркастически проговорилъ Сигизмундъ.

— Можетъ быть, — отвѣчала она.

Смущенный, оскорбленный, разочарованный, онъ съ минуту все еще не могъ оторвать отъ нея взгляда. Затѣмъ, взявъ со стула шляпу, онъ отвѣсилъ ей издали церемонный поклонъ и вышелъ изъ комнаты,

Солнце уже зашло, когда красивый экипажъ съ грохотомъ вкатился подъ открытый и вымощенный подъѣздъ Осовецкаго дома. При этомъ звукѣ у вдовы Корчинской задрожали руки, въ которыхъ она держала книгу. Сидя въ одномъ изъ креселъ, окружающихъ большой столъ съ книгами и журналами, она подняла голову, опустила вѣки и со спокойнымъ лицомъ ждала сына.

Въ залѣ нижняго этажа Клотильда играла на роялли. Одновременно съ грохотомъ колесъ у крыльца музыка ея оборвалась, затѣмъ снова послышалась и снова умолкла, а потомъ, наконецъ, снова загремѣла бурно, безсвязно, иногда жалобно, иногда бравурно... Это была игра существа дрожащаго, безпокойнаго, иногда почти невмѣняемаго. Она прекратилась въ ту минуту, когда Сигизмундъ входилъ къ матери. Чувствовалось, что разговоръ, который долженъ былъ произойти наверху, наполнялъ мучительной тревогой и болью то дитя, которое тамъ, въ нижнемъ этажѣ этого большого дома, играло съ бѣглостью шаловливой ученицы знаменитыхъ учителей.

Когда онъ входилъ въ комнату матери, то съ перваго взгляда, брошеннаго на его лицо, можно было

узнать, что по дорогѣ изъ Корчина въ Осовцы его осаждали протестующія мысли, подъ впечатлѣніемъ которыхъ онъ принялъ какое-то твердое рѣшеніе. Кромѣ скуки и брезгливости лицо его выражало окончательное рѣшеніе какого-то вопроса. Онъ поцѣловалъ руку матери и, усаживаясь противъ нея, началъ:

— Викентій сказалъ мнѣ, что ты хочешь видѣть меня сейчасъ же послѣ моего возвращенія, а я тоже, возвращаясь въ этотъ прекрасный вечеръ изъ Корчина, рѣшилъ серьезно поговорить съ тобой о вещахъ, которыя имѣютъ для меня большое, громадное значеніе...

Она взглянула на него, и въ ея глазахъ мелькнуло безпокойство.

— Я слушаю, говори! Можетъ быть, наши мысли сошлись, и мы желаемъ говорить объ одномъ и томъ же предметѣ.

— Сомнѣваюсь, — отвѣчалъ онъ, — я даже увѣренъ, что тебѣ никогда и въ голову не приходило то, что я сегодня хочу предложить тебѣ, или, вѣрнѣе, о чемъ хочу усиленно просить тебя.

Онъ нѣжно и умильно улыбнулся матери и, нагнувшись, снова поцѣловалъ покоившуюся на черномъ платьѣ прекрасную бѣлую руку.

— Parions — пошутилъ онъ, — что ты будешь очень изумлена моимъ предложеніемъ... даже возмущена. ... Oh, comme je te connais, ma petite chère maman!.. Но, обдумавъ и серьезно разсудивъ, можетъ быть. ...

— Я слушаю тебя, повторила она, и ея прекрасные глаза, въ которыхъ слезы и печаль погасили блескъ, покоились съ выраженіемъ безконечной сдержанной нѣжности на этой склонившейся къ ея ко-

лѣнямъ головѣ, на которую, Боже! сколько возлагала она надеждъ и мечтаній! Сколько изливала горячихъ молитвъ!

Онъ поднялъ голову, но не выпрямился, и, оставаясь въ прежней довѣрчивой и нѣжной позѣ и не выпуская руки матери, началъ говорить:

— Не правда ли, моя лучшая изъ матерей, что всѣ мои дѣтскіе, а впослѣдствіи и юношескіе годы я провелъ у твоихъ колѣнъ и у твоего сердца такъ, какъ должна была проводить ихъ la belle au bois dormant, сладко дремавшая въ хрустальномъ дворцѣ въ заколдованномъ лѣсу, по которому никогда не ступала ея нога, и изъ котораго къ ней доносились только ароматы цвѣтовъ и пѣніе птичекъ? Не правда ли, chère maman, что ты тщательно отстраняла меня отъ всего обыденнаго и пошлаго и взамѣнъ этого пріучала меня ко всему прекрасному, къ благороднымъ чувствамъ, къ возвышеннымъ мечтамъ, не правда ли?

— Правда,—отвѣчала она.

— И это тоже правда, мама, что ты готовила меня для цѣлей и назначенія совершенно необычнаго, высокаго... и все устраивала такъ, чтобы я не могъ смѣшиваться съ сѣрой толпой? Правда ли это, мама?

— Да,—шепнула она въ отвѣтъ.

Не переставая все время сдерживать свою нѣжность, которую даже глухія опасенія не въ силахъ были преодолѣть, она слушала его плавную, полную очарованія рѣчь и чувствовала на своей рукѣ ласковое прикосновеніе его мягкой, нѣжной руки. Такой, какимъ онъ казался ей сейчасъ, мягкій, обаятельный, порхающій на крыльяхъ поэзіи, онъ всегда очаровывалъ ее и не только ее одну, но также и ту

дѣвушку, съ которой онъ разстался часъ тому назадъ и которая долго, какъ очарованная птица, наслаждалась этими чарами, а потомъ и ту, другую, почти ребенка еще, которая теперь въ нижнемъ этажѣ утопала въ слезахъ и тревогѣ, и, можетъ быть, еще многихъ другихъ на бѣломъ свѣтѣ.

— Не правда ли, mon adorée maman, что ты потомъ сама послала меня въ далекіе края, гдѣ я провелъ много лѣтъ, окруженный изяществомъ большихъ городовъ, среди величественнѣйшихъ картинъ природы, на лонѣ искусства... что я въ теченіе этихъ лѣтъ совершенно отвыкъ отъ здѣшней сѣренькой жизни и обыденности, къ которымъ, впрочемъ, я никогда и не былъ пріученъ, такъ какъ жилъ въ твоемъ идеальномъ мірѣ, подобно тому, какъ заколдованная принцесса жила въ своемъ хрустальномъ дворцѣ? Не правда ли, моя лучшая и умнѣйшая изъ всѣхъ матерей?

— Правда. Но къ чему все это клонится?

— Это клонится, во-первыхъ, къ тому, чтобы сказать тебѣ, ma chére maman, что за все то, что я сейчасъ перечислилъ, я горячо, несказанно благодаренъ тебѣ. ...

Тутъ, склонившись снова, онъ дотронулся губами до ея колѣнъ.

— А потомъ къ тому, что вѣдь это же вещь немыслимая, совершенно немыслимая, чтобы послѣ такого прошлаго, какъ мое, я остался навсегда прикованнымъ къ этому куску земли, къ этимъ конюшнямъ, овинамъ, скотнымъ дворамъ... que sais-je?.. къ этому ужасному Ясмонту, который каждый вечеръ приходитъ долбить мою голову разговорами о хозяйствѣ.. къ этимъ... этимъ... que sais-je?.. разбитнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ измученнымъ нуждою

сосѣдямъ. ... Развѣ это мыслимо? Моя дорогая мама, подумай, послѣ такого прошлаго, какъ мое, при такомъ честолюбіи и потребностяхъ, можетъ ли кто-нибудь требовать этого отъ меня?

Онъ широко развелъ руками, глаза его открылись больше обыкновеннаго, морщина избороздила его лобъ. Онъ былъ сильно, до глубины души, убѣжденъ, что требованіе, о которомъ онъ говорилъ, было бы совершенно немыслимымъ и несправедливымъ.

Мать его съ минуту думала. До извѣстной степени она не отрицала справедливости жалобъ сына; она превосходно помнила о своемъ собственномъ отвращеніи къ окружающей ее прозѣ и своей собственной непригодности къ той жизни, которую обречена была вести. Черезъ нѣкоторое время она задумчиво заговорила:

— Я отлично понимаю терніи твоего положенія. Все то, что ты перечислилъ, дѣлаетъ ихъ для тебя еще болѣе мучительными, чѣмъ для другихъ. Однако же, дитя мое, ничья жизнь въ этомъ мірѣ не свободна отъ усилій, борьбы, страданій и исполненія трудныхъ. ...

Быстро подымаясь со стула, онъ прервалъ ея рѣчь:

— Очень благодаренъ! Этихъ усилій, борьбы и страданій у меня уже болѣе, чѣмъ достаточно. Я убилъ на нихъ два года моей жизни. J'en ai assez!

— Если бы ты былъ исключеніемъ... но... всѣ мы несчастны. ...

Онъ остановился передъ матерью и спросилъ:

— Но развѣ ты желаешь, чтобы я увеличилъ число несчастныхъ?

Въ голосѣ ея слышалась легкая дрожь, когда она отвѣчала:

— Нѣтъ на свѣтѣ матери, которая желала бы видѣть несчастнымъ свое дитя; но если бы мнѣ пришлось выбирать для тебя между низкимъ счастьемъ и высокимъ несчастьемъ, я выбрала бы для тебя второе.

— Но кто же говоритъ о низкомъ счастьѣ? отвѣтилъ онъ; — неужели же удовольствіе, доставляемое избраннымъ обществомъ, красотой величественной природы, наслажденіе искусствомъ составляютъ низкое счастье?

— Разумѣется нѣтъ. Но такъ какъ ты здѣсь родился, то здѣсь твои обязанности, здѣсь ты долженъ жить. ...

— Почему должен ъ?—прервалъ онъ,—почему долженъ?—Мы какъ разъ дошли въ нашемъ разговорѣ, дорогая мама, до того пункта, на которомъ основано мое предложеніе... нѣтъ! моя самая горячая просьба! ...

Онъ на минуту замялся, но потомъ снова усѣлся около матери, опять склонился къ ея колѣнямъ и взялъ ея руку. Опять нѣжно, съ оттѣнкомъ искренности и поэзіи онъ началъ говорить.

Онъ говорилъ о томъ, чтобы она продала Осовцы, которые составляли ея наслѣдственную собственность и вмѣстѣ съ нимъ уѣхала за границу. Жить они будутъ въ Римѣ, Флоренціи или въ Мюнхенѣ, каждое лѣто будутъ они уѣзжать въ горы или къ морю. Капиталъ, который получится отъ продажи Осовецъ, въ соединеніи съ тѣмъ, что есть у Клотильды теперь, и что она еще получитъ въ будущемъ отъ родителей, дастъ имъ возможность вести жизнь, правда не роскошную, но приличную и очень пріятную. Наконецъ, онъ, можетъ быть, еще когда нибудь будетъ очень богатъ, когда въ соотвѣтственной обстановкѣ къ нему вернется вдохновеніе

и способность къ творчеству. Они будутъ жить всегда вмѣстѣ, будутъ путешествовать, наслаждаться всякими удовольствіями, осуществлять всѣ свои мечты; только необходимо, чтобы они непремѣнно выбрались отсюда; необходимо какъ можно скорѣе вынырнуть изъ этого моря обыденности, скуки и всеобщаго дурного настроенія.

Онъ началъ слегка подшучивать:

— Не правда ли, моя золотая мамочка, что здѣсь господствуетъ всеобщее дурное настроеніе? Всѣ по комъ-то, или по чемъ-то плачутъ, жалкіе, утомленные, запуганные? Это рождаетъ меланхолію, qui me monte á la gorge и душитъ меня, какъ globus istericus эту бѣдную тетушку. ... Ты только одинъ разъ ѣздила за границу, дорогая мама, и то давно... еще съ отцомъ. Ты знаешь, стало быть, какъ велика разница атмосферъ... ты не можешь себѣ представить, сколько бы ты тамъ нашла прекраснаго, интереснаго, высокаго и дѣйствительно достойнаго твоего развитія, вкуса и ума.

Она молчала. Она сидѣла неподвижно съ поднятой головой и опущенными вѣками, не отымая у него своей руки, которая только дѣлалась все холоднѣе и теряла гибкость. Наконецъ, она тихо, но рѣшительно проговорила:

— Я никогда не сдѣлаю этого...

Онъ вскочилъ со стула.

— Почему? Ради чего?

Она подняла на него глубокій и суровый взоръ и отвѣчала:

—Именно ради того, о чемъ ты говорилъ... ради этой меланхоліи. ...

— Но вѣдь это безумъ... pardon! Крайній идеализмъ! Ты, мама, крайняя идеалистка! Осуждать

себя на вѣчную печаль, когда можно избѣжать ея; приростать къ захолустью на манеръ гриба, потому только, что другіе грибы должны въ немъ сидѣть, это безотчетный, крайній идеализмъ!

Глядя ему прямо въ глаза, она спросила:

— А ты самъ, Сигизмундъ, развѣ не идеалистъ?

Онъ! конечно, да! Онъ считаетъ себя идеалистомъ и даже не можетъ себѣ представить, чтобы кто-нибудь могъ подозрѣвать его въ матеріалистическихъ убѣжденіяхъ или стремленіяхъ. Но именно въ этомъ-то и лежитъ для него невозможность оставаться здѣсь. Онъ жаждетъ идеаловъ и высшихъ впечатлѣній, а его окружаетъ одна обыденность и монотонность, но, наконецъ, будучи идеалистомъ, онъ совсѣмъ не обладаетъ склонностью къ аскетизму. Онъ не можетъ сдѣлаться ни факиромъ, ни траппистомъ. Онъ человѣкъ культурный и обладаетъ привитой ему вмѣстѣ съ культурой потребностью въ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ извѣстнаго рода, которыхъ здѣсь невозможно найти. Онъ лишенъ возможности работать вслѣдствіе отсутствія впечатлѣній, у него также нѣтъ никакихъ удовольствій, а проводить цѣлые дни безъ работы и безъ развлеченій,—это по истинѣ адская жизнь, по милости которой можно сойти съ ума не только отъ огорченія и тоски, но просто отъ скуки. ...

Онъ начиналъ горячиться. Недовольство и нетерпѣніе, давно уже кипѣвшія въ немъ, нарушили въ немъ теперь, при видѣ упорства матери, которое грозило полнымъ крушеніемъ его единственному спасительному плану, даже обычное изящество его внѣшности. Заложивъ руки въ карманы сюртука, онъ бѣгалъ по комнатѣ; въ то же время онъ нѣ-

сколько разъ гнѣвно и безпокойно оглядывалъ свою собственную фигуру.

— Здѣсь каждый,—кричалъ онъ,—будь онъ хоть самый большой идеалистъ, геніальнѣйшій художникъ, долженъ превратиться въ раскормленнаго быка... Тѣло прогрессируетъ, а духъ падаетъ. Я чувствую въ себѣ страшную degringolade духа... я по истинѣ глубоко несчастливъ... пропадаю, гибну; все, что во мнѣ есть высшаго, идеальнаго, превращается въ желчь и жиръ!

При послѣднемъ свѣтѣ догоравшаго дня вдова Корчинская слѣдила взоромъ за бурной прогулкой сына по комнатѣ и только тогда, когда потокъ его возбужденной полугнѣвной, полужалобной рѣчи на минуту прервался, она замѣтила ему голосомъ, который съ удивительнымъ трудомъ выходилъ изъ ея груди:

— Неужели ты не можешь найти въ сердечныхъ утѣшеніяхъ поощренія къ труду, котораго ты жаждешь, и къ тому, котораго ты не любишь, неужели же они не вознаграждаютъ тебя за тѣ лишенія, на которыя ты жалуешься? Когда-то я обладала ими, а потому знаю ихъ могущество и цѣну. Ты вѣдь очень счастливо женился, Сигизмундъ.

— Не очень!—фыркнулъ онъ.

Такъ тихо, что онъ едва могъ ее разслышать, она спросила.

— Развѣ ты не любишь Клотильду?

Онъ, немного смущенный, прервалъ прогулку и остановился.

— Напротивъ... напротивъ... я къ ней привязанъ... даже очень привязанъ... Но она не доросла до пониманія моихъ духовныхъ потребностей... Эта ея вѣчная нѣжность и неумолкаемая болтовня...

Мать съ живостью прервала его:

— Это — ребенокъ; прекрасный, талантливый, страстно любящій тебя ребенокъ, который подъ солнцемъ твоей любви и при свѣтѣ твоего разума можетъ созрѣть и развиться... Ты отвѣчаешь не только за ея счастье, но и за всю ея нравственную будущность. ...

— Pardon!—прервалъ онъ,—я никогда не имѣлъ призванія къ педагогіи и ни предъ кѣмъ не принималъ обязательствъ воспитывать свою жену. Се n'est pas mon fait. Люди подходятъ другъ къ другу, или нѣтъ.

— Voilà! А если въ этомъ случаѣ есть какое-нибудь неравенство, то жертвою его, навѣрное, являюсь я.

Повернувшись спиною къ комнатѣ, онъ стоялъ передъ окномъ, за которымъ солнце, уже невидимое, зажгло надъ деревьями парка широкую розовую полосу. Нѣсколько минутъ царило молчаніе, которое прервалъ сдавленный голосъ матери, голосъ, въ которомъ слышалась охватывавшая ее невыразимая тревога.

— Дитя мое, поди ко мнѣ... иди сюда... ближе!

А когда онъ остановился въ двухъ шагахъ отъ нея, она начала почти шопотомъ:

— Ради всего, что когда-нибудь соединяло насъ, что ты когда-нибудь любилъ, умоляю тебя, скажи мнѣ откровенно, только вполнѣ откровенно... видишь ли, я безконечно испугана одной мыслью, которая пришла мнѣ въ голову... Я почувствовала страшную тяжесть на совѣсти... Все-таки я хочу знать правду, чтобы я могла ясно оріентироваться въ данномъ положеніи и, что можно, то исправить, и, чего можно — избѣгнуть... Неужели ты дѣйстви-

тельно до сихъ поръ любишь Юстину? Неужели это чувство послужило причиной твоего быстраго охлажденія къ Клотильдѣ? Неужели... если бы я... вмѣсто того, чтобы отговаривать, склоняла бы тебя къ женитьбѣ на Юстинѣ, и если бы она была теперь твоей женой, ты чувствовалъ бы себя болѣе счастливымъ, болѣе мужественнымъ, болѣе вооруженнымъ для жизни и ея обязанностей?

Онъ выслушалъ эти вопросы съ немного горькой, немного пренебрежительной улыбкой; послѣ чего, возобновляя свою прогулку съ заложенными въ карманы руками и приподнявъ плечи, онъ отвѣчалъ:

— Очень сомнѣваюсь. Знаешь, мама, я совсѣмъ разочаровался въ ней. Холодная, съ предразсудками, ограниченная, корчитъ изъ себя какую то героиню или философа... Притомъ же, сегодня именно я замѣтилъ, что у нея такія огрубѣвшія руки, и что она вообще скорѣе имѣетъ видъ простой, здоровой дѣвки, чѣмъ барышни изъ общества... Въ этомъ отношеніи Клотильда гораздо болѣе подходитъ ко мнѣ... Она изящнѣе, лучше воспитана и обладаетъ музыкальнымъ талантомъ... очень приличнымъ... Только я удивительно быстро привыкаю ко всему, а какъ только привыкну, сейчасъ же начинаю скучать... Ça dépasse toute idée, какая у меня жажда впечатлѣній... Дѣйствительно, въ этомъ отношеніи я не могу никогда насытиться и потому именно и гибну въ здѣшней монотонности... пропадаю...

Онъ продолжалъ говорить еще нѣкоторое время, но трудно было угадать, слушала ли его мать или нѣтъ. Отвѣтъ его заставилъ ее убѣдиться въ двухъ вещахъ: во-первыхъ, въ томъ, что Юстина отвергла его, а во-вторыхъ, что ни одной изъ этихъ двухъ женщинъ онъ не любилъ дѣйствительно и серьезно.

Медленно, медленно склонялась на грудь покрытая траурнымъ чепцомъ гордая голова женщины, въ которой закипала сдерживаемая еще буря чувствъ, и тогда только снова поднялась, когда Сигизмундъ, останавливая передъ нею свои шаги, еще разъ, со смѣсью просьбы и упрека, нѣжности и нетерпѣнія началъ спрашивать: неужели же его страданія не склонятъ ее къ осуществленію составленнаго имъ плана? неужели же, подумавъ и хладнокровно взглянувъ на дѣло, она не согласится на то, чего онъ желаетъ и въ чемъ онъ настоятельно нуждается во избѣжаніе окончательной degringolade его духа?

Тогда вдова снова подняла голову и отвѣчала голосомъ, въ которомъ уже звучали обычная ея энергія и высокомѣріе.

— Никогда не буду я смотрѣть хладнокровно на эти вещи. Пока я жива, никогда на этой горсти моей родной земли, никогда въ этихъ стѣнахъ чужіе люди... чужіе боги...

Она вдругъ вспыхнула:

— Великій Боже! Но послѣ моей смерти ты готовъ это сдѣлать... да! ты, навѣрно, сдѣлаешь это, какъ только я закрою глаза... Ты, какъ трусъ, уйдешь изъ рядовъ побѣжденныхъ... какъ эгоистъ, не захочешь дѣлиться хлѣбомъ страданія... Кусокъ ризы Христовой ты продаешь за сребренникъ, чтобы купить себѣ пріятную жизнь... Боже! но, можетъ быть, это только мнѣ такъ кажется? можетъ быть, только въ какомъ-то страшномъ снѣ я вижу тебя такимъ... Сигизмундъ, о! мой Сигизмундъ! Скажи же мнѣ, что ты дѣйствительно иначе думаешь и чувствуешь...

Но сынъ, спокойный и холодный, не позволяя себѣ увлечься ея вспышкой, и какъ будто почти не слушая ее, говорилъ:

— Не волнуйся, мама! Но, моя милая мама, не выходи же такъ изъ себя! Кто же тутъ говоритъ только объ однихъ удовольствіяхъ жизни? Дѣло идетъ о чемъ-то болѣе высокомъ, болѣе важномъ для меня... о моемъ дарованіи, вдохновеніи...

— Да развѣ душа художника, — вскричала она, — должна быть мотылькомъ, который на шаловливыхъ и непостоянныхъ крылышкахъ перепархиваетъ отъ одной розы къ другой? Развѣ же эта земля ничего не рождаетъ? Развѣ здѣсь не свѣтитъ солнце? Развѣ здѣсь царство труповъ, что ты вокругъ себя не можешь найти ни одного проблеска красоты и жизни... что тебя ничто не можетъ встряхнуть и вдохновить ни страданьемъ, ни восторгомъ, ни любовью или возмущеніемъ? А я мечтала... а я мечтала...

Тутъ голосъ ея началъ дрожать отъ слезъ, которыя она сдерживала всѣми силами.

— А я мечтала... что именно здѣсь, среди родной природы, среди самыхъ близкихъ къ тебѣ людей, твое творческое дарованіе заговоритъ могучимъ голосомъ... или вѣрнѣе здѣсь могуче заговорятъ къ нему каждая былинка, каждое лицо человѣческое, каждый лучъ свѣта, каждая тѣнь... что именно соки этой земли, изъ которой и ты произошелъ, ея слезы и улыбки, ея радости и горечь скорѣе всего проникнутъ въ твою душу и оплодотворятъ ее...

Стоя передъ ней въ жалкой позѣ, почти скорчившійся, онъ изумленно разводилъ руками и почти одновременно съ ней говорилъ:

— Но вѣдь я всего этого не знаю... я, ma chere maman, со всѣми этими лучами, тѣнями, радостями, горечью и т. д. и т. д. не росъ съ дѣтства... не сжился... не привыкалъ къ нимъ... я привыкалъ со-

всѣмъ къ чему-то другому... невозможно же изъ культурнаго человѣка переродиться вдругъ въ варвара по причинѣ... по причинѣ... соковъ земли, съ которыми никогда я не имѣлъ ничего общаго!

Медленно, упираясь обѣими руками о столъ, потому что, можетъ быть, ноги не слушались ея, она встала и заплакала такъ, какъ она плакала всегда, безшумно, безъ малѣйшаго искаженія лица, нѣсколькими — только крупными слезами, которыя медленно скатились по ея щекамъ.

— Я виновата, я виновата, я страшно виновата!— медленно проговорила она. — Я заблуждалась. Я не сумѣла завязать прочнаго узла между тобой и тѣмъ, что должно было стать предметомъ твоей высшей любви. Правда, я всегда много говорила тебѣ объ этомъ, много... но видно, что слова — ненадежный посѣвъ... Я ошиблась... Но, дитя мое...

Тутъ она, словно для молитвы, сплела свои бѣлыя руки на груди, прикрытой лифомъ траурнаго платья.

— Не карай меня за эту мою невольную ошибку... о, невольную! потому что я была убѣждена, что поступаю, какъ слѣдовало... Я прятала тебя въ хрустальномъ дворцѣ, въ далекихъ краяхъ, потому что въ мысляхъ моихъ ты долженъ былъ сдѣлаться звѣздой первой величины, а не какой-нибудь обыкновенной свѣчкой; вождемъ, но не рядовымъ. Вижу, что я заблуждалась, но ты исправь мое заблужденіе! Подумай, глубоко подумай надъ краткой исторіей своего отца, которую ты хорошо знаешь. Развѣ ты не можешь черпать изъ того же источника, что онъ, и силу, и мужество, и нравственное величіе? Твой отецъ, Сигизмундъ, кромѣ многихъ другихъ необыденныхъ вещей, любилъ тотъ самый народъ, ко-

торый окружаетъ и тебя, обладалъ искусствомъ жить съ нимъ, подымать его, утѣшать, просвѣщать...

Она вдругъ умолкла. Въ сумеркахъ, начинавшихъ уже наполнять комнату, она услыхала насмѣшливый презрительный голосъ, проговорившій только одно слово:

— Скоты!

О, пусть Богъ будетъ свидѣтелемъ, что никогда она, несмотря на все свое инстинктивное отвращеніе и свои неодолимыя слабости, не думала такъ, какъ Сигизмундъ; никогда, даже въ глубокихъ тайникахъ своей души, не бросила она подобнаго оскорбленія въ огромное общество людей, самыхъ близкихъ для нея людей; не будучи въ состояніи сблизиться съ этой толпой, жить съ ней одной жизнью, не умѣя работать надъ ней, она все-таки питала искреннюю пріязнь къ ней и даже для самаго жалкаго человѣческаго существа всегда находила пріязнь и хоть умѣренное сочувствіе. О, только одинъ Богъ видѣлъ ту бурю ужаса, которую подняло въ ней одно это слово, сорвавшееся съ равнодушно и презрительно усмѣхнувшихся губъ ея сына, потому что онъ не замѣтилъ ни этой бури, ни смертельной блѣдности, начинавшей покрывать ея лицо и, остановившись передъ нею, какъ бы пожелалъ воспользоваться ея молчаніемъ и началъ:

— Я прекрасно понимаю, чего ты добиваешься, дорогая мама. Да и какъ не понять? Соки земли, хлѣбъ страданія, Христовы ризы, наролъ... однимъ словомъ... какъ говоритъ дядя Бенедиктъ, то... этого!... Я никогда не хотѣлъ говорить объ этомъ, чтобы не сердить и не огорчать тебя, дорогая мама. Я, впрочемъ, уважаю всякія чувства и убѣжденія, а, въ особенности, такія безкорыстныя, о! да, необыкно-

венно безкорыстныя! Но теперь я вижу, что наступаетъ моментъ, когда необходимо искренно поговорить объ этомъ предметѣ. И вотъ мнѣ очень прискорбно, j'en suis désolé, но я не раздѣляю этихъ чувствъ и убѣжденій. Только сумасшедшіе и крайніе идеалисты могутъ до конца защищать вполнѣ проигранное дѣло. Я тоже идеалистъ, но я умѣю смотрѣть на вещи трезво и въ этомъ отношеніи не питаю никакихъ иллюзій... а не имѣя никакихъ иллюзій, я не чувствую ни малѣйшаго желанія приносить себя въ жертву на алтарь, посвященный призракамъ. Прошу прощенія, если я оскорбляю этимъ твои чувства, но я понимаю, отлично понимаю, что люди прежняго поколѣнія могутъ оставаться еще подъ впечатлѣніемъ традиціи, воспоминаній и т. п., мы же, которые расплачиваемся за чужія иллюзіи, не имѣемъ ничего такого. Когда банкъ сорванъ окончательно, идутъ играть къ другому столу. Этимъ другимъ столомъ является для насъ всеобщая цивилизація, европейская цивилизація... я, по крайней мѣрѣ, чувствую себя сыномъ цивилизаціи; я вскормленъ ея соками и въ теченіе столькихъ лѣтъ пребыванія моего за границей сжился съ ней; ничего, стало быть, нѣтъ удивительнаго въ томъ, что я уже не могу жить безъ нея, и что здѣшніе соки питаютъ мое тѣло... дѣйствительно унизительнымъ образомъ, но духъ мой они не могутъ насытить...

Она слушала и, можетъ быть, испытывала такое ощущеніе, точно земля уходитъ у нея изъ подъ ногъ, потому что обѣ ея руки крѣпко сжимали край стола.

— Боже! Боже! — тихо прошептала она нѣсколько разъ, а потомъ, отнявъ одну руку отъ стола и, вытянувъ ее по направленію окна, она проговорила сдавленнымъ голосомъ:

— Иди на могилу отца, Сигизмундъ, иди на могилу отца! Можетъ быть, изъ нея... можетъ быть, тамъ...

— Могила! — съ досадой крикнулъ онъ,— опять могила! Сегодня уже во второй разъ меня посылаютъ на могилу! Но я покорно благодарю за эти могилы!.. предо мною жизнь, слава...

— Безъ славы, безъ могильнаго креста, забытый всѣми, во цвѣтѣ лѣтъ и счастья вырванный изъ жизни, твой отецъ... тамъ...

— Мой отецъ!—разразился Сигизмундъ—прости мнѣ, мама... но мой отецъ былъ безумцемъ!..

— Сигизмундъ! — крикнула она, и ея голосъ зазвучалъ совсѣмъ не такъ, какъ всегда, а страшно и грозно.

Но и въ Сигизмундѣ тоже текла вспыльчивая кровь Корчинскихъ, которую возмутило непреклонное упорство матери.

— Да, безумцемъ,—повторилъ онъ,— очень почтеннымъ, впрочемъ... но въ высшей степени вреднымъ...

— Боже! Боже! Боже!

— Да, мама. Прости мнѣ, мама, но я вправѣ говорить это, я, который не только не могъ занять соотвѣтственнаго положенія въ свѣтѣ, но который не разъ даже въ болѣе счастливыхъ краяхъ чувствовалъ на своемъ челѣ клеймо униженія, который на половину бѣднѣе, вслѣдствіе того, что мой отецъ и подобные ему...

— Уйди! уйди отсюда! — закричала она вырвавшимся внезапно изъ глубины ея груди голосомъ, полнымъ отчаянія. — Уйди какъ можно скорѣе, о! какъ можно скорѣе... потому что я боюсь собственныхъ устъ... о!..

Она не окончила. Съ высоко поднятой головой и лицомъ, мертвенная бѣлизна котораго въ рамкѣ чернаго чепца рѣзко выдѣлялась на фонѣ сумерекъ, она повелительнымъ жестомъ указывала ему на дверь.

— Да уйду же, уйду! съ тобой вѣдь невозможно разговаривать о подобныхъ вещахъ. Могилы, проклятья, трагедіи! Что здѣсь творится! Что здѣсь творится! И изъ-за чего? Почему? За что? Почему? Если бы объ этомъ разсказать гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, никто бы даже не понялъ и не повѣрилъ!

Онъ вышелъ и тихо закрылъ за собою дверь.

Есть люди, которые умѣютъ плакать только надъ могилой дорогихъ людей, но не знаютъ, какъ велико бываетъ отчаяніе, вызываемое гибелью чувствъ и идеаловъ; но та величественная женщина, которая съ бѣлымъ, какъ бумага лицомъ, стояла теперь въ сумеркахъ, точно превратившись въ каменный столбъ, чувствовала, что на ея жизненномъ пути и въ глубинѣ ея сердца высится вторая могила, полная еще большаго отчаянія, такъ какъ послѣ нея не оставалось уже ничего. Въ эту вторую могилу ложились на вѣкъ, прощаясь съ нею навсегда, самыя дорогія ея чувства и надежды; въ этой могилѣ разлагалась, точно тѣло, превращающееся въ ретортѣ смерти въ ничтожный паръ, ея вѣра въ геній и благородство сына... Ей даже показалось, что она чувствуетъ запахъ трупа, и что этотъ трупъ находится въ ней самой, залегаетъ въ глубинѣ ея собственной груди, объятой смертельнымъ холодомъ... Неужели же въ ней происходила агонія ея великой любви къ сыну? Неужели же она переставала любить его?

Грудь ея холодѣла, точно въ ней потухло единственное пламя, которое поддерживало ея жизнь. Она понимала, что тамъ гаснетъ, и сильно прижимала обѣ руки къ сердцу, можетъ быть, желая удержать все то, что изъ него улетало. Она чувствовала, что вмѣстѣ со смертью ея любви и вѣры, предъ ней открывается бездонная пустота, рушится самое основаніе ея жизни и какой-то острый, безжалостный ножъ подрѣзаетъ самый корень ея жизни. Въ ея позѣ, въ движеніяхъ рукъ и дрожаніи лица чувствовалась адская пытка, которая разсылала свои болѣзненные токи по всѣмъ оконечностямъ ея тѣла, стараясь, казалось, силой страданій извлечь изъ нея душу.

Тутъ глаза ея ослѣпилъ какой-то сильный яркій свѣтъ. Это была та полоса на небѣ, недавно розовая, а теперь кроваво-красная, которую оставило послѣ себя надъ деревьями парка скрывшееся уже солнце. Широкая, ровная, кое-гдѣ волнующаяся, она походила на рѣку крови, по которой проплывали траурныя фіолетовыя тѣни и надъ которой, точно сіяніе, подымались золотистые пары. Это явленіе природы показалось женщинѣ, глядѣвшей на него, какимъ-то символомъ и пробудило въ ней какое-то воспоминаніе. Съ мѣста, на которомъ она стояла, она видѣла только узкую далекую полоску лазури, походившую на лучъ идеала, на вѣчную, хоть и далекую надежду, но затѣмъ ничего болѣе, кромѣ этой рѣки крови, усѣянной темными каплями, точно крупными слезами, и вспыхивавшей золотистымъ паромъ. Она смотрѣла и смотрѣла, пока, наконецъ, поднявъ руки къ вискамъ, какъ человѣкъ, который не въ силахъ устоять передъ бурнымъ вихремъ, она заметалась на мѣстѣ и со стономъ упала

на землю. Ея колѣни и сплетенныя руки съ глухимъ стукомъ ударились объ полъ. Комната стала наполняться шопотомъ, то бурнымъ, то такимъ тихимъ, точно онъ выходилъ изъ умирающей груди.

— Ты видѣлъ? Онъ тебя оскорбилъ. Память твою, гробъ твой!.. идеалы наши, вѣру, стремленія — все растопталъ! Андрей! слышишь ли ты? прощаешь ли ты? Моя вина, моя вина, моя страшная вина! Но я не хотѣла этого!... Смерти! О! смерти!

Но смерть не была бы жестока, если бы она являлась къ тѣмъ, кто не желаетъ больше жить. Ея сильное тѣло стойко сопротивлялось охватившей его бурѣ отчаянія.

Она долго лежала ницъ передъ окномъ, закрытымъ завѣсой кроваваго неба, но когда она подняла голову и взглянула вверхъ, выраженіе нѣмого, неподвижнаго восторга наполнило ея глаза. Она во второй разъ увидала явленіе, котораго она такъ жаждала и которое такъ вызывала всегда. Она увидала Андрея. Контуровъ его фигуры она не могла различать, потому что ихъ обвивали золотистые пары, но крупныя черты его лица въ темной рамкѣ густыхъ волосъ, съ кровавымъ пятномъ на лбу, рѣзко выдѣлялись своей блѣдностью на фонѣ кроваваго облака. Въ эти черты она всматривалась съ любовью, во сто разъ большею, чѣмъ въ тотъ далекій день, когда любимый человѣкъ снималъ съ ея чела вуаль невѣсты. Глубокая тишина, такая, какая предшествуетъ появленію зари, воцарилась вокругъ нея. Ни малѣйшій шорохъ не долеталъ до ея слуха: она не ощущала ни боли отъ долгаго стоянія на колѣняхъ на твердомъ полу, ни пространства, отдѣлявшаго ее отъ увидѣннаго ею въ небѣ явленія.

Окруженный золотистымъ сіяніемъ, онъ лежалъ на кровавомъ облакѣ, тихій, грустный, засмотрѣвшись на далекую полоску лазури; ей показалось только, что его прозрачная рука, высвободившаяся изъ туманныхъ покрововъ, на мгновеніе простерлась надъ ея головой.

— Безъ отца выросъ, — шептала она, — безъ отца... безъ тебя!

Но плывшая по кровавому облаку фіолетовая тучка приближалась, росла, удлинялась и медленно заслоняла черты блѣднаго тихаго облика, до самаго конца не перестававшаго всматриваться, точно въ лучъ идеала, или въ сіяніе вѣчной, хоть и далекой надежды, въ узкую, далекую полоску лазури.

Глава XIV.

Снова насталъ праздничный и ясный день, но обширная равнина, охваченная съ одной стороны лѣсистыми холмами, а съ другой — полукруглымъ русломъ Нѣмана, имѣла совсѣмъ не тотъ видъ, что въ знойные, яркіе, страдные дни миновавшаго лѣта. Совсѣмъ не тотъ видъ имѣла она теперь въ этотъ праздничный день, еще веселый и бодрый, богатый собранными плодами, но какъ бы уже стоящій у порога наступающей осени.

Вмѣсто свѣжести, блеска и кипѣнія бьющей ключемъ жизни надъ этой равниной носилась теперь мягкая грусть медленно и граціозно замирающей природы. На вытоптанныхъ межахъ, гладкихъ и пустыхъ, кое-гдѣ торчали обнаженные стебли цикорія, темнымъ пурпуромъ горѣли роскошныя кисти

конскаго щавеля; мелкія кисточки котиковъ и желтѣющая кашка сиротливо припадали къ затвердѣвшимъ окраинамъ полей. Куда ни глянь, повсюду вытоптанное стадами жнивье смѣшивало свою помертвѣвшую желтизну съ темно-сѣрымъ цвѣтомъ вспаханнаго поля и вянущей зеленью картофельныхъ грядокъ, а все это вмѣстѣ имѣло видъ поблекшаго и выцвѣтшаго ковра, на которомъ тутъ и тамъ ложились ржаво-розовыми пятнами площадки, покрытыя созрѣвшей гречихой, и выдѣлялся майской зеленью росшій на корчинскихъ поляхъ роскошный лѣсъ высокаго конскаго зуба. Тропинки, прежде такъ таинственно прятавшіяся на днѣ хлѣбной чащи, теперь видимыми, хотя и смутными изгибами пробѣгали по потемнѣвшимъ, вспаханнымъ полямъ, рыхлая поверхность которыхъ была густо усѣяна воронами. Задумчиво опускали они къ землѣ свои клювы, отыскивая пищу. На краю жнивья, у опушки рощъ подымались отъ маленькихъ костровъ слабыя струйки расплывающагося голубоватаго дыма; дикія груши, тополи и вербы стояли покрытыя зеленью еще густой но уже почернѣвшей и лишенной блеска; время отъ времени въ воздухѣ пролеталъ неизвѣстно откуда появившійся желтый листъ, а по кустамъ кое-гдѣ уже тянулись молочно-бѣлыя нити паутины. Вмѣсто опьяняющаго аромата цвѣтущихъ растеній, скошенной травы, свѣжей соломы и древесной смолы, въ воздухѣ стоялъ только одинъ крѣпкій, влажный запахъ, напоминающій запахъ ржаного хлѣба,—ароматъ земли, глубоко взрыхленной плугами. Вмѣсто оглушительнаго птичьяго хора и безконечно разнообразнаго жужжанія и стрекотанія насѣкомыхъ, теперь вездѣ царила тишина—тишина не смерти еще, но величественнаго спокойствія природы, которое, однако,

прерывалось отзывавшимися по-временамъ, гдѣ-то въ высотѣ, рѣзкими криками журавлей и аистовъ; а внизу, на замиравшихъ крылышкахъ иногда пролетали запоздавшія бабочки, надъ полями гречихи жужжали пчелы, надъ деревьями же неумолчно звенѣли, словно невидимая струна, миріады наднѣманскихъ мошекъ.

Въ будніе дни здѣсь раздавались еще протяжные и угрюмые или бодрые и короткіе окрики пахарей; виднѣлись также быстро скользившіе плуги и бороны, тащившіяся съ тихимъ шуршаніемъ по вспаханной землѣ, и сѣятели, подвигающіеся медленно, ровно выпрямясь, и почти ритмическимъ движеніемъ рукъ бросающіе на поля обильный дождь зеренъ. Надъ всѣмъ этимъ, надъ застилающимъ землю блеклымъ и выцвѣтшимъ ковромъ, кое-гдѣ только оживленнымъ ржаво-розовыми пятнами или весенней зеленью, надъ потемнѣвшими деревьями, у подошвы которыхъ вились слабыя дымки, надъ изрѣдка разсѣянными пахарями и сѣятелями, среди чистой, но блѣдной лазури свѣтило тихое, угасшее, блѣдно-золотое солнце. Точно вслѣдствіе обильнаго изліянія на землю оплодотворяющихъ огней, оно вывело изъ земного покрова всѣ его яркія краски и само поблѣднѣло и теперь глядѣло на прекрасную еще, но уже притихшую и грустную землю грустными тихими глазами. Подобно землѣ, которая еще улыбалась, но уже не вспыхивала радостью, оно еще грѣло, но уже не жгло, ласково набрасывая на все покровъ блѣднаго золота, нигдѣ уже не зажигая очаговъ пламени и искръ. Все пространство между блѣднымъ небомъ, лишеннымъ уже яркаго жгучаго пламени, и выцвѣтшимъ ковромъ земли наполнялъ, подобно покрывающему міръ хрустальному колоколу,

поразительно прозрачный воздухъ, слегка проникнутый холодной свѣжестью, напоминавшей о близкомъ уже бабьемъ лѣтѣ.

Вмѣстѣ съ перемѣной, произошедшей въ природѣ, измѣнился и внѣшній видъ околицы. Это не была уже, какъ прежде, густо сжатая и почти сплошная полоса растительности, среди которой только въ самомъ недалекомъ разстояніи и только приблизительно можно было различить границы усадебъ и построекъ. Теперь лишь заборы и стѣны построекъ почти до половины утопали въ удивительно роскошно разросшихся и съ неслыханной силой поднявшихся зарослях. Это были чащи, или скорѣе вздувавшіяся рѣки и дикіе лѣса бурьяна. Это были точно книги природы съ тѣсно сжатыми и все новыми страницами.

Надъ высокимъ, широколистнымъ и съ виду пушистымъ, а на ощупь жесткимъ ложемъ исполинскихъ лопуховъ, подорожника и хрѣну, высоко вздымались безчисленные репейники, убранные на верхушкахъ своими разноцвѣтными изящными цвѣтами, окруженными вѣнчикомъ шиповъ, смѣшиваясь съ бѣлоснѣжными коронами кровавниковъ, съ темнымъ пурпуромъ конскаго щавеля, съ зарослями песьихъ язычковъ, продолговатые листья которыхъ высовывались со всѣхъ сторонъ, какъ будто хотѣли лизнуть своей острой поверхностью платье прохожихъ; кое-гдѣ кустистая грубая живокость, осыпанная множествомъ бѣленькихъ пуговокъ, разстилалась такъ широко, что вокругъ нея ничего ужъ не могло вырости, кромѣ упрямой мяты и полыни, разливавшихъ вокругъ себя сильный и горькій ароматъ; кой-гдѣ еще одичавшія спиреи, уже лишенныя цвѣтовъ мальвы, отцвѣтшія и увѣнчанныя ядовитыми маковками псянки

образовали высокую, непроницаемую чащу, у подножія которой стлались кровавые листья вянущей дикой лебеды, золотились желтыя шелестушки и чащами росли хвощи, рута и крапива.

Но это происходило только у плетней, овиновъ и конюшенъ; въ другихъ мѣстахъ стало виднѣе, просторнѣе и чище. Ни малѣйшей пылинки не подымалось съ земли, смоченной недавно выпавшими дождями. Въ прозрачномъ вслѣдствіе этого воздухѣ, за огородами, съ которыхъ убрали овсы, коноплю и фасоль, рисовались дома и деревья ясными опредѣленными линіями. Низкія овощи, оставшіяся неубранными на огородахъ, ничего не заслоняли собой, а на дворахъ и въ переулкахъ стлались уже только низенькія, вытоптанныя травы. Вишневыя и сливовыя рощи порѣдѣли и просвѣчивали внизу пустыми пространствами; старыя липы, груши, тополи и яворы, кое-гдѣ блестѣвшіе желтыми или покраснѣвшими листьями, становились у вершинъ прозрачны, почти какъ кружево. Цвѣты виднѣлись уже очень рѣдко, кое-гдѣ передъ окнами и крылечками расцвѣтали поникшіе флоксы или мелкія астры, но взамѣнъ ихъ сквозь пустыя пространства въ рощѣ и кружевныя вѣтви деревьевъ виднѣлись разложенные по травѣ коричневые льны, бѣлѣли въ солнечномъ блескѣ разостланные холсты и просвѣчивали на подобіе обрѣзковъ дорогой ткани невидимыя раньше голубыя струи Нѣмана.

Время было утреннее, такъ какъ до полудня оставалось еще часа три, когда околица наполнилась необычнымъ шумомъ. Долго и непрерывно грохотали колеса, фыркали лошади, раздавались восклицанія привѣтствій. По всѣмъ перерѣзывавшимъ равнину дорогамъ къ усадьбѣ Фабіана съѣзжались брички.

галопировали всадники и сходились пѣшкомъ обитатели богатыровичевскихъ усадебъ. Наконецъ, десятка полтора нераспряженныхъ желтыхъ и зеленыхъ одноконныхъ и пароконныхъ бричекъ наполнили весь дворъ и еще нѣсколько сосѣднихъ дворóвъ; много осѣдланныхъ лошадей стояло на привязи у плетней; около сотни людей разнаго пола и возраста пестрой подвижной волной заполняли огородъ, зеленую улицу между огородомъ и сливовой рощей, выливаясь даже на дорогу, которая бѣлой полосой тянулась у окраины пустыхъ полей.

На нѣсколько миль кругомъ было извѣстно, что это были гости, приглашенные Фабіаномъ на свадьбу дочери. По всему уѣзду слыли честолюбіе, краснорѣчіе, склонность Эльжусинаго отца, какъ къ веселымъ собраніямъ, такъ и къ дерзкимъ стычкамъ, а потому, кто изъ уваженія, кто изъ любопытства, а больше всего въ надеждѣ весело потанцовать и покушать, направлялись къ человѣку, у котораго, несмотря на бѣдность, знакомыхъ и родственниковъ было безъ числа; онъ не преминулъ бы при случаѣ щегольнуть широкимъ гостепріимствомъ, даже если бы ему предстояло на другой день сидѣть не ѣвши.

Было вполнѣ естественно, что на свадьбѣ Богатыровичевны и Ясмонта было больше всего Богатыровичей и Ясмонтовъ. Однако, во время обмѣна привѣтствіями, когда знакомые стали окликать другъ друга, въ воздухѣ звучало множество всевозможныхъ другихъ фамилій; смѣшанный гулъ привѣтствій плылъ по огородамъ, достигалъ прозрачныхъ водъ Нѣмана и оттуда, повторенный эхомъ, уносился въ самую глубину бора.

Были тамъ и старые и молодые многочисленные Занѣвскіе, прибывшіе изъ спокойныхъ Занѣвицъ, расположенныхъ на хорошей землѣ, Обуховичи изъ занѣманскихъ Обуховецъ, имѣвшіе худую славу, потому что, хотя они были люди зажиточные и работящіе, но чаще другихъ искали ссоры и были склонны къ дракамъ и къ пьянству. Изъ-за Нѣмана пріѣхали также Осиповичи изъ Толочекъ, которыхъ легко можно было отличить по ихъ чернымъ, какъ вороново крыло, волосамъ и правильнымъ, красивымъ, какъ у статуй, лицамъ; и Лозовицкіе изъ Сорочицъ, надменно закручивающіе усы кверху; это были маленькіе и проворные люди, славившіеся своимъ семейнымъ согласіемъ, такъ какъ живя то вчетверомъ, то впятеромъ въ одной хатѣ, они ни Бога не оскорбляли несогласіями, ни людей не смѣшили. Станевскіе изъ Станевичъ свѣтили въ толпѣ высокими лбами, раннія лысины которыхъ напоминали подбривавшіяся головы прадѣдовъ; были здѣсь также убогіе Глинды изъ песчаныхъ Глиндичъ и зажиточные Стшалковскіе изъ ближайшихъ Самостельниковъ. Сватъ Стажинскій изъ Стажинъ привезъ своихъ троихъ сыновей и только двухъ дочерей, которыя однако ростомъ и обиліемъ пунцовой крови могли сойти за четырехъ, а изъ Сѣмашекъ прибыли, какъ три льва, три Домунта, двоюродные братья Ядвиги. Они настолько превосходили всѣхъ шириной плечей и обиліемъ волосъ, насколько были меньше и худѣе всѣхъ присутствующихъ женщинъ пріѣхавшія съ двумя братьями двѣ Сѣмащанки, нѣжныя, блѣдненькія робкія дѣвочки, изъ смущенія всегда державшіяся вмѣстѣ. Бѣлыя съ голубыми полосками ситцевыя платьица ихъ мелькали въ прозрачной рощицѣ. Былъ тамъ еще съ взрослыми дѣть-

ми старый Корча, давно уже превратившійся во владѣльца отдѣльнаго небольшого фольварка, и носившій изысканное имя Альбинъ Ясмонтъ, управляющій изъ Осовецъ, который съ громогласнымъ хохотомъ разсказывалъ разныя чудеса о своемъ молодомъ хозяинѣ, и Юзефъ Гецолдъ, мелкій арендаторъ съ жалкимъ видомъ и впалыми щеками, жена котораго въ шляпѣ съ торчащими цвѣтами и съ длиннымъ шлейфомъ шерстяного платья, вылѣзая изъ брички высоко приподняла подолъ, показавъ толстые нитяные чулки, и сейчасъ же закурила папиросу и такъ уже съ закуренной папиросой, прищуривъ глаза и не глядя ни на кого, съ полнымъ сознаніемъ своего превосходства надъ окружающими, шла, черезъ садъ направляясь къ дому.

Впрочемъ, было вполнѣ очевидно, что всѣ собравшіеся здѣсь были очень озабочены тѣмъ, чтобы ихъ наряды соотвѣтствовали данному случаю, но въ этомъ отношеніи они не были стѣснены никакой модой, никакимъ деспотическимъ обычаемъ. На платьяхъ дѣвушекъ кое-гдѣ виднѣлись скудныя драпировки, обнаруживавшія нѣкоторыя поползновенія на нарядность, но въ большинствѣ случаевъ это были очень скромныя юбочки и лифы, опоясанные цвѣтными поясами; въ ихъ гладко причесанныя косы были вплетены осенніе цвѣты, у иной на пальцѣ виднѣлось кольцо накладного золота, а у ворота шпилька съ блестящимъ стеклышкомъ, купленныя у странствующаго торговца.

Мужчины представляли еще болѣе пестрое зрѣлище, нежели женщины, черные пиджаки смѣшивались съ бѣлыми полотняными сюртуками; рядомъ съ сѣрыми куртками домашняго самодѣла желтѣли костюмы изъ канареечной холстинки; среди темныхъ

длинныхъ кафтановъ, которые носили самые пожилые, зеленѣлъ, подобно ровно обрѣзанному кусту, травянистый сюртукъ Стажинскаго. Всевозможными цвѣтами, какіе только существовали въ мірѣ, пестрѣли на шеяхъ фантастически повязанные платки и галстухи, и только бѣлоснѣжныя рубахи да высокіе до колѣнъ сапоги съ заправленными въ нихъ брюками, придавали отчасти однообразный видъ всѣмъ этимъ рослымъ загорѣлымъ людямъ, которые также однообразно распрямивъ свои шеи, смѣло подымали головы.

Это былъ деревенскій людъ, простой, но никогда не гнувшій спины подъ страшною тяжестью подневольнаго труда и не подвергавшійся унизительному оскорбленію тѣлеснымъ наказаніемъ. Это были люди, въ далекомъ прошломъ которыхъ сіяло солнце человѣческихъ правъ и достоинства, до сихъ поръ еще освѣщавшее ихъ души и жизненный путь поблѣднѣвшими, но еще не угасшими лучами. Это были люди, страшно, неудержимо, часто до вражды сварливые, иногда до преступленія жадные къ той землѣ, въ которой они, точно кроты, низко и тихо копались, но слившіеся съ этой землей, какъ съ матерью, и ощущавшихъ въ своихъ жилахъ каждое біеніе ея пульса. Это были люди загорѣлые, омытые обильнымъ потомъ, съ загрубѣвшей кожей на лицахъ и рукахъ, но съ ровными и прямыми спинами, огромной силой въ рукахъ и глазами, глядѣвшими хоть и на тѣсные кругозоры, но смѣло и быстро.

Гдѣ только собиралась болѣе многочисленная группа ихъ, тамъ, казалось, изъ земли выросталъ лѣсъ дубовъ. Гдѣ только раздавалась ихъ живая и шумная рѣчь, тамъ, казалось, пролетало эхо того говора, что звучалъ въ то время, когда Рей изъ

Нагловицъ надъ кружкой пива и ломтемъ жареной баранины гостилъ въ Чернолѣсѣ. Гдѣ только звучалъ ихъ смѣхъ, тамъ сверкали за румяными губами ряды бѣлыхъ, какъ снѣгъ зубовъ. Гдѣ бы только они ни снимали шапки, вездѣ виднѣлись лбы бѣлѣе щекъ и чубы русые, золотистые, рыжеватые, черные, но всегда, какъ лѣсъ густые, откинутые назадъ съ задоромъ, производившимъ впечатлѣніе заносчивости.

Но такой видъ имѣли только молодые. Старшіе, даже и не слишкомъ старые, отличались медленной походкой, разсудительными, хоть часто обильными рѣчами, рѣдкимъ смѣхомъ и изрытыми морщинами лицами. Видно было, что жизнь, которую они вели, быстро ихъ успокаивала, гасила ихъ пылъ, стирала со шекъ румянецъ и опутывала ихъ ноги невидимыми цѣпями. Огромный животъ собственника Корочи и цвѣтущее лицо Стажинскаго составляли здѣсь исключеніе. Худобою тѣла и выраженіемъ терпѣливаго изнуренія на лицѣ, съ котораго свѣшивались длинные черные усы, поражалъ Валентій Богатыровичъ, отецъ семерыхъ дѣтей и обладатель десяти морговъ земли; другой же Богатыровичъ, давно прозванный за свою ревностную набожность апостоломъ, закрывалъ свои воспаленные и полуслѣпые глаза большими темными стеклами очковъ.

Пожилыя или старыя женщины чаще всего такъ же, какъ и ихъ ровесники мужчины, худыя, иногда маленькія и нѣжныя, съ изнуренными лицами, медленной рѣчью, по временамъ поражающей своей горячностью, отличались только однимъ свойствомъ, котораго не было у мужчинъ, а именно—церемонностью обращенія и движеній. Принаряженныя въ корнеты съ пышной отдѣлкой, или въ болѣе современные чепцы, а то и просто въ платкахъ на головѣ,

въ широкихъ кофтахъ и старомодныхъ мантильяхъ, съ широкими воротничками у шеи и руками, мѣдно-красный цвѣтъ которыхъ рѣзко выдѣлялся на фонѣ бѣлоснѣжныхъ рукавчиковъ, — онѣ продѣлывали передъ знакомыми церемонные реверансы, взаимно уступали другъ дружкѣ первенство на тропинкахъ и въ дверяхъ, старались выражаться высокопарно, или же слишкомъ скромно.

Во всемъ этомъ собраніи часа за два до полудня чувствовалось нетерпѣливое и немного безпокойное ожиданіе. Молодые и свадебные поѣзжане: два свата, двѣ свахи и шесть паръ дружекъ совсѣмъ не показывались собравшимся гостямъ, изъ которыхъ только очень немногіе входили въ домъ, всѣ же остальные прохаживались въ саду и по дорогѣ, или сидѣли на длинныхъ скамьяхъ, разставленныхъ тамъ и сямъ, на кучѣ досокъ подъ овиномъ, на камняхъ, на низкихъ плетняхъ. Всѣ знали хорошо, что невѣста уже одѣта къ вѣнцу, и что уже давно была пора отправляться въ костелъ, но недоставало самаго важнаго изъ поѣзжанъ, а именно: перваго шафера. Во всѣхъ сидѣвшихъ, стоявшихъ и прогуливавшихся группахъ только и говорили объ этомъ запоздавшемъ и такомъ важномъ гостѣ.

Неудивительно, что онъ опаздываетъ!.. такой человѣкъ! Богатый, недуренъ собой и съ умной головой, долженъ же онъ показать какую-нибудь фанаберію и не можетъ же онъ допустить, чтобы его считали за перваго попавшагося. Мужчины говорили о томъ, что Казиміръ Ясмонтъ при самомъ незначительномъ урожаѣ собираетъ со своихъ полей копъ сто ржи и тридцать пшеницы, скота у него, должно быть, штукъ двадцать, кромѣ того, онъ разводитъ прекрасныхъ лошадей, которыхъ затѣмъ про-

даетъ съ барышемъ. Недавно также выстроилъ себѣ новый домъ и громко заявляетъ передъ всѣми, что задумалъ жениться, потому что холостая жизнь начинаетъ ему надоѣдать. Лѣтъ ему уже будетъ около тридцати двухъ, съ приданымъ ищетъ. Еще бы! Онъ, можетъ, и совсѣмъ не пріѣхалъ бы на эту свадьбу, если бы не то, что ему хочется ближе присмотрѣться къ Домунтовнѣ. Наслѣдница! Одно съ другимъ сложить—хорошее состояніе выйдетъ. Только это еще бабушка на двое ворожила. Кажется, что Домунтовна съ кѣмъ-то другимъ почти что помолвлена. Слухи объ этомъ ходятъ, но навѣрное ничего неизвѣстно.

Пожилыя женщины тоже разсказывали между собой, какой онъ богачъ, этотъ Казиміръ Ясмонтъ. Работать-то онъ работаетъ, потому что жареные рябчики никому сами въ ротъ не валятся, но онъ держитъ двухъ рабочихъ; у него есть золотые часы, а когда Михаилъ Занѣвскій разъ въ воскресенье утромъ зашелъ къ нему по дѣлу, то засталъ его даже въ халатѣ. Сидитъ себѣ въ халатѣ, куритъ трубку и пьетъ чай, какъ самый первый аристократъ! Вотъ какъ! И почему это другимъ счастье никогда такъ не улыбнется? Но, видно, воля Господня: одному все, а другому ничего; одному мука, а другому мякина.

Дѣвушки, сбившись тѣсной толпой, глаза проглядѣли, посматривая на дорогу, не ѣдетъ ли интересный кавалеръ. Одна утверждала, что Казиміръ, вѣрно, получитъ носъ отъ Ядвиськи, потому что она давно уже выбрала Янка Богатыровича и во что бы то ни стало хочетъ выйти за него; другая утверждала, что Ясмонтъ отобьетъ Ядвиську у Янка, потому что, куда ему! онъ, можетъ, вчетверо богаче

его; нѣкоторыя очень хвалили поджидаемаго кавалера и говорили, что онъ чудесно танцуетъ и стихами говоритъ. Нѣжныя, блѣдненькія, граціозныя Сѣмащанки, держась подъ руки, вмѣшались въ толпу высокихъ и плечистыхъ Богатыровиченъ, Ясмонтовенъ, Занѣвщанокъ и Стажинскихъ и, хотя, какъ чужія, еще никого не знали, стали тихонько и робко разспрашивать, будетъ ли старшій шаферъ держать рѣчь, потому что, если онъ такой богатый, то, навѣрное, гордый и откажется отъ рѣчи. Одна изъ Стажинскихъ и двѣ Занѣвщанки сразу начали говорить, что это ужъ будетъ зависѣть отъ того, понравится ли ему старшая дружка, онъ можетъ закапризничать и не произнесетъ рѣчи, а если ужъ произнесетъ, то очень хорошую, потому что говоритъ онъ плавно, словно вода бѣжитъ, да къ тому же еще стихами приговариваетъ. Стройная, какъ тополь, черноволосая Осиповичовна совсѣмъ не знала, кто будетъ первой дружкой у Эльжуси, но Богатыровичовны прекрасно знали, что будетъ Юстина Ожельская изъ Корчина, родственница Корчинскаго, и, разсказывая объ этомъ, онѣ такъ многозначительно улыбались, что это привлекало вниманіе всѣхъ присутствовавшихъ.

Вдругъ въ зеленомъ переулкѣ, который велъ отъ воротъ усадьбы къ дому, что-то блестящее, громкое, сверкающее съ грохотомъ и фырканьемъ прогалопировало и остановилось передъ крыльцомъ. Пріѣхалъ старшій шаферъ. Онъ пріѣхалъ бричкой, запряженной однимъ конемъ, но какой бричкой и какимъ конемъ! Первая сверкала новехонькой оковкой и прекраснѣйшимъ цвѣтомъ майской зелени, а второй — черный жеребецъ (гости перешептывались, что онъ могъ стоить рублей триста и происходилъ

изъ собственнаго завода своего обладателя) съ изогнутой лебединой шеей и блестящей, какъ атласъ, шерстью. Подъѣзжая почти галопомъ, такъ какъ онъ самъ чувствовалъ, что опоздалъ, Казиміръ Ясмонтъ въ одной рукѣ держалъ ременныя возжи, а другой, здороваясь со всѣми знакомыми, безпрестанно снималъ съ головы свою темносинюю шапку, а когда онъ дѣлалъ это, то на солнцѣ, кромѣ оковки брички и атласной шерсти коня, блестѣли надъ широкимъ лбомъ его золотистые, кудрявые, откинутые назадъ волосы. Онъ отдалъ возжи одному изъ младшихъ сыновей Фабіана, а самъ бросился въ домъ, пробылъ тамъ нѣсколько минутъ, снова появился на крыльцѣ и громко закричалъ:

— Музыка!

На этотъ окрикъ выскочили изъ толпы трое извѣстныхъ во всемъ округѣ молодыхъ братьевъ Занѣвскихъ, которые, ревностно занимаясь музыкальнымъ искусствомъ, играли у сосѣдей на свадьбахъ совершенно безкорыстно, только ради собственнаго удовольствія и изъ желанія услужить знакомымъ. Уже часа два у стѣнки дома стояли прислоненные къ ней двѣ скрипки и контрабасъ; теперь музыканты-любители схватили ихъ и бросились съ ними въ домъ. Туда же двинулись и всѣ свадебные гости, изъ которыхъ одни входили во внутрь, другіе же толпились около растворенныхъ дверей и оконъ

Свѣтлица у Фабіана была такъ же просторна, какъ и у Анзельма, только стѣны ея были выбѣлены не такъ гладко и полъ былъ старѣе. Отъ обычной ея меблировки сегодня не осталось ни слѣда, но каждый могъ догадаться, что кровати съ высоко взбитыми постелями, комоды и сундуки были вынесены для того, чтобы превратить ее въ столовую.

Вдоль трехъ стѣнъ стояли наскоро сколоченные изъ досокъ длинные столы, накрытые бѣлымъ холстомъ, установленные изрядно уже початыми жаркимъ, пирогами и сырами и окруженные скамьями и стульями. Между столами, въ глубинѣ довольно тѣснаго пространства, стояли родители невѣсты и жениха, двѣ свахи и два свата. Эльжуся, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, съ кускомъ бѣлаго тюля, спускавшагося съ головы до пятокъ, стояла рядомъ съ женихомъ, шея котораго была обмотана бѣлымъ галстухомъ, такимъ широкимъ и жесткимъ, что онъ былъ лишенъ всякой возможности пошевелить ею. Дальше, спиной къ дверямъ, стояло шесть паръ шаферовъ: Казиміръ Ясмонтъ съ Юстиной, Витольдъ Корчинскій съ Антолькой Ясмонтовой, Янъ Богатыровичъ съ Марылькой Занѣвщанкой, Адамъ Занѣвскій со Стефкой Обуховичовной, Владиславъ Осиповичъ съ Цецилькой Станѣвской и Михаилъ Богатыровичъ съ Альбертой Стажинской. Около стѣнки у дверей стояла музыка. Врывавшіеся въ открытыя окна обильные лучи блѣднаго солнца падали на разставленные на столахъ и уже початые пироги, жаркое и сыры, на рыжикоподобное лицо Фабіана, принявшее теперь торжественный видъ, на бѣлоснѣжный, топорщившійся крахмальными оборками корнетъ Фабіанихи, на желтое лицо и расфуфыренную голову Гецолдовой, на вздернутый и покраснѣвшій отъ слезъ носикъ невѣсты, на черные и бѣлые сюртуки шаферовъ, на бѣлыя, голубыя и розовыя платья дружекъ. Толпа такихъ же самыхъ сюртуковъ и платьевъ наполняла сѣни за раскрытыми дверями свѣтлицы. Всѣ стояли совершенно неподвижно, а тишина вдругъ воцарилась такая, что среди нея только слышно было, словно шумъ раздуваемыхъ огромныхъ мѣховъ, слив-

шееся въ одинъ звукъ тяжелое дыханіе тѣснившейся толпы.

Вдругъ сваха Гецолдова, глядѣвшая на всѣхъ съ гордостью арендаторши, съ высоты своей высокой и тонкой фигуры, бросила на полъ недокуренную папиросу и затоптала ее своей большой ногой, обутой въ прюнелевый башмакъ. Этотъ внезапный перерывъ, должно быть, любимаго, но несоотвѣтствовавшаго торжественности даннаго момента удовольствія, произошелъ вслѣдствіе движенія, которое сдѣлалъ старшій шаферъ. Хотя никто изъ присутствовавшихъ не сознался бы въ томъ, но всѣ съ безпокойствомъ ждали, произнесетъ ли онъ рѣчь, или нѣтъ, потому что однажды былъ уже съ нимъ такой случай, когда онъ вдругъ закапризничалъ и не хотѣлъ говорить потому, что ему не понравилась старшая дружка. Однако, за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, какъ Фабіанъ выполнилъ относительно незнакомой еще между собой пары торжественный актъ представленія, многіе замѣтили, что Казиміръ Ясмонтъ, быстро взглянувъ на Юстину, съ глубокимъ поклономъ поцѣловалъ протянутую ему руку въ самые кончики пальцевъ. Никто не видѣлъ никогда, чтобы онъ кому-нибудь кланялся подобнымъ образомъ. Вслѣдъ за этимъ, обернувшись къ товарищамъ-шаферамъ, онъ щелкнулъ пальцами и едва слышно прошепталъ:

— Прелесть, что за барышня! Взглянешь-точно меду хлебнешь!

Янъ весь вспыхнулъ и, какъ всегда, когда онъ былъ взволнованъ, посмотрѣлъ вверхъ; другіе въ знакъ утвержденія, тихо чмокнули, кивая головой. Только одинъ Владиславъ Осиповичъ, съ шапкой волосъ цвѣта вороньяго крыла, шепнулъ голубоглазой Цецилькѣ, за которой онъ ухаживалъ:

— Ничего особеннаго я не могу замѣтить въ этой барышнѣ.

Тѣмъ временемъ Казиміръ Ясмонтъ, сдѣлавъ движеніе, которое нѣсколько выдѣлило его изъ сбившагося въ одну кучу общества, остановился противъ жениха и невѣсты около стоявшаго здѣсь же на столѣ подноса съ горой миртовыхъ букетиковъ; онъ провелъ рукой въ бѣлой перчаткѣ по своимъ золотистымъ кудрямъ и такимъ звучнымъ голосомъ, что его было слышно за окнами, даже въ городѣ, началъ:

— Вотъ передъ вами лежитъ вѣнокъ, свитый не изъ жемчуга и не изъ брилліантовъ, но изъ зеленаго мирта, символа дѣвичества, который для людскихъ очей милъ, а тебѣ, молодая невѣста, въ сегодняшній день долженъ быть почетнымъ украшеніемъ...

Говоря это, онъ указывалъ на подносъ съ миртомъ. Онъ граціозно взялъ съ него маленькій миртовый вѣнокъ и, протянувъ его къ жениху и невѣстѣ, продолжалъ свою рѣчь все отчетливѣе и громче:

— Теперь обрати вниманіе, достойнѣйшая пара, на тѣ нѣсколько моихъ мыслей, которыя выразятся въ слѣдующей формѣ: Ты хорошо видишь, молодая невѣста, что наступилъ послѣдній срокъ, въ которомъ ты будешь носить вотъ этотъ самый вѣнокъ, который ты видишь предъ собою, потому что послѣ сегодняшняго дня онъ исчезнетъ и не возвратится болѣе на твою голову.

Тутъ Эльжуся начала тихонько всхлипывать и съ большимъ трудомъ вытаскивать носовой платокъ изъ кармана своего подвѣнечнаго платья, но шаферъ, впившись въ нее глазами, продолжалъ, не прерывая:

— Ахъ! прекрасный это лавръ быть дѣвицей! Нужно его облить горькими слезами, потому что какимъ же должно было быть сердце этой прекрасной дѣвицы, если бы она не плакала въ сегодняшній день? Но я такъ скажу, что нѣтъ ничего на свѣтѣ болѣе естественнаго, какъ супружескій законъ, и что Богъ, который сотворилъ небо, землю и золотыя звѣзды, установилъ для счастья человѣческаго и этотъ законъ. И нѣтъ въ этомъ причины печалиться и горевать, ибо ты, невѣста, хотя и лишаешься родительскихъ попеченій, но взамѣнъ ихъ пріобрѣтаешь вѣрнаго друга на вѣки вѣковъ, до скончанія міра; а ты, женихъ, то прими во вниманіе, что Богъ солнцемъ, а мужъ доброй женой свѣтъ себѣ веселитъ. И такъ какъ наступилъ уже этотъ свадебный день, то я, отъ лица всѣхъ собравшихся здѣсь поѣзжанъ и всѣхъ находящихся здѣсь родственниковъ, друзей и знакомыхъ, высказываю тебѣ, достойнѣйшая пара, въ качествѣ вашего перваго и самаго старшаго шафера, самыя лучшія пожеланія...

Тутъ онъ сталъ говорить еще болѣе протяжно, а въ толпѣ даже не стало слышно громкаго дыханія, съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ ждали всѣ дальнѣйшихъ словъ шафера, которыя раздались еще отчетливѣе и торжественнѣе прежняго.

— Пусть вамъ жизни денекъ совьется, какъ вѣнокъ, въ которомъ свѣтлый цвѣтокъ чередуется съ темнымъ, и всѣ они счастьемъ сіяютъ, потому что другъ друга обнимаютъ. Горе послѣ счастья и счастье послѣ горя вы будете переносить въ спокойствіи, черпая другъ у друга утѣшеніе въ дружбѣ и любви. Радуйтесь, что въ сегодняшній день алтарь святой и женщину, и мужчину клятвой вѣрности соединитъ. А вотъ и музыка гремитъ.

Тутъ дѣйствительно двѣ скрипки и контрабасъ грянули что-то, походившее не то на шумный маршъ, не то на размашистую мазурку. Покрывая голосомъ эту шумную музыку и взявъ въ обѣ руки наполненный миртовыми букетиками подносъ, старшій шаферъ закончилъ:

— Пора ужъ и въ костелъ за седьмымъ таинствомъ поспѣшить, а раньше этого къ ногамъ родительскимъ за отцовскимъ и материнскимъ благословеніемъ головы склонить. А поэтому покорнѣйше прошу, дружка, съ веселымъ лицомъ, съ неомраченнымъ челомъ, ласковой рукой мирты эти принять и присутствующимъ въ знакъ свадебнаго дня раздать.

Онъ съ низкимъ поклономъ подалъ Юстинѣ подносъ съ миртомъ, а она взамѣнъ положила на немъ тонкій бѣлый платокъ съ прекрасно вышитыми его иниціалами. Все его большое, покрытое веснушками, розовое лицо, съ широкимъ лбомъ и густыми усами, вспыхнуло отъ удовольствія и гордости.

— Если бы я получилъ золотой и брилліантовый даръ, то я не былъ бы такъ доволенъ, какъ этимъ сувениромъ, вышитымъ вашими ручками, — проговорилъ онъ съ глубокимъ поклономъ.

Но въ ту же минуту онъ почувствовалъ, что его схватили чьи-то руки. Это былъ Витольдъ, второй шаферъ, который неожиданно съ увлеченіемъ поцѣловалъ его въ обѣ щеки.

— Извините,—говорилъ онъ,—можетъ быть, вы разсердитесь за то, что, будучи такъ мало знакомъ, я такъ фамильярно... но вы такъ чудесно говорили эту рѣчь... скажите, вы сами ее составили, или же?..

— Отчасти! отчасти!.. — отвѣтилъ тотъ, сжимая руку своего новаго пріятеля такъ сильно, что бѣлая перчатка съ трескомъ лопнула.

Тутъ музыка внезапно умолкла и въ свѣтлицѣ началъ раздаваться измѣнившійся до неузнаваемости голосъ Фабіана. Эльжуся во весь ростъ рухнула къ его ногамъ, а женихъ со стукомъ упалъ на колѣни, но, не будучи въ состояніи изъ-за жесткаго галстуха наклонить голову, сохранялъ видъ торчащаго кола. Фабіанъ же, хотя обычай вовсе не обязывалъ его произнести рѣчь, измѣнившимся отъ волненія, или нарочно измѣненнымъ голосомъ началъ:

— Дѣды и прадѣды наши праздновали свадьбы свои на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ и я праздную сегодня твою, дочь моя! Знай же, что ты не должна быть ни сварливой, ни расточительной, ни болтливой, не сидѣть сложа руки или, сохрани Богъ, разгульной или легкомысленной, но ты должна быть для твоего спутника жизни помощницей, должна быть мирной и послушной.

Въ этомъ мѣстѣ рѣчи Эльжуся, несмотря на то, что она лежала лицомъ почти на полу и вытирала платкомъ глаза, сильно дернула своего жениха за полу сюртука и шепнула:

— Да наклонитесь же! Развѣ это прилично во время отцовскаго благословенія торчать носомъ кверху!

Какъ бы по командѣ, Франусь вдругъ энергично смялъ подбородкомъ край галстуха и склонилъ голову. Фабіанъ какъ разъ обращался къ нему съ своей рѣчью:

— А тебѣ, зять мой, отцовскимъ словомъ и сердцемъ завѣщаю, чтобы ты подругу, которую я тебѣ даю, уважалъ и во всемъ ей былъ помощью, согласно, миролюбиво, не съ крикомъ, не грубо, но...

Тутъ, несмотря на то, что онъ прослезился, жесткіе пучки его усовъ зашевелились, точно подъ ними скользнула улыбка.

— Но также и возжи женкѣ не слишкомъ распускай. И то также запомни хорошенько, что плохой хозяинъ самое лучшее состояніе небрежностью своей растратитъ, а заботливый и умѣлый изъ ничего сумѣетъ разжиться. Сказалъ я вамъ, дѣти мои, это послѣднее отцовское наставленіе изъ глубины души моей и молю Всемогущаго Бога, да ниспошлетъ Онъ вамъ... всякую... милость... и... бла... го... получіе!

Тутъ ужъ онъ расплакался такъ, что конца его словъ никто не могъ разобрать; плакали въ свою очередь и благословившіе молодыхъ родители жениха и сваха Стажинская, а сваха Гецолдова, пренебрегая чувствительностью толпы, быстро мигала вѣками, чтобы удержать слезы. Невѣста, а за нею и женихъ уже начали почти ревѣть. Въ это время за окномъ, въ тѣснившейся снаружи мозаикѣ лицъ показалось желтое худое лицо въ огромныхъ темныхъ очкахъ и Богатыровичъ Апостолъ, подымая вверхъ руки, закричалъ:

— Обѣтовано царствіе небесное тому человѣку, который сыну своему или дочери своей сдѣлалъ брачный пиръ!

Слова эти были каплей, переполнившей чашу чувствительности присутствовавшихъ, огромное большинство которыхъ разразилось плачемъ, причемъ всѣ начали цѣловаться. Съ плачемъ обнимались и цѣловались родители невѣсты и жениха, сваты и свахи, дружки и шафера; въ свѣтлицѣ, за окнами, за дверями, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ не слышно было ничего, кромѣ всхлипываній и поцѣлуевъ, перемѣшанныхъ съ начатыми, прерываемыми и неоконченными поздравленіями, выраженіями благодарности, благословеніями и пожеланіями. Плачущія и смѣющіяся одновременно дружки, цѣлуя и поздра-

вляя, вертѣлись между присутствующими, прикалывая всѣмъ миртовые букетики.

Казиміръ Ясмонтъ первый началъ водворять порядокъ въ этомъ всеобщемъ замѣшательствѣ и разлившемся потокѣ чувствъ. Онъ повелъ нѣсколько разъ взоромъ по этому возбужденному муравейнику, нетерпѣливо пошевелилъ широкими плечами, нѣсколько разъ щелкнулъ пальцами, открылъ было ротъ и опять закрылъ, но, наконецъ, встряхнувъ, какъ гривой, своими кудрями, онъ выпрямился во весь ростъ и крикнулъ зычнымъ голосомъ:

— Въ путь!

А потомъ, раздвигая грудью и боками толпу, какъ китъ воду, и покрывая ея однообразное гудѣніе своимъ зычнымъ голосомъ, онъ продолжалъ кричать:

— Въ путь, господа! въ пу-ть! въ пу-ть! въ пу-ть!

Почти половина присутствовавшихъ двинулась къ запряженнымъ бричкамъ и осѣдланнымъ лошадямъ, но первый шаферъ всталъ передъ этой подвижной волной съ распростертыми руками и, сдерживая ея напоръ собственною грудью, кричалъ:

— Тише, господа! ти-ше! по порядку! по порядку!

И долго еще потомъ въ толпѣ головъ, лицъ, сюртуковъ, платьевъ, кишѣвшихъ вокругъ бричекъ и лошадей, передвигалась его тёмносиняя шапка, прикрывавшая только макушку кудрявой головы, а повелительный, диктаторскій голосъ кричалъ и дирижировалъ:

— Прошу садиться! Да садитесь же, пожалуйста! Невѣста съ своей свахой! Женихъ со своимъ сватомъ! Вторая сваха вмѣстѣ съ своимъ сватомъ!

Первая дружка! Гдѣ первая дружка? Пожалуйте за мной! Покорнѣйше прошу! Вторая дружка съ вторымъ шаферомъ!.. Музыка! Гей! слышите вы, музыканты! Занѣвскіе, гей! садиться вонъ на ту бричку!.. тамъ за поѣзжанами!..

И такъ далѣе, и такъ далѣе въ теченіе доброй четверти часа, пока, наконецъ, все это разомъ не ринулось, загрохотало, затопотало, загремѣло музыкой, криками, смѣхомъ, фырканьемъ лошадей, и не выкатилось изъ густого тумана пыли, взвившейся надъ усадьбой Фабіана, на гладкій поблекшій коверъ, устилающій широкія поля, подъ блѣдно-золотое солнце, въ прозрачный, хрустальный воздухъ.

Тишина, однако, не вполнѣ воцарилась въ усадьбѣ Фабіана. По крайней мѣрѣ, половина собравшагося общества осталась здѣсь и угощалась провизіей, разставленной на столахъ, за которыми потомъ до самаго захода солнца смѣнялись пирующіе. Ко всѣмъ этимъ супамъ, жаркимъ, колбасамъ, блинчикамъ, лапшѣ, въ перемежку съ умѣренно попиваемымъ медомъ и пивомъ, присаживались, за тѣснотой мѣста, партіями, десятка по два человѣкъ въ каждой. Когда одни закусывали въ свѣтлицѣ, другіе, въ ожиданіи своей очереди или уже получившіе ее, прохаживались въ это время въ саду и по дорогѣ, бесѣдуя, развлекаясь, ухаживая.

Фабіанъ не покидалъ свѣтлицы, угощая и занимая гостей такъ усердно, что весь обливался потомъ, который онъ поминутно вытиралъ платкомъ съ лица, лысины и затылка. Однако, несмотря на радушіе и обычную говорливость, каждый могъ замѣтить, что его гнететъ какая-то тайная, мучительная забота. Онъ меньше обыкновеннаго сыпалъ шутками и поговорками, часто, начавъ какую-нибудь многословную

рѣчь, онъ на половинѣ обрывалъ ее и задумывался, нахмуривъ лобъ и высовывая впередъ свои пучки усовъ.

Такая же точно забота, несмотря на искреннее участіе, принимаемое въ отдыхѣ и веселью, несмотря на неспѣшно опорожниваемыя небольшія чарки меду и пива, виднѣлась и на лицахъ другихъ Богатыровичей, въ особенности старшихъ и отцовъ семействъ. То тѣ, то другіе потихоньку, а то и громко разсказывали знакомымъ, пріѣхавшимъ изъ другихъ околицъ, о проигранной тяжбѣ съ Корчинскимъ и о тяжелой по поводу этого заботѣ. Нѣкоторые угрюмо ворчали, что послѣ этой свадьбы вскорѣ придется горько закручиниться[1], или же — скоро это веселье смѣнится плачемъ, когда жестокій, неумолимый сосѣдъ нагрянетъ на нихъ со взысканіемъ; а когда самые веселые изъ пирующихъ поздравляли Фабіана съ такой пышной свадьбой дочери, онъ затрясъ руками и съ прорвавшимся вдругъ огорченіемъ заговорилъ о своей заботѣ.

— Іисусе распятый! — кричалъ онъ, разставляя руки, — лучше бы мнѣ внезапно умереть, чѣмъ дождаться подобнаго разоренія и стыда, какой меня въ скорости постигнетъ! Свадьба! Свадьба! Да, конечно, свадьба, и вдобавокъ единственной дочери, одна голова на шеѣ! Да что же изъ этого? Три дня радости, а горя до смерти! Пусть бы меня земля проглотила прежде, чѣмъ наступитъ конецъ этой свадьбы, дай Господи!

Иные пробовали утѣшить огорченныхъ сосѣдей.

— Не бойтесь! У Бога всего много! — кричалъ кто-то изъ толпы.

---

[1] Непереводимая игра словъ, такъ какъ по польски слово „wesele“ означаетъ и свадьбу, и радость. (Ред.)

Богатыровичъ Апостолъ, высоко поднявъ свои глаза, покрытые темными очками, затянулъ сокрушеннымъ голосомъ:

— Временныя это потери, ничтожество этого міра, мимолетное... призрачное...

Серьезный, не молодой Стшалковскій, въ длинномъ сюртукѣ изъ самодѣла, похожемъ на сермягу, съ умными глазами на истощенномъ лицѣ, старался убѣдить:

— Что-жъ дѣлать? Не надо убиваться, потому что какъ ни убивайся — ничего не поможетъ. Корчинскій человѣкъ суровый и для бѣдныхъ людей неумолимый, — въ томъ слова нѣтъ... и мы его хорошо знаемъ... го! го! на своихъ собственныхъ спинахъ знаемъ... но слышно, сынъ у него хорошій, на людей волкомъ не глядитъ... Можетъ быть, онъ станетъ посредникомъ между отцомъ и сосѣдями...

— Навѣрно, какъ же. Я ужъ и самъ объ этомъ думалъ, — медленно подтвердилъ Валентій Богатыровичъ.

— Да ужъ, видно, не иначе, какъ придется намъ обратиться къ нему, — говорили иные.

— Иначе ужъ и быть не можетъ, только придется намъ просить его быть посредникомъ между нами и отцомъ.

Фабіанъ возмущался и протестовалъ противъ подобнаго намѣренія. Онъ никого не станетъ просить, послѣднюю корову продастъ, а не ляжетъ, какъ убогій Лазарь, у порога богача. Но другіе съ крикомъ обрушились на него.

— Нечего тутъ щетиниться! Сердитъ, да не силенъ! Теперь, небось, легко фыркать, а лучше было не подбивать сосѣдей на эту тяжбу или искать

лучшаго адвоката! Самъ всѣхъ подвелъ, а теперь отъ единственнаго спасенія пятится!..

Эти упреки мучили Фабіана больше всего.

— Я не считаю себя виновнымъ! — оправдывался онъ полугнѣвно, полуслезливо, — никто не желаетъ зла. Я разсчитывалъ сдѣлать какъ можно лучше для нашего общества и отомстить Корчинскому за все; а если меня худой человѣкъ обманулъ, то неужели же меня за это казнить сейчасъ!

— Съѣстъ онъ тебя сейчасъ, что ли молодой Корчинскій? — кричали сосѣди. — Ему и поклониться не стыдно, потому что онъ не плюетъ на несчастье, а всегда къ людямъ расположенъ и самъ человѣческаго расположенія ищетъ.

— Убей меня Богъ! — хныкалъ Фабіанъ, хватаясь за голову, — если я ожидалъ, что подобная бѣда свалится на мою голову, и мнѣ придется на старости лѣтъ превратиться въ Іова, просящаго о милосердіи.

Апостолъ, подымая къ потолку свои худыя руки въ толстыхъ рукавахъ кафтана, жалобно напоминалъ:

— Не будутъ сыновья отвѣчать и умирать за отцовъ своихъ, но каждый умретъ въ своихъ собственныхъ грѣхахъ и покаяніи!

Такъ, немного не по свадебному, бесѣдовали въ свѣтлицѣ старшіе, но молодежи, наполняющей садъ и дворъ, было не до печали и грустныхъ разсужденій. Вечеръ приближался и наступала пора начинать танцы, да, пожалуй, уже наступила, потому что свѣжій вечерній холодъ начиналъ ласкать разогрѣвшіяся отъ угощеній, разговоровъ и смѣха лица. Прежде всего молодые съ поѣзжанами долго просидѣли за обѣдомъ, потому что въ началѣ его сватъ затѣялъ

длинную рѣчь, прерывая ее черезъ каждыя нѣсколько словъ громоподобнымъ смѣхомъ, а при концѣ Апостолъ тоже прочелъ нѣсколько очень назидательныхъ молитвъ и наставленій; потомъ усадили за столъ музыкантовъ, а теперь, когда уже и музыканты подкрѣпились, старшій шаферъ опять, очевидно, чѣмъ-то недовольный и кислый, то прохаживался по дорогѣ, то вдругъ останавливался, точно поджидая и высматривая кого-то, и почти ни съ кѣмъ не хотѣлъ разговаривать, кромѣ Домунтовъ.

Съ Домунтами онъ, должно быть, и раньше былъ знакомъ, а теперь пытался совсѣмъ подружиться съ ними и, очевидно, старался щегольнуть передъ своими новыми друзьями; онъ вывелъ имъ изъ конюшни своего жеребца и, показывая его со всѣхъ сторонъ, поминутно вынималъ золотые часы, какъ-бы для того, чтобы узнать, который часъ, и, наконецъ, отставивъ далеко въ сторону одну ногу въ блестящемъ сапогѣ, онъ принялся ковырять въ зубахъ поднятой съ земли щепочкой совсѣмъ такъ, какъ это привыкли дѣлать аристократы послѣ ѣды. Несмотря на то, что онъ былъ хорошаго роста, и природа не поскупилась, надѣляя его крѣпкими плечами, но рядомъ съ огромными Домунтами онъ казался почти маленькимъ, но въ значительной степени превосходившимъ ихъ развязностью и щегольствомъ.

Вскорѣ къ нимъ присоединилось нѣсколько безстрашныхъ Обуховичей, подошелъ, подбоченившись, Михаилъ Богатыровичъ въ своемъ канареечномъ сюртукѣ, приблизились и Лозовицкіе съ закрученными вверхъ усами, а вмѣстѣ съ ними подошелъ Станѣвскій съ высокимъ лбомъ, и, такимъ образомъ, среди дороги образовалась группа человѣкъ въ двѣнадцать, составлявшая какъ-бы избранное общество, оживлен-

ная бесѣда котораго разносилась въ тихомъ воздухѣ.

За ними, тутъ же, около дороги, среди толпившейся мужской и женской молодежи, сыновья Фабіана, — рыжеватый мрачный Адамъ и рыжій, плечистый, вѣчно смѣющійся Юлекъ,—растворяли настежь бальную залу. Она помѣщалась тутъ же — у дороги, въ крытомъ гумнѣ въ концѣ огорода. Стукнули, скрипнули и распахнулись настежь ворота гумна, и изъ темной глубины его хлынулъ крѣпкій ароматъ наполняющаго закромы хлѣба. Младшіе сыновья Фабіана проворно, точно бѣлки, взбирались на гладкіе столбы, отдѣляющіе закромъ отъ свободнаго пространства, предназначеннаго для молотьбы, и развѣшивали на нихъ стекляные и плотно замкнутые фонари. Въ глубинѣ гумна усѣлись музыканты и принялись настраивать свои инструменты съ протяжнымъ пискомъ и гудѣніемъ. По сторонамъ, между столбами, начали уже разсаживаться на длинныхъ и узкихъ скамьяхъ пожилыя женщины. По срединѣ прохаживались, взявшись подъ руки, маленькія, робкія Сѣмащанки, наружность которыхъ, несмотря на нѣжное сложеніе, выдавала бѣдность и трудъ. Впрочемъ, почти всѣ еще находились на открытомъ воздухѣ, когда въ полѣ показалась женщина, движущаяся по направленію къ усадьбѣ и подгоняющая большой вѣткой крупнаго и хорошо упитаннаго коня, который сильно хромалъ на одну ногу.

— Іисусе! — послышались женскіе голоса въ толпѣ, стоявшей у воротъ гумна. — Да вѣдь это Ядвиська! Ошалѣла она, что ли, чтобы въ свадебный день показываться людямъ въ такомъ видѣ?

Высокая, плечистая, босикомъ, въ короткой самодѣльной юбкѣ и въ розовой кофтѣ, сшитой еще

передъ жатвой, съ растрепанной косой, Домунтова подгоняла вѣткой хромого коня и проходила мимо нарядныхъ группъ, нисколько не смущаясь. На нѣсколько обращенныхъ къ ней привѣтовъ и вопросовъ изъ-за плетня и открытаго гумна она, не останавливаясь, отвѣчала своимъ низкимъ голосомъ, что работникъ испортилъ вчера самаго лучшаго коня, такъ что она ужъ сегодня сама водила его къ ветеринару и теперь возвращается оттуда. Работнику она не захотѣла довѣрить животное, изъ боязни, чтобы онъ еще хуже не испортилъ его.

— Ну! ну! — кричала она, слегка похлопывая вѣткой хромого коня.

Одной изъ группъ она бросила вопросъ.

— Пріѣхали мои братья изъ Сѣмашекъ?

У перваго шафера чуть глаза не выскочили изъ орбитъ, такъ онъ пристально смотрѣлъ на нее. Онъ уже видѣлъ ее какъ-то разъ, но сегодня она понравилась ему еще больше, чѣмъ тогда. Онъ обѣими руками хлопнулъ себя по бокамъ и защелкалъ пальцами.

— Прелесть, что за дѣвушка! Сейчасъ видно, то настоящая хозяйка и знаетъ цѣну доброму коню. Ахъ, если бы я только могъ посмотрѣть этого коня вблизи, я сейчасъ бы узналъ, что ему нужно сдѣлать, лучше всякаго коновала!

Видно было, что ему ужасно хотѣло очутиться подлѣ этой дѣвушки и ея коня, и что босыя ноги, растрепанная коса и самодѣльная юбка дѣвушки нисколько не уменьшали ея достоинствъ въ его глазахъ, а даже, наоборотъ, возбуждали въ немъ уваженіе и счастливую увѣренность въ ея достоинствахъ. Онъ, однако, не могъ посмотрѣть вблизи ни на нее, ни на ея хромавшаго коня, потому что она свернула съ до-

роги на тропинку къ своей усадьбѣ. Кто-то издали закричалъ ей, спрашивая, придетъ ли она на танцы? Она прокричала въ отвѣтъ, что, можетъ быть, танцы у кого-нибудь и на умѣ, но только ничуть не у нея, потому что надо присмотрѣть за больнымъ конемъ и сидѣть съ дѣдушкой. Поднявъ голову, Ясмонтъ напряженно выслушалъ ея отвѣтъ а затѣмъ, положивъ правую руку на плечо одного Домунта а лѣвую — на плечо другого, онъ что-то прошепталъ имъ, послѣ чего оба бѣгомъ пустились за своей двоюродной сестрой; издали было видно, какъ они дружески пожимали дѣвушкѣ руки, что-то говорили ей, о чемъ-то просили, а она упиралась и отрицательно трясла головой и, наконецъ, снова, обмѣнявшись съ братьями рукопожатіемъ, погнала дальше хромого коня, Домунты же бѣгомъ возвращались съ открытыми головами къ Ясмонту, издали размахивая шапками и крича:

— Придетъ? А какъ же! разумѣется придетъ! Не хотѣла, говорила, что съ дѣдушкой нужно сидѣть, но должна была послушать братьевъ и обѣщала прійти!

При этомъ извѣстіи большое, покрытое веснушками либо Казиміра Ясмонта просіяло отъ удовольствія, и, взглянувъ сперва на золотые часы, онъ вынулъ изъ кармана пиджака кожаную папиросницу и началъ угощать братьевъ Ядвиги папиросами.

Почти въ эту самую минуту съ противоположной стороны отъ корчинской усадьбы приближались двѣ женщины: одна, очень высокая въ черной мантильѣ, съ высокимъ гребнемъ въ волосахъ, а другая, значительно ниже первой, въ бѣломъ платьѣ съ розовымъ поясомъ.

Витольдъ, который въ это время толковалъ передъ заинтересованной группой молодежи объ улучшеніи качества лишенной пастбищъ земли при помощи разведенія лупина, замѣтивъ приближающихся женщинъ, бросился къ нимъ и расцѣловалъ ихъ въ обѣ руки. Подошла также и Юстина, а Фабіаниха, которую дѣвушки съ большимъ крикомъ вызвали изъ гумна, уже продѣлывала предъ Мартой свои менуэтныя присѣданія, не преминувъ упомянуть и о Гецолдахъ.

Все это происходило подъ самой стѣной гумна, обросшей цѣлымъ лѣсомъ бурьяну; сюда съ противоположной стороны отъ Анзельмовой усадьбы со смѣхомъ подвигалась шумная группа: бѣлѣвшая своимъ подвѣнечнымъ платьемъ молодая, съ помощью мужа, а также нѣсколько дѣвушекъ и парней, силой вела на свою свадьбу сосѣда Анзельма. Онъ вовсе не имѣлъ намѣренія приходить; онъ не могъ добровольно вмѣщаться въ шумъ, говоръ, толпу; онъ даже заперся было въ своей горенкѣ, но тамъ напала на него свадебная саранча подъ предводительствомъ молодой, которая первая вскочила въ открытое окно горенки. Они до тѣхъ поръ называли его графомъ, нелюдимымъ, гордецомъ и упрямцемъ, до тѣхъ поръ упрашивали и адски шумѣли надъ самымъ его ухомъ, пока онъ, наконецъ, не согласился пойти съ ними на часочекъ, только на одинъ часочекъ, лишь бы только не обидѣть молодыхъ, что онъ, такой близкій сосѣдъ и родственникъ, пренебрегъ ихъ свадьбой. Ему удалось только добиться отъ нихъ разрѣшенія обуть свои новые сапоги и обвязать чернымъ галстухомъ воротъ своей ежедневной сорочки. Теперь онъ уже не упирался, а только съ растерянным взглядомъ и страдальческой улыбкой, поминутно при-

подымая передъ знакомыми свою большую баранью шапку, шелъ туда, куда вели его подъ руки, съ одной стороны, Эльжуся, а съ другой — Франусь.

Вдругъ онъ рѣзкимъ движеніемъ высвободилъ свои руки и, запахиваясь еще плотнѣе въ кафтанъ, устремилъ глаза въ одну точку и сталъ пятиться къ стѣнѣ гумна, пока не прижался къ ней спиной, стоя почти по колѣни въ густомъ бурьянѣ. Онъ увидѣлъ Марту, которая тоже замѣтила его и, сдѣлавъ еще нѣсколько широкихъ шаговъ, остановилась. Въ черной юбкѣ и мантильѣ, съ лиловымъ бантомъ на груди, немного сгорбившись и подавшись впередъ своимъ маленькимъ, желтымъ, покрытымъ морщинами лицомъ, она, точно тяжелый столбъ, остановилась передъ нимъ.

Расшалившаяся молодежь съ невѣстой во главѣ, добившись своего, разсѣялась во всѣ стороны; Марта же и Анзельмъ цѣлую минуту глядѣли другъ на друга. Наконецъ, онъ, медленно приподымая шапку, началъ притихшимъ и сильно заикающимся голосомъ:

— С...с...коль...ко лѣ...тъ, с...с...коль...ко зи...мъ.

А она тоже начала:

— Гора съ горой ... гора съ горой!.. и протянула ему свою большую темную руку, которую онъ взялъ медленнымъ движеніемъ и задержалъ ее въ своихъ рукахъ. Они снова молча глянули другъ на друга; у нея началъ дрожать подбородокъ и нижняя губа, онъ медленно покачивалъ головой.

— Двадцать три года ... двадцать три года ... — говорила она.

А онъ, погрузившись въ сосредоточенное, неподвижное созерцаніе, не спуская съ нея глазъ, началъ:

— Утро видѣло цвѣтущей, румяной, а вечеръ...

Онъ оборвалъ и, сильно тряхнувъ головой, глядѣлъ куда-то въ сторону. Она покраснѣла такъ, какъ, вѣроятно, случалось съ ней тогда „утромъ“, но вдругъ, точно отрезвившись, она засмѣялась:

— А вы, Анзельмъ, вѣрно, думаете что не постарѣли? Ой, ой! Вѣчная потѣха! Не мы однѣ старимся...

Онъ вырвался изъ бездны воспоминаній, въ которую его погрузилъ видъ этой женщины, выпустилъ ея руку и съ шутливой улыбкой сказалъ:

— Правда! А какъ же! Безжалостная старость никого не краситъ!

Они не замѣтили, что ихъ окружили нѣсколько пожилыхъ хозяевъ, которые когда-то знали Марту и теперь шли поздороваться съ ней. Каждый изъ нихъ напоминалъ ей, какъ онъ нѣкогда встрѣчалъ ее въ Корчинѣ; одинъ выражалъ удивленіе по поводу количества промчавшихся лѣтъ, другой освѣдомлялся, помнитъ ли она его брата, который въ тѣ времена скрылся навсегда куда-то очень далеко; третій, самый старшій, тихо говорилъ ей что-то о своемъ сынѣ, о панѣ Андреѣ, указывая движеніемъ головы на занѣманскій боръ. Она пожимала всѣмъ руки, все помнила и вмѣстѣ со всѣми трясла головой, повторяя:

— Старыя времена! Старыя времена!

Потомъ она, по приглашенію Фабіанихи, вошла въ гумно и тамъ также среди сидящихъ на скамейкахъ женщинъ нашла немало старыхъ и давно невиданныхъ знакомыхъ. Одѣтая сегодня въ свѣтлое, Стажинская бросилась къ ней и, полуплача и полусмѣясь, стала ей напоминать о своемъ первомъ мужѣ; подошла жена Валентія и засвидѣтельствовала ей

свою добрую память о томъ, какъ панна Марта когда-то, въ то старое, иное, о, совсѣмъ не такое, какъ теперь, время, выучила читать и писать ея троихъ дѣтей; приблизилась также и Гецолдова, представившись ей въ качествѣ арендаторши сосѣдняго фольварка, и угостила ее папиросами; иныя выражали удивленіе по поводу того, что видятъ ее здѣсь. Поздоровавшись со всѣми, она усѣлась на скамейкѣ, отвѣчая удивлявшимся:

— А что-жъ дѣлать, мои милыя! Что-жъ дѣлать? Не хотѣлось курицѣ на свадьбу идти, да пришлось-таки пойти...

Эта шутка вызвала всеобщее веселіе и создала чувство близости. О! она знала, какъ нужно говорить съ этими людьми и любила такъ говорить. Она сидѣла между ними и разговаривала о свадьбѣ и связанныхъ съ нею интересахъ, точно помолодѣвшая, хотя все еще немного сгорбившись, веселая, какъ никогда, хотя немного смущенная, окидывала взоромъ окружавшія ее лица и фигуры.

Противъ нея Витольдъ, обладавшій здѣсь безчисленными знакомствами, знакомилъ Марыню Кирло съ Сѣмащанками, которыя, продолжая держаться подъ-руки, завязывали новое знакомство съ видимымъ удовольствіемъ. Молоденькая дѣвушка въ томъ же самомъ нарядѣ, въ которомъ она была на именинахъ въ Корчинѣ, казалась, какъ и всегда, удивительно свѣжимъ цвѣткомъ шиповника, и, чувствуя себя храбрѣе въ присутствіи своего друга, отъ всего сердца протягивала обѣ руки своимъ новымъ пріятельницамъ.

Тѣмъ временемъ Юлекъ позажигалъ свѣчи въ фонаряхъ, развѣшанныхъ на столбахъ гумна: при свѣтѣ ихъ показались наполненные разнымъ хлѣбомъ

закрома и узенькіе проулочки между ними; вокругъ же гумна все кипѣло. Солнце уже ушло за боръ; въ сумеркахъ сквозь порѣдѣвшіе сады кое-какъ просвѣчивалъ серебромъ Нѣманъ. Въ саду и огородѣ повсюду слышались мужскіе и женскіе голоса, по одиночкѣ, хоромъ, то стыдливо, то съ нетерпѣніемъ зовущіе:

— Ясмонтъ! Ясмонтъ! Казиміръ! Казё! Ясмонтъ! Яс-монтъ! Ясмонтъ!

Нѣсколько минутъ не слышно было ничего другого, кромѣ этого имени. Самая разбитная сваха бѣгала въ отчаяніи по дорогѣ.

— Потому что, — жаловалась она, — неизвѣстно, на свадьбу ли собрались люди, или на похороны. Если онъ ждетъ Ядвиськи, то и прекрасно, пускай себѣ идетъ къ ней, но сперва, какъ подобаетъ шаферу, пусть начнетъ танцы... Ясмонтъ! Да гдѣ онъ пропалъ? Яс-монтъ! Ясмонтъ! Ясмонтъ!

Но Ясмонтъ и не думалъ пропасть, и до сихъ поръ все прохаживался по дорогѣ съ двоюродными братьями Ядвиги, оживленно разговаривая съ ними. Очевидно, онъ остался доволенъ результатомъ этого разговора, потому что, услыхавъ повторявшееся со всѣхъ сторонъ свое имя, онъ швырнулъ папиросу на землю, затопталъ ее ногой и ринулся въ гумно со свахой, уцѣпившейся за его рукавъ. Тамъ, оглядѣвшись быстро среди окружающихъ, онъ подошелъ къ старшей дружкѣ и, такъ какъ это было обязанностью, пригласилъ ее на танецъ, а когда она въ знакъ согласія, слегка поклонилась ему, онъ махнулъ рукой музыкантамъ и крикнулъ:

— Занѣвскіе! Жарьте!

Музыка заиграла веселую польку; начались танцы, которыхъ уже давно ожидали съ нетерпѣніемъ

Между закромами вертѣлось около двадцати паръ, снàчала одновременно, но когда тѣснота становилась чрезмѣрной, то стали танцовать по очереди, смѣняя другъ друга. Витольдъ въ роли второго шафера, прежде всѣхъ пригласилъ невѣсту; Эльжуся съ удовольствіемъ вскочила со скамейки и, положивъ ему на плечо руку, громко предупредила его:

— Очень хорошо! Только подольше танцуйте и сильно трясите, потому что я иначе не люблю!

Марыня Кирло досталась одному изъ молодыхъ Сѣмашко, а маленькія Сѣмащанки оказались подхваченными огромными Домунтами, что вызвало среди сидѣвшихъ на лавкахъ пожилыхъ женщинъ хихиканье и замѣчанія, что Домунты пошли съ кувшинами за водой. Впрочемъ, пары мѣнялись и составлялись очень разнообразно. Нѣкоторые изъ кавалеровъ были въ лайковыхъ или нитяныхъ перчаткахъ, тѣ же, которые не имѣли ихъ передъ началомъ танцевъ, обертывали платкомъ ту руку, въ которой должна была лежать рука ихъ дамы; каждый изъ нихъ, протанцовавъ, отводилъ свою даму къ скамьямъ и табуреткамъ, или, по крайней мѣрѣ, подводилъ ее къ стѣнкѣ, отвѣшивая предъ нею вѣжливый поклонъ въ знакъ благодарности.

Дѣвицы не преувеличивали, когда разсказывали о томъ, какъ хорошо танцуетъ Казиміръ Ясмонтъ. Дѣйствительно, онъ былъ превосходный танцоръ и чрезвычайно любезный съ своими дамами, да, впрочемъ, тамъ и всѣ почти танцовали очень бойко и ловко и, вертя своими дамами, какъ перышками, внимательно щадили бока другихъ танцоровъ, и такъ часто и громко притопывали, что плотно убитый токъ почти гремѣлъ подъ ихъ ногами. Немало было также смѣху, болтовни, шутокъ и на скамьяхъ, и въ

толпѣ, наполнявшей раскрытыя ворота гумна. Одинъ разъ Адамъ, который не танцовалъ, но, стоя у самыхъ дверей, часто поглядывалъ изъ-подъ нахмуренныхъ, какъ всегда, бровей на фонари и вообще внимательно слѣдилъ за всѣмъ, происходившимъ въ гумнѣ, выпрямился и, покраснѣвъ отъ гнѣва, громко закричалъ:

— Прошу извиненія, но какой это тамъ дуракъ куритъ папиросу на гумнѣ?

Эти слова вызвали ироническое и стыдливое движеніе среди женщинъ. Искра, блеснувшая передъ Адамомъ изъ-за развѣвающихся платьевъ танцорокъ, потухла, а съ противуположной стороны послышался хихикающій голосъ Стажинской.

— Прекрасно! Потому что это Гецолдова закурила папиросу...

Это снова вызвало хоръ женскаго и мужского смѣха, а ничуть не смутившійся Адамъ высказалъ свое мнѣніе объ этомъ случаѣ, не стараясь особенно понизить голоса:

— Потому что, пускай баба не дымитъ на гумнѣ! Графиня!

Когда же польку смѣнила кадриль, которую танцовали живымъ ускореннымъ темпомъ, при чемъ въ то время, когда одни изъ мужчинъ, широко разставляя руки, продѣлывали балансе и выбѣгали на средину тока, внимательно глядя на свои ноги, другіе же, къ числу которыхъ принадлежалъ и старшій шаферъ, танцовали съ соблюденіемъ полной солидности и граціи, свойственной этому танцу, но по окончаніи послѣдней фигуры они пустились въ такой бѣшенный галопъ, точно оковы свалились съ ногъ.

Галопъ этотъ былъ нѣсколько нарушенъ, но не прерванъ, пронзительнымъ визгомъ собаки, которой

въ суматохѣ кто-то сильно отдавилъ лапу и на встрѣчу которой, расталкивая толпу, бѣжалъ огромный, обыкновенно медлительный Юлекъ и поспѣшно схватилъ ее на руки. Въ танцахъ Юлекъ не принималъ никакого участія. Гдѣ ему, лѣнивому разинѣ, было вмѣшиваться въ такую тѣсноту и пускаться въ плясъ. Онъ стоялъ у дверей, глядя то на фонари, то на танцующихъ, улыбался и скалилъ свои бѣлые зубы, по временамъ подмигивая Саргасу, который жался къ его ногамъ, точно желая его утѣшить и увѣрить, что сейчасъ все это окончится, и они опять вдвоемъ отправятся на Нѣманъ. Теперь, выхвативъ изъ-подъ ногъ танцующихъ довольно большую дворнягу, онъ поднялъ ее на руки и, уже не улыбаясь, а напротивъ, прижимая съ жалостью свое большое, густо обросшее лицо къ его шерсти, онъ ушелъ съ гумна и уже больше не возвращался.

Тѣмъ временемъ Владиславъ, или, какъ его здѣсь называли, Ладысь Осиповичъ, тотъ самый, у котораго были черные, какъ вороново крыло, волосы, съ рукой, вытянутой, чтобы обнять станъ голубоглазой Цецильки Станѣвской, нетерпѣливо закричалъ:

— Занѣвскіе! за дѣло! Польку играйте! Эту польку Юстина еще не танцовала. Случайно, вслѣдствіе движенія толпы, она очутилась позади скамьи съ сидѣвшими на ней женщинами, въ короткомъ, узенькомъ проулочкѣ между закромами хлѣба. Висѣвшіе на столбахъ фонари бросали сюда только немного мутнаго свѣта, а отъ закромовъ доносился сильный запахъ сухихъ травъ и колосьевъ. Юстина прислонилась головой, убранной вѣтками рябины, къ пушистой и благоухающей стѣнѣ хлѣба и задумчиво глядѣла впередъ. Отдавала ли она себѣ ясный отчетъ въ причинахъ того глубокаго волненія, которое вы-

зывалъ въ ней видъ этого кишѣвшаго предъ ней люда? Вѣроятно — да, потому что, если бы она очутилась здѣсь за нѣсколько мѣсяцевъ до этого времени, она чувствовала бы себя чужой среди чужихъ, смущенной, равнодушной, можетъ быть, даже скучала бы. Почему же теперь сердце ея билось такъ сильно, быстро, дружелюбно? Почему?

Боже! Наступаетъ же иногда минута, въ которую со дна человѣческой души подымается то, что природа посѣяла на немъ и что только ждало одного луча, одного дуновенія, чтобы вырости цвѣткомъ, колосомъ или подняться стрѣлой. Этотъ лучъ или дуновеніе можетъ и не являться, и тогда человѣкъ ложится въ могилу, никогда не становясь самимъ собой. Къ ней они явились. Она вынырнула изъ горькаго моря страданій тогда, когда она въ первый разъ увидѣла среди ржи и васильковъ этого добраго пахаря и его голубые глаза, устремленные на нее съ затаенной, робкой нѣжностью. Ей вспомнились теперь золотыя поля, среди которыхъ въ прекрасный іюльскій день она приняла изъ его рукъ серпъ, и быстрое, какъ молнія, воспоминаніе перенесло ее изъ этой шумной толпы въ глубину занѣманскаго бора, на могилу, одѣтую въ эту ночную пору густымъ мракомъ. Ей казалось, что все, ею теперь переживаемое, она еще тогда принесла съ собой оттуда, что тѣ чувства, которыя она испытывала тамъ и испытываетъ здѣсь, сливаются въ одно. Все то, что она услышала въ послѣдніе дни изъ пламенныхъ устъ Витольда и что въ часы одиночества передумала сама, все это проносилось въ ея головѣ однимъ потокомъ мыслей; она припомнила ясно и живо тотъ сонъ или ту свою мечту, въ которомъ она съ зажженной лампой свѣтила сверху этимъ усадьбамъ и этимъ людямъ, а лучи ея лампы

скользили нитями свѣта по крышамъ, тропинкамъ, плетнямъ, широкимъ полямъ, доходя до стариннаго памятника, до корчинской усадьбы, до могилы въ лѣсу, связывая эти звенья какъ-бы въ одну цѣпь. Точно электрическая искра ударила ей въ сердце, вызывая пламя на лбу ея и влагу на глазахъ. Вдругъ она услыхала тутъ же, около себя, притихшій и робкій голосъ, проговорившій:

— Я бы отдалъ десять лѣтъ своей жизни, чтобы только узнать, о чемъ вы такъ задумались въ эту минуту?

Янъ Богатыровичъ совсѣмъ не танцовалъ до сихъ поръ. Онъ хотя принадлежалъ къ числу шаферовъ, но не одѣлся по свадебному и не обнаруживалъ ни малѣйшихъ признаковъ веселья. Онъ надѣлъ свою короткую сермяжку, обшитую зеленой тесьмой, да перевязалъ бѣлой кисеей воротъ тонкой сорочки и совсѣмъ, казалось, не заботился о томъ, что будутъ думать и говорить люди о его нарядѣ и мрачномъ настроеніи. У него былъ такой видъ, точно какая-то тайная печаль разъѣдаетъ его. Онъ едва поздоровался то съ тѣмъ, то съ другимъ, и съ самаго начала танцевъ стоялъ въ углу около музыкантовъ, скрестивъ на груди руки, съ поперечной морщиной на лбу. Изрѣдка только посматривалъ онъ на танцующую толпу, какъ-бы отыскивая тамъ кого-то, и тогда въ глазахъ его сверкали молніи; дѣвушкамъ, которыя его нѣсколько разъ затрогивали, онъ отвѣчалъ непривѣтливо и даже съ ироніей; отъ ровесниковъ сторонился, какъ отъ огня; мать свою, которая силой тянула его танцовать, онъ сперва упрашивалъ оставить его въ покоѣ, а потомъ просто прикрикнулъ на нее. Никто ему, впрочемъ, особенно не надоѣдалъ и не причинялъ безпокойства; народу

здѣсь было много, и всѣ легко могли обойтись безъ одного.

Однако, кое-гдѣ о немъ говорили. Пожилыя женщины особенно въ этой его мрачности чуяли какую-то необыкновенную исторію. Ядвиська Домунтовна не идетъ на свадьбу, Янекъ имѣетъ такой видъ, точно онъ вчера похоронилъ отца съ матерью... Должно быть, поссорились между собой, а, можетъ быть, между ними уже и порвано все. А съ другой стороны, что тамъ можетъ рваться, когда еще ничего, какъ слѣдуетъ, не было завязано. О помолвкѣ никто не слыхалъ, только то и можно было сказать, что его дядюшка и ея дѣдушка строили между собой планы этого супружества еще въ то время, когда послѣдній былъ въ своемъ умѣ. А, можетъ быть, онъ и по другой еще причинѣ глядитъ такимъ сычемъ? Можетъ быть, это въ роду у нихъ такая меланхолія и мрачность. Покойникъ отецъ его тоже былъ всегда замкнутый въ себѣ и нелюдимый, дядя во цвѣтѣ лѣтъ тоже впалъ въ тяжелую хандру, а оба они всегда высоко летали мыслями, вслѣдствіе чего Юрій и погибъ ни за что, ни про что, да и Анзельмъ тоже провелъ жизнь не совсѣмъ такъ, какъ бы слѣдовало. Можетъ быть, Янекъ пошелъ въ отца и дядю? Всегда онъ бывалъ такой веселый, а въ особенности пѣснями всѣхъ, бывало, перещеголяетъ. Но до времени кувшинъ воду носитъ, и каждому можетъ подойти такая минута, когда его истинная натура наверхъ всплыветъ. Шила въ мѣшкѣ не утаишь. Должно быть, и онъ тоже будетъ такой замкнутый въ себѣ и такой же верхолетъ, какими были его отецъ и дядя...

Наступила, однако, минута, когда глаза Яна, скользнувъ въ сторону переулочка между закромами, загорѣлись; пробравшись между скамьей и стѣной, онъ

очутился въ полутьмѣ и, подойдя къ Юстинѣ, тихо и робко проговорилъ надъ ея головой:

— Вы спрашиваете, почему я такой невеселый и не танцую? Я одной вамъ только открою это. По временамъ меня охватываютъ такія сомнѣнія, что я хожу ни живой ни мертвый и, кажется, предпочелъ бы лежать на днѣ Нѣмана, чѣмъ жить съ такими сомнѣніями...

Юстина слушала эту тихую рѣчь, опустивъ голову и, точно самая простая деревенская дѣвушка, выдергивала длинныя соломинки и хрупкіе стебли сухихъ травъ изъ хлѣбной стѣны, къ которой она прислонилась. Она чувствовала на своей головѣ его пламенный упорный взглядъ и слышала шопотъ еще болѣе тихій:

— Какъ эта рябина... чудно идетъ къ вашимъ волосамъ... и платье то же, что и тогда, когда мы съ вами ѣздили на могилу...

Онъ немного помолчалъ, а потомъ спросилъ:

— Если бы я могъ получить хоть одну вѣточку этой рябины... мнѣ кажется, изъ-за этого одного я ужъ былъ бы счастливъ.

Она порывисто оторвала вѣтку, приколотую къ ея бѣлому лифу и, подавая ему, подняла голову. Нѣсколько секундъ они глядѣли другъ на друга, вспыхнувъ и почти дрожа. Потомъ онъ, откинувъ волосы жестомъ страстной радости, воткнулъ эту вѣтку въ петлицу.

Въ эту минуту у воротъ гумна началось какое-то необыкновенное движеніе; передъ кѣмъ-то разступались, кого-то тамъ встрѣчали. Музыка перестала играть; Казиміръ Ясмонтъ бѣгомъ бросился къ воротамъ; за нимъ побѣжали Домунты и нѣсколько дѣвушекъ. Въ танцовальную залу вошла Домунтовна, но Домун-

товна, чудесно измѣненная. Тотъ, кто видѣлъ ее раньше босой, растрепанной, подгонявшей хромого коня, съ трудомъ узналъ бы ее теперь. Платье на ней было малиновое съ обильными драпировками, снабженное сзади огромнымъ турнюромъ. Это былъ chef d'oeuvre портного изъ ближайшаго мѣстечка, у котораго она, вѣроятно, купила также и большіе золотые листья изъ позолоченной бумаги, украшающіе теперь ея высоко приподнятые и блестѣвшіе отъ помады волосы. Она была въ бѣлыхъ перчаткахъ и держала въ рукахъ бумажный разрисованный вѣеръ, а вся ея особа сверкала блескомъ изображавшихъ золото и серебро шпилекъ, серегъ и браслетъ. Она шла выпрямившись съ очень краснымъ лицомъ, смѣлая, но мрачная. Дѣдушка въ бѣлоснѣжномъ кафтанѣ остался въ воротахъ гумна, гдѣ его задержали и окружили Витольдъ и еще нѣсколько человѣкъ; она же, едва сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, замѣтила въ тѣнистомъ корридорчикѣ пару, на которую падалъ свѣтъ фонаря. Они стояли очень близко другъ подлѣ друга; удѣвушки была рябина въ волосахъ, а у кавалера въ петлицѣ. Видъ этой пары ударилъ ее точно кулакомъ въ грудь; она надула губы, а сапфировые глаза ея подъ собольими бровями заискрились и бросали кругомъ гнѣвныя молніи.

Въ воротахъ раздался веселый смѣхъ. Дѣдушка упорно принималъ Витольда Корчинскаго за отца его Бенедикта, а о дѣдушкѣ его, Станиславѣ, говорилъ, какъ о теперешнемъ владѣльцѣ Корчина. О томъ, что прадѣда Доминика не было уже на свѣтѣ, онъ помнилъ и, покручивая поднятымъ вверхъ высохшимъ пальцемъ, онъ, съ отблескомъ радости на облысѣвшемъ лбу, говорилъ:

— Добрый товарищъ былъ панъ Доминикъ ... о! добрый!.. помню ... когда мы съ нимъ въ тридцать первомъ году ...

Витольдъ усаживалъ его на табуреткѣ у стѣны и упрашивалъ разсказать какую-нибудь старую исторію; съ другой стороны Марыня Кирло, почти стоя на колѣняхъ на травѣ, обнимала высохшую фигурку старика, а нѣсколько стоявшихъ около молодыхъ людей недоумѣвали, что можетъ быть интереснаго въ старческой болтовнѣ дѣдушки, который потерялъ если не весь умъ, то, по крайней мѣрѣ, добрую его половину.

— Лишь бы только никто не вспомнилъ о Паценкѣ, а то сейчасъ спятитъ ... говорили тихонько.

Появленіе Ядвиги на гумнѣ вызвало разнообразныя впечатлѣнія. Нѣкоторыя изъ женщинъ пораскрывали рты отъ удивленія передъ ея нарядомъ. Даже въ глазахъ рябитъ, такъ разодѣлась богато! Извѣстно, „наслѣдница“! Среди мужской молодежи послышались хихиканія.

— Если бы ей сзади на этой подушкѣ Юльковаго Саргаса положить, такъ и то помѣстился бы!

— Насовала въ волосы золотыхъ листьевъ и думаетъ, что красиво! Точь въ точь гробъ, обитый галунами.

Но дѣвушки были совсѣмъ другого мнѣнія о нарядѣ „наслѣдницы“. Больше всего ихъ поражалъ и восхищалъ вѣеръ. Маленькія Сѣмащанки, взявшись подъ руки, кружились возлѣ великолѣпной дѣвицы, издавая протяжныя восклицанія.

— Іисусе! Вотъ такъ чудесныя розы на этомъ вѣерѣ! А эти золотые листья совсѣмъ такіе, какъ въ Луннѣ на алтарѣ у Богородицы ...

Это удивленіе и осматриваніе сердили Ядвигу. Совсѣмъ не для этихъ пиголицъ трудилась она цѣлыхъ два часа надъ своимъ туалетомъ, а тотъ, для кого она старалась, стоялъ все время тамъ около той ... въ рябинѣ ... Она бросила разгнѣванный взглядъ на бѣлыя платьица съ голубыми полосками.

— Довольно ужъ вамъ глазѣть разѣвать!—фыркнула она.—Пустите-ка меня пройти, мнѣ нужно поздороваться съ братьями.

Вмѣстѣ съ братьями, которые окружили ее, остановился передъ ней и Казиміръ Ясмонтъ, а такъ какъ они уже гдѣ-то встрѣчались одинъ разъ и разговаривали, то онъ началъ смѣло заговаривать съ ней.

Изъ того, что ей уже говорили братья, и по тѣмъ нѣжнымъ взглядамъ, которые Казиміръ бросалъ на нее, Ядвига начала догадываться о его намѣреніяхъ, а потому она, бросивъ бѣглый взглядъ на Яна, вдругъ развеселилась и сдѣлалась по отношенію къ Казиміру очень любезной. Ну что-жъ, пускай будетъ и такъ! Пусть же Янекъ видитъ, что и ее еще ни Богъ, ни люди не забыли! Она очень складно и въ хорошихъ выраженіяхъ начала говорить о томъ, что лѣто кончается и подходитъ зима, потому что хоть лѣтомъ и больше работы, но зато и удовольствія больше, а зимой овладѣваетъ какая-то грусть ... На это Ясмонтъ отвѣчалъ серьезно, что всякому овощу свое время, и въ законахъ Божескихъ такъ стоитъ, чтобы было время рожденія и время смерти, время радости и время грусти. Потомъ онъ вдругъ спросилъ, повѣритъ ли она, что онъ на этой недѣлѣ три раза видѣлъ ее во снѣ? Ядвига сомнѣвалась, потому что, если бы она хорошо была знакома съ Ясмонтомъ, тогда другое дѣло, а такъ трудно присниться кому-

нибудь, кого мало знаешь. На это Ясмонтъ тихо прошепталъ:

— Что любишь, то и во снѣ чуешь... а что касается знакомства, то это для меня ничего не значитъ, потому что всѣ тайны ваши мнѣ извѣстны, и я читаю въ вашемъ сердечкѣ, какъ въ раскрытой книжкѣ...

Онъ снова сталъ что-то говорить ей тихо, показывая глазами въ ту сторону, гдѣ стоялъ Янекъ, она же, покраснѣвъ еще больше, громко засмѣялась и еще громче отвѣчала:

— Будьте увѣрены, что я объ этой персонѣ столько же забочусь, сколько о прошлогоднемъ снѣгѣ!

Послѣ этого она вступила въ громкій разговоръ съ братьями и съ нѣкоторыми дѣвушками, и только внимательный взглядъ могъ бы открыть, что внутри у нея все кипѣло, а заливаясь иногда хохотомъ, она прижимала кончикомъ вѣера то одинъ глазъ, то другой, глаза же ея такъ блестѣли, что Ясмонтъ сравнивалъ ихъ съ брилліантами, сыплющими искры, и, дѣйствительно, засматривался на нихъ съ искреннимъ и большимъ удовольствіемъ. Танцовать она не хотѣла и сперва долго не поддавалась увѣщеваніямъ братьевъ и претендента на ея сердце, но потомъ одумалась и обѣщала, что протанцуетъ одинъ разъ, но только развѣ краковякъ, ничего больше, кромѣ краковяка. Однако, раньше она должна пойти посмотрѣть, что дѣлаетъ дѣдушка, и не нужно ли ему чего-нибудь. Она вышла за ворота, а Ясмонтъ, ухвативъ Витольда за руку, зашепталъ ему на ухо:

— Пожалуйста, будьте такъ добры, станьте во второй парѣ съ Домунтовной, потому что я долженъ въ первой парѣ танцовать съ первой дружкой...

Затѣмъ онъ влетѣлъ на гумно и завертѣлся на току, громко выкрикивая:

— Пора танецъ начинать—ноги расправлять! Занѣвскіе, краковякъ!

Занѣвскіе послѣ получасового отдыха заиграли на все гумно удалый краковякъ, но танцы начались не сразу, потому что не всѣ умѣли продѣлывать многотрудные па́ этой пляски, такъ что пары подобрались съ трудомъ. Наконецъ, набралось ихъ двѣнадцать съ первымъ шаферомъ во главѣ, который предпочелъ бы танцовать съ Домунтовной, но изъ уваженія къ обычаю и къ личности панны Ожельской, выбѣжалъ впередъ съ первой дружкой, а за нимъ двинулись и всѣ остальные съ громкимъ притопываніемъ, ловко и стройно выгибаясь въ обѣ стороны.

Юстина ничѣмъ особенно не выдѣлялась изъ числа танцорокъ. Менѣе красивая, чѣмъ черноволосая Осиповичовна, она не казалась граціознѣе Антольки и Сѣмащанокъ, но въ танцахъ обладала большей плавностью и граціей. Граціозно повиснувъ на рукѣ кавалера съ полуулыбкой на пунцовыхъ губахъ, она лебедью плыла впереди хоровода, а зрители, стоявшіе и сидѣвшіе кругомъ, глядя на нее, кивали головами и перешептывались, что съ такой красивой дѣвушкой пріятно было бы танцовать до скончанія міра. Но упорнѣе и пламеннѣе всѣхъ надъ всѣмъ этимъ рядомъ корнетовъ и чепцовъ преслѣдовалъ ее своимъ взглядомъ Янекъ Богатыровичъ, на лицѣ котораго появилась и расцвѣтала блаженная улыбка; раза два пристукнулъ онъ нетерпѣливо ногой о землю и, наконецъ, сунулъ руку въ карманъ сермяжки, вытащилъ оттуда нитяныя перчатки и, натянувъ ихъ поспѣшно на руки, перескочилъ черезъ сидѣвшихъ на скамейкѣ женщинъ. На ска-

мейкѣ поднялся крикъ и пискъ; локти его, а, сохрани Богъ, можетъ-быть, и каблукъ, зацѣпили чепецъ Гецолдовой, съѣхавшій ей на ухо, что очень разсердило арендаторшу, а у сосѣдокъ ея вызвало громкія сожалѣнія и сдерживаемыя улыбки. Но Янекъ, не обративъ вниманія на этотъ гнѣвъ и гримасы и, не оглядываясь, забѣжалъ впереди первой пары и, громко хлопнувъ въ ладоши, крикнулъ на все гумно:

— Отбивать!

Всѣ знали, что это значитъ, а потому кавалеры сейчасъ же стали пятиться и обнимать таліи дамъ слѣдующей пары, а дама изъ первой пары, подобно легкой, счастливой птичкѣ, поднявъ на Яна глаза, порхнула въ его объятія. Въ первый разъ въ жизни, обнявъ ея талію, онъ облился горячимъ румянцемъ и вскинулъ глазами вверхъ, но затѣмъ, точно сходя съ ума отъ радости и гордости, онъ, лихо притопнувъ, ринулся впередъ и, приподнявъ вверхъ одну руку и склонившись лицомъ къ своей дамѣ, шумно и гордо повелъ хороводъ вокругъ тока.

— Ну, наконецъ-то, расшевелился!—заговорили въ толпѣ.

Онъ уже, остановившись около того мѣста, гдѣ играли музыканты, задержалъ остальныя пары и запѣлъ своимъ прекраснымъ голосомъ не только на все гумно, но на весь садъ, и дорогу и все широкое поле:

Свѣтитъ мѣсяцъ, свѣтитъ
Среди полуночи;
Разлюбить тебя
У меня нѣтъ мочи.

Этотъ припѣвъ привелъ всѣхъ просто въ восторгъ, а въ особенности женщинъ. Онѣ даже въ ладоши захлопали и захихикали отъ восторга. Пока

дулся, то дулся, но разъ уже пересталъ, то ужъ его никто не перещеголяетъ, даже Ясмонтъ, который прекрасно танцуетъ и еще лучше говоритъ, но для пѣнія совсѣмъ не годится. Однако, первый шаферъ, быть можетъ, побуждаемый честолюбіемъ, или желая развеселить Ядвигу, которая, надувшись, безжизненно поворачивалась около него, тоже попробовалъ отличиться на этомъ поприщѣ. Послѣ нѣсколькихъ оборотовъ танца, онъ въ свою очередь остановился, какъ вкопанный, и очень тонкимъ дискантомъ запѣлъ не совсѣмъ на мотивъ краковяка.

Женщины наружность
Насъ не разъ обманетъ,
Хоть слезой заплачетъ,
Любить перестанетъ.

И совершенно напрасно вступилъ онъ въ состязаніе съ Янкомъ: оказалось только, что щеголять-то ему совсѣмъ было нечѣмъ, куплетъ онъ выбралъ неподходящій и въ слушателяхъ возбудилъ удивленіе, какимъ образомъ у такого большого мужчины можетъ быть такой тоненькій голосокъ. Вслѣдъ за нимъ черноволосый Осиповичъ, танцовавшій съ голубоглазой Цецилькой Станѣвской, остановившись какъ бы нарочно передъ ея матерью, запѣлъ почти такъ же хорошо, какъ и Янекъ.

Возлѣ дома нива,
Держи мать пса злого:
Твоя дочь красива,
Какъ бы не украли.

А огромный Домунтъ съ маленькой Сѣмащанкой гаркнулъ скорѣе громко, чѣмъ мелодично:

За рѣкой, за Нѣманомъ мала пташка свищетъ;
Дуракъ по мнѣ всякій, кто приданныхъ ищетъ.

Но краковякъ уже окончился, и другіе, если даже кто и хотѣлъ, не могли больше пѣть; одинъ только Янекъ, еще, какъ первый началъ, такъ послѣдній и закончилъ, и даже не вовремя, передъ самымъ окончаніемъ танца, пропѣвъ коротенькій, но выразительный куплетъ:

Когда первымъ чувствомъ сердце запылаетъ
Радость и тревога душу наполняютъ.

послѣ котораго онъ подхватилъ свою даму и, завертѣвъ ею вокругъ себя, какъ перышкомъ, опустился на одно колѣно и прижалъ ея руку съ своимъ губамъ.

Старшій шаферъ и въ этомъ хотѣлъ послѣдовать его примѣру, но не могъ, потому что Ядвига рѣзко вырвала у него свою руку и, не ожидая, чтобы онъ, по примѣру прочихъ, отвелъ ее на мѣсто, повернулась къ нему спиною и съ искрящимися глазами и вздымавшейся грудью, мрачная и грозная, ушла съ гумна. Она громко дышала и, расталкивая толпу локтями и грудью, слѣдила за Яномъ и Юстиной, которые тоже выходили въ это время во дворъ. Она внимательно слѣдила за ними и хорошо видѣла, какъ головка дѣвушки, убранная вѣтками рябины, словно въ счастливомъ забытьи склонилась на плечо ея кавалера, который съ пылавшимъ лицомъ все время что-то говорилъ ей...

Музыка умолкла; утомленная и расшалившаяся молодежь разсыпалась подъ открытымъ небомъ, на которомъ уже начинали гаснуть звѣзды передъ огромной яркой луной, восходящей изъ-за далекаго изгиба рѣки и какъ бы вынырнувшей изъ ея глубины. Часть молодежи съ закуренными папиросами вышла далеко въ поле, но большинство, отказываясь отъ

удовольствія курить, осталось поблизости гумна и разбрелось отдѣльными парами по огороду, темному переулку и сливовой рощицѣ.

Шумъ притихъ, разговоры стали тише, кое-гдѣ и совсѣмъ умолкли; подъ блѣднѣющими звѣздами крыло Эроса, напоенное благоуханіемъ мирта, нѣжно ласкало всѣ эти головы и лица, разгоряченныя танцами.

Подъ стѣнкой гумна, гдѣ на кучѣ досокъ по колѣни въ бурьянѣ сидѣли двое молодыхъ людей, раздавался тихій шопотъ.

— Ей-Богу!—шепталъ мужчина.—дядя и братъ напрасно боятся и, ссылаясь на твои молодые годы, не допускаютъ меня до счастья. Что-жъ я звѣрь какой или варваръ, чтобы я надрывалъ силы любимой женщины непосильной работой? Такъ вѣдь и у брата же ты не сидишь, сложа руки, а въ мужниномъ домѣ тоже не больше этого придется работать, ручаюсь за то! Служанку возьму, самъ до мозолей работать буду, но Антолькѣ черезчуръ тяжело у меня не будетъ... Вѣришь ты этому, Антолька, и согласна ли со мной, или мнѣ, несчастному, долго еще придется сиротой на этомъ свѣтѣ маяться?

Женскій шопотъ отвѣчалъ:

— Вы знаете, Михаилъ, что я нахожусь въ зависимости отъ дяди и брата. Они меня выростили, наконецъ, ничѣмъ не обижали, а, напротивъ, всегда я видѣла отъ нихъ только ласку и доброту... Чего они, того и я захочу, какъ они прикажутъ, такъ я и сдѣлаю...

— И прекрасно! разумѣется! я же тебя не подговариваю, чтобы ты шла противъ дяди и брата... но только я бы хотѣлъ знать навѣрное, хоть одинъ разъ хотѣлъ бы я имѣть ту увѣренность, что ты согласна со мной...

И онъ спросилъ еще тише:

— Чувствуешь ли ты когда-нибудь, Антолька, какъ любовь въ сердечкѣ шепчетъ и спать мѣшаетъ и ставитъ мой образъ передъ глазами?

Неизвѣстно какой на это послѣдовалъ отвѣтъ, но, вѣроятно, благопріятный, потому что вслѣдъ за этимъ мужской шопотъ сталъ смѣлѣе и настойчивѣе:

— И голубокъ даже и тотъ свою голубку въ носикъ клюетъ, желая показать ей свою любовь! Неужели же я не смѣю даже того, что смѣетъ голубь? Значитъ я долженъ сидѣть около Антольки, какъ чужой?

Подъ амбаромъ же свѣтлымъ пятномъ выдѣлялись бѣлое платье, а около него стройный силуэтъ юноши; тутъ раздавался тихій голосъ Витольда.

— Да, моя дорогая Марыня, я уѣду отсюда счастливый, что я нашелъ тебя такой, о какой всегда мечталъ: простой, скромной, трудящейся, способной понять и полюбить тѣ задачи, которыя теперь должна выполнять каждая интеллигентная и благородная женщина...

— Только я, Витя, еще такъ мало образована, я знаю еще такъ мало...

— Правда, что тебѣ еще придется многому учиться, но не только изъ книжекъ; отъ людей и отъ жизни также и больше всего... Людей люби, людей изучай, съ людьми живи...

— А когда ты уѣдешь, станешь ли мнѣ когда-нибудь писать? будешь мнѣ присылать книги?

— Буду писать, буду тебѣ присылать книги и ни на одинъ день не забуду о тебѣ, моя дорогая, лучшая въ мірѣ! А когда я возвращусь совсѣмъ и навсегда останусь въ Корчинѣ, тогда уже мы никогда

не будемъ разлучаться, но всегда вмѣстѣ будемъ работать и бороться за наши дорогія идеи. Хорошо, Марыня? Хочешь ты этого? Хорошо?

Фигура въ бѣломъ платьѣ восторженно сложила обѣ руки и подняла ихъ вверхъ.

— О, Витя, Витя! Ты открываешь мнѣ рай на землѣ! Я чувствую сама, знаю, что я должна много работать, чтобы заслужить его!

На краю сливовой рощицы стояла Ядвига среди нѣсколькихъ дѣвушекъ и парней, которые вели вокругъ нея шутливые разговоры. Перваго шафера который, не обращая вниманія на сердитое настроеніе своей богини, не отступалъ отъ нея ни на шагъ, упрекали тамъ въ непостоянствѣ, легкомыслiи, выражали сомнѣніе въ томъ, чтобы онъ когда-нибудь женился, если онъ до сихъ поръ такъ весело проводилъ свою холостую жизнь. Онъ же, посматривая на Ядвигу, отвѣчалъ очень серьезно, что и мотылекъ перелетаетъ съ грядки на грядку, пока не усядется на одномъ цвѣткѣ, и что даже самому несчастному человѣку легче, когда онъ не одинъ, особенно же хорошо тому, кто имѣетъ чѣмъ подѣлиться съ любимымъ существомъ! Потомъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону, онъ, какъ бы отъ нечего дѣлать, сталъ напѣвать тоненькимъ голосомъ:

Цѣлый міръ при тебѣ теряетъ значеніе,
Мое сердце къ тебѣ питаетъ влеченіе.

Но пословицы, куплеты и всякіе иные подходцы не дѣйствовали. Молчаливая и угрюмая Ядвига, надувъ губы и громко переводя дыханіе, казалась олицетвореніемъ грозовой тучи, готовой вотъ-вотъ разразиться громомъ. Какъ невмѣняемая, какъ очарованная, смотрѣла она неподвижнымъ взоромъ въ

одну сторону, а именно въ ту, гдѣ на низенькомъ плетнѣ спиной къ ней сидѣла пара молодыхъ людей. Она не могла слышать ихъ разговора, но въ полумракѣ замѣтила вѣтки рябины, украшавшія голову дѣвушки... Эта голова съ черными косами и вѣтками красной рябины преслѣдовала ее сегодня, какъ призракъ, какъ жгучій огонь, какъ тяжелый кошмаръ!

Тѣмъ временемъ Янекъ, сидѣвшій около Юстины на низенькомъ плетнѣ, говорилъ тихо, но пылко:

— Вы спрашиваете, дѣйствительно ли первая? Пусть я умру завтра, если истинная любовь хоть одинъ разъ до сихъ поръ заглянула въ мое сердце! Да развѣ же можетъ быть иначе. Развѣ я графъ или аристократъ какой, чтобы перелетать съ цвѣтка на цвѣтокъ, да постоянно придумывать новыя развлеченія? Въ нашей деревенской жизни для этого нѣтъ ни времени, ни охоты. Пока не приходила любовь, такъ и не было ея, а какъ пришла, такъ пришла и ужъ не уйдетъ.

— Иногда, однако, проходитъ,—сказала Юстина задумчиво.

— У господъ все скорѣе проходитъ, чѣмъ у насъ, и, кромѣ того, тутъ много отъ характера зависитъ. Ясмонтъ, напримѣръ, если бы и не получилъ Ядвиськи, то ему было бы все равно, потому что онъ хочетъ ее взять главнымъ образомъ изъ-за приданнаго, а дядя Анзельмъ, не получивъ той, которой онъ желалъ, остался на всю жизнь одинокимъ, а старый Якубъ разумъ потерялъ, испытавъ измѣну въ любви...

— А Домунтовна развѣ не переживаетъ теперь такую же измѣну?

Онъ, точно ошпаренный кипяткомъ, чуть не свалился съ плетня.

— Я уже догадался, что это вы меня по поводу Ядвиськи спрашиваете!

Онъ сталъ очень серьезнымъ, поднялъ голову и смѣло глядѣлъ въ глаза сидѣвшей передъ нимъ женщины.

— Клятвъ я никакихъ не стану давать, потому что гдѣ нѣтъ довѣрія, тамъ и истинной дружбы не можетъ быть, а только я-то вамъ скажу по чистой совѣсти, незапятнанной никакимъ тяжелымъ грѣхомъ, что между мной и Ядвиською не было никогда ничего, что я никогда ничего не предлагалъ ей и ничего не обѣщалъ, а только потому, что дядя уговаривалъ, и ради ея хорошихъ качествъ я, можетъ быть, и женился бы на ней въ свое время, если бы на моемъ небѣ не блеснуло совсѣмъ другое солнце. То же, что она пристала ко мнѣ, какъ смола, и преслѣдуетъ меня своей любовью, это надо ей извинить, потому что, зная меня съ дѣтства, она могла привыкнуть и ей, можетъ быть, трудно отстать... Однако, я надѣюсь, что она опомнится и образумится, а я предъ нею нисколько не виноватъ... Вѣрите ли вы мнѣ? Какъ спасенія души моей, я жду одного этого словечка; вѣрите ли вы?

Она почувствовала, что на ея руку, опиравшуюся о плетень, легла горячая рука, съ жесткой кожей, но вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно мягкая, дрожащая мольбой... Гумно, амбаръ, хата съ освѣщенными окнами—все завертѣлось передъ ея глазами; она разомъ увидала всѣ звѣзды, усыпавшія небо, и почувствовала, что вся кровь прилила ей къ сердцу. Она проговорила тихо:

— Вѣрю!

Но тутъ она вскрикнула, и оба они вскочили съ плетня. Довольно большой камень, пущенный чьей-

то сильной и ловкой рукой, свистнулъ и пролетѣлъ между ихъ головами и, слегка только задѣвъ шею Яна, упалъ въ нѣсколькихъ шагахъ на грядку свеклы.

Со всѣхъ сторонъ раздались крики и вопросы:

— Что это? Кто это? Откуда это? Зачѣмъ? Почему?

Но было не мало такихъ, которые видѣли, что это сдѣлала Домунтовна, которая, быстро нагнувшись, подняла съ земли камень и, взмахнувъ рукой, швырнула его на разговаривавшую въ сторонѣ пару. При этомъ она дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Въ кого она собственно хотѣла угодить камнемъ—въ Яна или въ его даму—было неизвѣстно, но, во всякомъ случаѣ, о ея поступкѣ въ одно мгновеніе узнали всѣ; въ зеленомъ переулкѣ между огородомъ и рощей поднялся гвалтъ. Даже и тѣ, которые выходили въ поле курить, уже возвратились и высказывали разнообразныя мнѣнія о случившемся событіи. Больше всего было такихъ, которые громко и откровенно порицали выходку Домунтовны, не смущаясь въ этомъ отношеніи никакими церемоніями. Еще раньше выдѣляющійся нарядъ, надменность и мрачность дѣвушки вооружили многихъ противъ нея, а нѣкоторые, склонные отъ природы къ ядовитымъ шуткамъ и насмѣшкамъ, воспользовались случаемъ, чтобы пошутить и позлословить.

— Сама себя оскандалила подобнымъ поступкомъ!

— Хороша дѣвушка, которая носится со своей любовью, какъ дурень съ писанной торбой!

— Зарядилась, точно пушка, и камнями стрѣляетъ!

— Вотъ такъ ангельчикъ! теперъ развѣ какой дуракъ женится на ней!

— Покорно благодарю и за богатство это, когда придется, благодаря собственной женѣ, умирать скоропостижной смертью.

— Обвѣшалась бляхами, какъ цыганская лошадь, и воображаетъ, что ей можно людей убивать!

Однако, нашлись съ другой стороны и такіе, которые заступились за дѣвушку. Прежде всего Казиміръ Ясмонтъ, сперва удивленный и ошеломленный, опомнившись, щелкнулъ пальцами и вскричалъ:

— Прелесть, что за дѣвица! Безъ злой собаки и ружья сумѣетъ уберечь домъ отъ воровъ!

Видно было, что онъ рѣшилъ все перетолковывать въ хорошую сторону. А Домунты, имѣя на своей сторонѣ двухъ Сѣмашекъ, громко и грозно крикнули:

— Кто скажетъ о нашей сестрѣ еще одно дурное слово, тотъ узнаетъ, какъ у насъ чубы дерутъ!

Это оказалось на руку страстно любящимъ всякія побоища Обуховичамъ. Они, несмотря на то, что сами только что подшучивали надъ Ядвигой, бросились теперь къ тѣмъ, которые первые искали предлога для драки; нѣсколько же Богатыровичей и Ясмонтовъ въ обществѣ Занѣвскихъ и Станѣвскихъ уперлись на своемъ и продолжали насмѣхаться, громко заявляя, что имъ никто не указъ, и что они никого не боятся и ни въ какихъ напоминаніяхъ не нуждаются.

Буря собиралась не шуточная. Уже Обуховичи подбирались къ плетню, высматривая, откуда бы лучшій колъ выдернуть; уже въ противномъ лагерѣ слышались отрывистые упоминанія о поломкѣ реберъ и о фонаряхъ подъ глазами, когда изъ-подъ груши, росшей въ огородѣ, раздался звучный и настойчивый голосъ:

— Съ позволенія всѣхъ присутствующихъ! Позвольте и мнѣ тоже сказать свое слово, потому что вѣдь весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за меня. Я не знаю, кто выдумалъ, что Домунтовна бросила въ меня камень со злости, только это неправда. Правда, она бросила его, этого я не отрицаю, конечно, бросила, но вовсе не изъ какой-нибудь, сохрани Богъ, мести или съ дурнымъ намѣреніемъ, а только такъ, въ шутку, чтобы напугать меня, а потомъ посмѣяться надъ моимъ страхомъ. Мнѣ кажется, что подобную шутку, хоть и грубую, нельзя считать смертельнымъ грѣхомъ, въ особенности, если дѣвушка хорошая и ни въ чемъ ее упрекнуть нельзя, а если я не имѣю къ ней никакой претензіи за этотъ поступокъ, то никто не долженъ оскорблять ее или осуждать, если же кому-нибудь придетъ еще что-нибудь подобное въ голову, тогда я вмѣстѣ съ Домунтами постараюсь выбить ему это изъ головы.

Стоя подъ грушей, Янъ былъ почти невидимъ, но въ его голосѣ всѣ слышали рѣшительность и смѣлость. Тогда большинство пожало плечами и повѣрило или сдѣлало видъ, что вѣритъ, будто поступокъ Домунтовны былъ только шуткой грубоватой дѣвушки. Если такъ, то пускай будетъ такъ! Если тому, кто получилъ оскорбленіе, нравится считать его дурной шуткой, то съ какой же стати другіе будутъ за него заступаться? Съ другой стороны, Домунты съ компаніей тоже начали успокоиваться, потому что поступокъ Яна очень понравился имъ и пришелся по душѣ; успокоенные они вмѣстѣ съ первымъ шаферомъ пошли по дорогѣ къ усадьбѣ Ядвиги; изъ дали, въ самомъ концѣ этой дороги, бѣлѣлъ каф танъ ея дѣдушки.

Ядвига немедленно послѣ того, какъ она швырнула камнемъ, пошла, дрожа какъ въ лихорадкѣ, разыскивать дѣдушку и нашла его съ другой стороны гумна, на скамейкѣ, среди нѣсколькихъ стариковъ изъ околицы.

Именно этимъ старикамъ, между которыми находились также и управляющій изъ Осовецъ, Ясмонтъ, и арендаторъ Гецолдъ, разсказывалъ онъ эпизодъ изъ событій двѣнадцатаго года о замерзшемъ у родительскаго плетня братѣ-офицерѣ; но внучка прервала его, прижалась къ нему и почти на рукахъ подняла его съ табуретки.

— Пойдемъ домой, дѣдушка! пойдемъ домой! — говорила она. — Довольно мы уже здѣсь сидѣли и повеселились... пора намъ уже и вдвоемъ остаться...

Она обняла его, прижала его къ себѣ, сама жалась къ нему и, цѣлуя его высохшую руку, вела по дорогѣ къ своей усадьбѣ.

— Идемъ, дѣдушка, идемъ въ собственную хату! Я дѣдушку раздѣну, въ постельку уложу, укачаю... мой миленькій, единственный, старенькій дѣдушка!

Чѣмъ дальше отходили они отъ усадьбы Фабіана, тѣмъ больше она причитывала надъ старичкомъ, а крупныя слезы, какъ горохъ, катились изъ ея глазъ на его голову и кафтанъ.

Въ саду же одни только Обуховичи недовольно ворчали, сожалѣя объ исчезнувшемъ превосходномъ предлогѣ для драки. Одинъ изъ нихъ даже признался одному изъ Сѣмашковъ, что прошлую ночь ему снилось, будто онъ рвалъ съ дерева груши, изъ чего онъ заключилъ, что на этой свадьбѣ не обойдется безъ шишекъ, а теперь такъ выходитъ, что все это окончится ничѣмъ. Наоборотъ, сторонники

согласія, Лозовицкіе, несмотря на свои дерзко закрученные усы, а также степенные Сташалковскіе поздравляли и себя и другихъ съ мирнымъ окончаніемъ исторіи, утверждая, что только одни хамы изъ-за всякаго пустяка, вцѣпляются другъ другу въ волосы, въ хорошей же компаніи подобный гвалтъ, или, Боже сохрани, драка, совсѣмъ неприличны.

Впрочемъ, случилось новое обстоятельство, которое совершенно отвлекло общее вниманіе отъ этого случая. Въ огородъ вбѣжалъ со всѣхъ ногъ Юлекъ, въ сопровожденіи прыгавшаго и радостно визжавшаго Саргаса, и закричалъ во все горло.

— На Нѣманъ! На Нѣманъ! Покорнѣйше прошу всѣхъ пожаловать на Нѣманъ, лодки и челноки уже приготовлены... Я со всей околицы собралъ и оставилъ на берегу... На Нѣманъ! Пожалуйте на Нѣманъ!

Почти никогда и никто не видалъ, чтобы онъ такъ проворно бѣгалъ и выкрикивалъ съ такимъ увлеченіемъ, что даже его рыжая грива развѣвалась во всѣ стороны, и глаза его сверкали въ темнотѣ, какъ у кота. Но это было неудивительно, такъ какъ теперь онъ приглашалъ всѣхъ въ свой настоящій, будто собственный домъ и предлагалъ развлеченіе, въ которомъ такъ же самъ, какъ другіе въ пѣніи или танцахъ, онъ могъ предводительствовать и дирижировать. Вмѣстѣ съ нимъ приглашалъ гостей на Нѣманъ также и Саргасъ, который съ радостнымъ визгомъ и прыжками бросался ко всѣмъ, поминутно поворачиваясь мордой въ сторону рѣки и жадно ловя ноздрями долетавшій съ нея вѣтерокъ.

Дѣвушки первые съ удовольствіемъ откликнулись на этотъ призывъ.

— Кататься! Кататься! Съ пѣснями кататься! Михаилъ! Владиславъ! Ясмонтъ! Богатыровичъ! На Нѣ-

манъ кататься! Съ пѣснями кататься! На Нѣманъ! На Нѣманъ!

На эти женскіе голоса откликались мужскіе:

— Я тутъ! иду! бѣгу! къ вашимъ услугамъ! А кто съ кѣмъ? Казиміра! Цецилія! Антонина! Марія!

И множество другихъ именъ неслось надъ росистыми травами, по опустѣлымъ огородамъ и порѣдѣвшимъ садамъ, а всѣ эти окрики и отвѣты покрывались однимъ призывомъ:

— На Нѣманъ! На Нѣманъ!

Кто-то въ общемъ шумѣ и говорѣ началъ напѣвать могучимъ басомъ:

За Нѣманъ, за Нѣманъ,
Къ чему же за Нѣманъ?—
Цвѣтутъ ли тамъ ярче
Цвѣты на лугахъ?

Съ высокой горы подъ блѣднымъ еще свѣтомъ луны множество паръ сбѣгало къ рѣкѣ, имя которой разносилось многоголосымъ эхомъ далеко по широкому полю и темному бору.

Янъ, широкими шагами бѣжавшій по огороду, очевидно разыскивая кого-то и всматриваясь во всѣ стороны, почувствовалъ вдругъ на своемъ рукавѣ чью-то руку, а передъ его глазами мелькнула черная коса, перевитая красной рябиной.

— Пойдемъ?

— Пойдемъ!

— Но одни... вдвоемъ... моя дорогая! моя золотая! Въ той самой лодочкѣ, которая возила насъ на могилу?

— Хорошо!

Эта лодочка находилась внизу Анзельмовой усадьбы, спрятанная въ густой осокѣ, и только одинъ Янъ

зналъ, какъ ее найти, а потому они оба направились туда; ради поспѣшности они перепрыгнули черезъ плетень почти въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ черезъ него перепрыгивали такъ часто Антолька и Эльжуся, и минуты черезъ двѣ уже были подъ липами.

Тутъ, въ одномъ мѣстѣ, гдѣ вѣтви свѣшивались такъ низко, что Юстина должна была нагнуться, чтобы пройти подъ ними, Янъ тоже нагнулся и подъ этимъ темнымъ сводомъ схватилъ руку, которая поднимала платье надъ росистой травой, прильнулъ къ ней губами и уже больше не выпускалъ ее изъ своей руки. Рука въ руку сбѣгали они съ высокой горы къ прибрежной осокѣ и даже не замѣтили, что они оставили за собой сидящихъ на травѣ подъ липами двоихъ людей, которые были такъ погружены въ тихую бесѣду, что, съ своей стороны, тоже не обратили вниманія на пробѣжавшую вблизи пару.

Это сидѣли Анзельмъ и Марта.

Какимъ образомъ и гдѣ встрѣтились они во второй разъ въ толпѣ?—на это могли бы отвѣтить только старыя воспоминанія, которыя потянули ихъ къ себѣ; они вскорѣ оставили общество, и давно уже оба находились въ усадьбѣ Анзельма; Марта долго и съ любопытствомъ осматривала домъ, ульи и садъ,—одно хвалила, другое критиковала, иногда надѣляя своего стараго друга совѣтами, почерпнутыми изъ долголѣтняго опыта. Съ тѣхъ поръ, какъ стемнѣло, они сидѣли на травѣ подъ липами вмѣстѣ съ желтымъ Муцикомъ, растянувшимся у ногъ своего хозяина, и, казалось, высказали уже другъ другу все, что только имѣли сказать, а потому, наконецъ, умолкли и сидѣли, положивъ головы на руки. Однако, черезъ нѣсколько минутъ на блѣдныхъ губахъ Анзельма подъ сѣдѣющими усами начала дрожать улыбка, и

свойственнымъ ему медленнымъ говоромъ онъ началъ:

— Помните ли вы, Марта, какъ я въ первый разъ пришелъ въ Корчинъ по приглашенію господъ Корчинскихъ и, увидѣвъ васъ, остановился, какъ болванъ, съ разинутымъ ртомъ, такъ что всѣ стали смѣяться надо мной?

Она тихо захихикала:

— А почему бы мнѣ не помнить? Но почему это вы тогда такъ истолбенѣли, Анзельмъ?

— Пораженъ былъ и ослѣпленъ красотой вашей фигуры и огненными глазами вашими...

— Да, да, когда-то это было!—прошептала старая дѣва, тряся головой съ высокимъ гребнемъ.

Потомъ она проговорила первая:

— А помните ли вы, Анзельмъ, сколько тогда собиралось въ Корчинъ гостей, какіе тогда строились планы, какіе заводились споры, какія были надежды?

— Какъ покойникъ Андрей Корчинскій предводительствовалъ всегда, а нашъ Юрій не одинъ разъ помогалъ ему, рискуя головой?

— Да, да, это все было! Вѣчное горе!—шепнула она.

— Пошли имъ вѣчный покой, справедливый Боже!—вторилъ ей Анзельмъ, подымая надъ головой свою баранью шапку.

Черезъ нѣсколько минутъ она снова проговорила:

— А помните вы, Анзельмъ, какъ я сшила вамъ красную шапочку съ околышкомъ изъ сѣраго барашка?

— А вы помните, чья это ручка надѣла мнѣ на шею образокъ тамъ, на песчаномъ холмѣ?

— Да, да, это когда-то было...—повторила она.

— Да, да! Все это далеко куда-то унесли буйные вѣтры!..

Тутъ они умолкли, выпрямились и стали смотрѣть и слушать. Передъ этими двумя изнуренными людьми, стоящими почти у предѣла жизни, которые теперь вспоминали единственный золотой лучъ своего прошлаго, весь міръ облился моремъ лиризма, растворившагося въ лучахъ и звукахъ. Луна, уже высоко поднявшаяся на небѣ, уменьшилась поблѣднѣла и, обливая свѣтомъ высокую гору и противоположный боръ, какъ-бы накрыла стекломъ поверхность рѣки, подернутую мелкой рябью. Подъ воздушной блѣдно-золотой лампадой луны въ водѣ стоялъ, точно погруженный въ глубину, дрожащій, переливающійся огоньками столбъ свѣта, основаніемъ обращенный къ поверхности рѣки, а огненной вершиной достигающій дна ея. Въ этомъ дрожащемъ, мечтательномъ свѣтѣ по темной лентѣ тихо скользила вереница лодокъ, раздвигая веслами зеркальную пучину и добывая изъ нея золотыя мимолетныя искры. Изъ лодокъ и челноковъ взвивался хоръ голосовъ, то сильнѣе, то слабѣе, то протяжно, то весело разносившій въ поднебесье, въ глубину бора и по водѣ старинныя мелодіи, давно забытыя свѣтомъ и дремавшія въ отдаленномъ прошломъ, но здѣсь, казалось, проснувшіяся и вставшія изъ гроба. Казалось, что гдѣ-то настежь распахнулась какая-то сокровищница пѣсенъ и изливала въ эту котловину, отгороженную отъ всего міра высокими стѣнами, на эту широкую величавую рѣку всю тоску, всѣ сожалѣнія и вздохи минувшихъ лѣтъ и поколѣній. Прежде всего полилась грустная пѣсня о бѣдномъ солдатѣ, который идетъ лѣсами, полями, терпитъ голодъ и нужду. Затѣмъ сюда слѣтѣлъ духъ Шопена. Откуда, какимъ путемъ, на крыль-

яхъ чьей любви и памяти? Это оставалось тайной! Однимъ словомъ, по рѣкѣ плыли слова, облеченныя въ мелодію великаго художника:

Съ дерева вольнаго листъ опадаетъ,
Надъ могилой одинокой пташка распѣваетъ.
Не знала ты счастья, не знала, родная.
Дѣтей твоихъ взяла могила сырая.

А заплаканная дѣвушка жаловалась на курганѣ надъ источникомъ:

Какъ мнѣ веселиться,
Когда ручей плачетъ.
Какъ мнѣ ободриться,
Когда мать въ могилѣ.

А вслѣдъ за плачущей дѣвушкой запѣлъ грустный изгнанникъ:

Ты лети, мотылекъ, ты туда залетай,
Гдѣ родная страна, гдѣ далекій мой край;
Занеси, мотылекъ, мои вздохи ты къ ней,
Чья улыбка на свѣтѣ всего мнѣ милѣй.

Красавица Осиповичовна, стоявшая среди лодки, какъ стройный тополь, въ лунномъ свѣтѣ, первая начала:

Дубрава шумѣла, рыцари выѣзжали
Яся дорогого въ походъ зазывали.
Садись, садись, Ясе, осѣдланъ конь твой—
На кого ты покинулъ меня, дорогой.

А по окончаніи этой пѣсни, уже только мужской хоръ загремѣлъ, загудѣлъ другой жалобой, другой тяжелой, излившейся въ звукахъ, угрозой:

Съ лошади упасть—
Не велика честь.
Товарищи и не взглянутъ,
Лошади растопчутъ.

до стоявшаго подъ луной столба свѣта и молча, темныя, тихія, легкія какъ призраки, проплывали одна за другой надъ его огненной, погруженной въ глубину вершиной.

Вдали, за столбомъ свѣта и луной, тамъ, гдѣ рѣка величественнымъ изгибомъ сворачивала за стѣну бора, одинокій мужской голосъ запѣлъ:

Вышла дѣвица, вышла красная,
Какъ маковъ цвѣтъ...

— Это Янекъ поетъ,—проговорилъ Анзельмъ.

— Помните ли вы, какъ мы когда-то вдвоемъ пѣли эту пѣсню?..—спросила женщина.

— Я послѣ ужъ и не слыхалъ такого прекраснаго голоса, какой былъ тогда у васъ...

Она потрясла головой:

— Да, да, было когда-то...

Анзельмъ, заслушавшись протяжной и грустной мелодіей пѣсни, самъ началъ напѣвать съ блѣдной улыбкой:

Ты зацвѣтешь розой, ты зацвѣтешь розой,
А я калиной.

Увядшія губы Марты также раскрылись, и оба они начали вторить далекой мелодіи:

Ты пойдешь дорогой, ты пойдешъ дорогой,
А я межъ лозами.
Ты умоешься росою, ты умоешься росою,
А я лишь слезами.

Анзельмъ продолжалъ еще:

Ты будешь дѣвицей, ты будешь дѣвицей,
Въ богатомъ дворѣ.

Но сидѣвшая около него женщина поперхнулась, нагнулась, прислонилась головой къ колѣнямъ и за-

кашлялась... тогда и онъ пересталъ напѣвать, нагнулся къ ней и прислушался. Ему показалось, что не одинъ только кашель вырывается изъ ея груди... Онъ взялъ ее за руку.

— Не надо плакать, — сказалъ онъ серьезно, — слезами горю не поможешь... пролитой воды не соберешь... Во цвѣтѣ лѣтъ разстались мы другъ съ другомъ, а встрѣтились снова—дѣдомъ и бабой! Не удивительно, что воспоминанія охватили насъ. Но не время уже думать намъ о подобныхъ вещахъ, а слѣдуетъ подумать о тѣхъ молодыхъ, которые выросли при насъ, какъ зеленые побѣги около сваленныхъ деревьевъ. Одно уходитъ, другое приходитъ. Можетъ быть, то солнце, которое намъ свѣтило такъ печально, засіяетъ имъ веселѣе. Скажите же мнѣ, очень я васъ прошу, что эта Юстина дѣйствительно ли такая добрая и хорошая дѣвушка, какой она кажется? И можно ли надѣяться, чтобы она могла привыкнуть къ нашей трудовой деревенской жизни? И не будетъ ли, сохрани Богъ, мой Янекъ несчастливъ съ нею? А, можетъ быть, и самъ Корчинскій ему не захочетъ отдать ее? Можетъ быть, и она сама въ послѣднюю минуту убѣжитъ отъ подобной судьбы? Можетъ быть, на моей обязанности лежитъ вѣжливо, но искренно, отъ всей души попросить ее, чтобы она лучше во время оттолкнула моего парня, тогда, можетъ быть, онъ бы еще могъ вылѣчиться?

Пока Анзельмъ говорилъ, Марта подняла голову и утвердительно кивала. Нѣсколько разъ она еще откашливалась, а потомъ сказала:

— Правда! Честное слово, правда! Вспомнила бабушка дѣвичникъ! Вѣчная глупость! Мужчина всегда благоразумнѣе бабы. Правда! Что ужъ намъ помо-

гутъ эти пѣсни и слезы! Лучше поговоримъ о молодыхъ!..

Въ это самое время въ домѣ Фабіана, окна котораго свѣтились сквозь вѣтки тополей, все гудѣло, кипѣло и бурлило, какъ въ закрытомъ стоящемъ на огнѣ котлѣ. Часъ тому назадъ, когда молодежь сбѣгала съ высокой горы къ рѣкѣ, среди множества громкихъ окриковъ слышался одинъ не менѣе звучный:

— Панъ Витольдъ! Многоуважаемый Корчинскій! Просимъ! Покорнѣйше просимъ!

Наконецъ, Фабіанъ, встрѣтивъ въ саду того, кого такъ усиленно звали, схватилъ его за руку и съ низкими поклонами пригласилъ въ хату.

— По важному дѣлу,—говорилъ онъ,—по важному дѣлу, осмѣливаюсь я обезпокоить васъ во время развлеченія... но мы надумали обратиться съ просьбой къ вамъ... мы старики... съ просьбой къ вамъ...

Въ голосѣ его слышалось волненіе и, несмотря на низкіе поклоны и покорныя просьбы, усы его поминутно ежились надъ губами. Витольдъ, поручивъ Марыню Сѣмащанкамъ, подбѣжавшимъ въ сопровожденіи Домунтовъ, охотно и съ любопытствомъ пошелъ за хозяиномъ.

Въ свѣтлицѣ, несмотря на раскрытыя окна и двери, было жарко, какъ въ банѣ; на трехъ столахъ, уставленныхъ неубранными еще тарелками и бутылками, горѣло нѣсколько лампочекъ, при скудномъ свѣтѣ которыхъ виднѣлась настоящая мозаика человѣческихъ тѣлъ и лицъ. Съ перваго взгляда можно было замѣтить только фигуры, сидящія и стоящія во всевозможныхъ позахъ прижавшіяся къ стѣнамъ, широко разложившія локти на столѣ и шевелившія руками и усами. Только черезъ нѣсколько минутъ вы-

дѣлялись изъ этой сплошной мозаики отдѣльныя головы, лысыя, сѣдыя и сѣдѣющія, покраснѣвшіе, вспотѣвшіе лбы и лица, напоминающія цвѣтомъ рыжики или землю. И здѣсь, такъ же какъ и среди молодежи, забавляющейся на гумнѣ и на Нѣманѣ, никто не былъ пьянъ, но стоявшая въ свѣтлицѣ жара и попиваемые цѣлый день, хоть и умѣренно, пиво и медъ, обливали всѣ эти лица огнемъ и потомъ. Съ отчетливостью художественной рѣзьбы выступали на нихъ теперь всѣ неровности жесткой и шероховатой кожи, безчисленныя морщины, складки и бороздки, перекрещивающіяся во всевозможныхъ направленіяхъ, иныя тонкія, какъ волосъ, иныя же широкія, въ толщину пальца.

Это было поколѣніе, по которому жизнь давно уже провела борозды своими плугами и боронами, и которое подъ ея холоднымъ дыханіемъ остыло, притихло, но отъ какого-нибудь сильнаго прикосновенія могло еще загорѣться и вспыхнуть, какъ это и случилось при входѣ Витольда. Множество рукъ протянулось къ молодому человѣку, желая пожать его руку, множество голосовъ разомъ заговорило:

— Мы пригласили сюда васъ посредникомъ и заступникомъ нашимъ!

— Судьей!

— Примирителемъ!

— Черезъ вельможъ къ королю, черезъ святыхъ до Бога, а черезъ сына къ отцу,—началъ Фабіанъ.

— Чтобы вы насъ разсудили и порѣшили, жить ли намъ или умереть,—прервалъ кто-то.

— Въ одномъ гнѣздѣ разные птенцы выводятся; хотя вашъ отецъ всегда былъ нашимъ обидчикомъ и пренебрегалъ нами, но вы оказались нашимъ другомъ и братомъ...

— Съ хорошимъ человѣкомъ все пойдетъ хорошо, — гаркнулъ кто-то изъ-за его спины.

— Правда! А какже! Доброму человѣку и поклониться не стыдно! — доказывалъ Валентій Богатыровичъ.

Апостолъ, покрывая другіе голоса своимъ жалобнымъ голосомъ, набожно кричалъ!

— Іисуса передъ Богомъ Отцомъ, а васъ передъ грознымъ сосѣдомъ просимъ быть заступникомъ нашимъ.

Витольдъ, сначала удивленный, сталъ теперь серьезенъ и мраченъ. Тѣмъ не менѣе, выбившись изъ толпы, онъ проворнымъ движеніемъ усѣлся на край стола и, окидывая съ этого возвышенія всѣ эти обращенныя къ нему лица, громко проговорилъ:

— Я здѣсь! Слушаю васъ. Спасибо, что вы пригласили меня!

Кровь ударила ему въ голову. Невольно онъ поднялъ руку вверхъ.

— И чтобы я въ будущемъ такъ добился того, чего желаю добиться, какъ я искренно люблю васъ и все готовъ для васъ сдѣлать!

Тогда многіе изъ нихъ начали говорить всѣ сразу, но Фабіанъ послѣ краткихъ усилій усмирилъ этотъ хаосъ голосовъ и вызвался самъ изложить все дѣло.

Это была давнишняя исторія, начало которой касалось конца юношескихъ увлеченій Бенедикта Корчинскаго, и вся состоявшая изъ мелкихъ столкновеній и обидъ, подобно тому, какъ изъ мельчайшихъ атомовъ составляется грозовая туча. Правда—и Фабіанъ не отрицаетъ того, что и Корчинскій не разъ былъ правъ, и что не одинъ разъ случалось ему переносить обиды и убытки отъ сосѣдей, угнетаемыхъ

всевозможными невзгодами, но на всякую болѣзнь есть свои средства, тѣ же, которыя употреблялъ Корчинскій, только запутывали ихъ въ нуждѣ и ожесточали ихъ. Изъ-за выѣденнаго яйца таскалъ онъ ихъ по судамъ; за всякое лычко ремешкомъ велѣлъ отдавать себѣ, а всякій разъ, какъ они хотѣли и пробовали миромъ и полюбовно заканчивать эти раздоры, онъ никогда не допускалъ до этого. И не потому не допускалъ, чтобы онъ находилъ особое удовольствіе въ тяжбахъ,—всѣ знали хорошо, что его самого тяжбы эти терзали на всѣ стороны,—но потому, что онъ сдѣлался черезчуръ ужъ жаднымъ, а больше всего потому, что онъ презиралъ бѣдныхъ и почти не считалъ ихъ за людей.

Тутъ Фабіанъ, который до сихъ поръ говорилъ скорѣе жалобнымъ, чѣмъ гнѣвнымъ голосомъ, подбоченился и нащетинилъ усы:

— Да будетъ мнѣ прощено,—вскричалъ онъ,—что я говорю это сыну объ отцѣ... Но, видя въ васъ единственное спасеніе, я долженъ открыть все свое сердце... И лицомъ жестокъ панъ Корчинскій, и языкъ у него рѣзкій...

— Всегда только какъ бирюкъ относится къ человѣку,—перебилъ кто-то другой.

Голоса снова перемѣшались и загалдѣли.

— Злыми словами больнѣе хлещетъ по душѣ, чѣмъ розгой по тѣлу...

— Точно у него языкъ болитъ отъ добраго слова...

— И, однако же, можетъ быть, добромъ онъ скорѣе принудилъ бы насъ беречь его добро!

Апостолъ, сверкая въ толпѣ головъ темными стеклами очковъ, кричалъ:

— Всѣ мы люди, всѣ человѣки!

Фабіанъ снова возвысилъ голосъ и покрылъ имъ общій гулъ голосовъ:

— И комаръ сердится! — кричалъ онъ, отирая потъ со щекъ и лба. — И мы уже утратили всякое расположеніе къ пану Корчинскому. Какъ аукнется, такъ и откликнется! Объявили мы войну пану Корчинскому и были увѣрены въ своей правотѣ...

Витольдъ, который сначала сидѣлъ въ свободной позѣ на столѣ, сдѣлалъ теперь безпокойное или нетерпѣливое движеніе:

— Мои милые, — вскричалъ онъ, — чего же вы хотите отъ меня? Чѣмъ я вамъ могу помочь въ этомъ случаѣ? Пустите меня!..

Сдвинувъ брови, онъ хотѣлъ спрыгнуть со своего высокаго сидѣнія, но его окружили еще тѣснѣе, а Фабіанъ ухватилъ его за руку.

— Убей меня Богъ, если я хоть однимъ словечкомъ хотѣлъ обидѣть васъ! — закричалъ онъ испуганно.

Другіе тоже начали просить, чтобы онъ выслушалъ ихъ и спасъ. Онъ остался, но подвижное лицо его измѣнило свое выраженіе. Изъ веселаго и почти шаловливаго юноши, какимъ онъ былъ часъ тому назадъ, онъ сдѣлался хмурымъ, сосредоточеннымъ и почти мрачнымъ. Онъ все-таки слушалъ или, правильнѣе, прислушивался съ напряженіемъ то къ одиночнымъ голосамъ, то ко вспыхивавшій поминутно суматохѣ. Ему показывали какой-то очень старый пожелтѣвшій и почти заплеснѣвшей планъ, который Фабіанъ разыскалъ на чьемъ-то чердакѣ въ какомъ-то полуистлѣвшемъ сундукѣ, и на которомъ ясно, какъ Божій день, было обозначено, что большой кусокъ выгона, вонъ тамъ, охваченный такими-то и такими границами, долженъ принадлежать не

пану Корчинскому, а Богатыровичской околицѣ. Го, го! если бы они только выиграли этотъ кусокъ выгона, очевидно, когда-то захваченный отъ нихъ, тогда только у нихъ началось бы житье! Ну, и притомъ сосѣду тоже доказали бы, что иногда и маленькій комаръ кусаетъ большого коня до крови!

Фабіанъ, кажется, больше всего добивался именно этого послѣдняго, нежели перваго. Онъ подбивалъ сосѣдей къ тяжбѣ, но больше десяти хозяевъ ему не удалось завербовать. Эти подставляли свои спины за всѣхъ остальныхъ и развязали мошну. У иныхъ поджилки тряслись отъ страху, но именно самыми храбрыми оказались самые бѣдные. Начиная эту тяжбу, они лѣзли въ долги. Адвокатъ—кто же могъ ожидать, что онъ окажется такимъ мошенникомъ, когда онъ такъ прекрасно и умно говорилъ?—ручался за благопріятный исходъ, два года доилъ ихъ, какъ коровъ, пока, наконецъ, пропустилъ срокъ; онъ не подалъ во-время апелляціи, и все пропало. Но это еще не конецъ; ихъ ожидаетъ еще уплата значительной суммы пану Корчинскому, и то въ скорости: онъ уже не одному заявлялъ, что ни на одинъ часъ не отсрочитъ уплаты и ни одного гроша не подаритъ и, какъ только наступитъ срокъ взысканія, то онъ прижметъ ихъ безъ всякаго милосердія. Время не далекое,—самое большое черезъ двѣ недѣли наступитъ срокъ взысканія, а вмѣстѣ съ нимъ конецъ міра развѣ, потому что, если бы они Богъ знаетъ какъ старались, то все же они вдесятеромъ не могутъ собрать такихъ большихъ денегъ и нигдѣ не могутъ найти. Ну вотъ они теперь и ужаснулись, увидѣвъ въ какую трясину они забрели и что нѣтъ для нихъ иного спасенія, какъ только смириться и просить о помилованіи.

Теперь уже и тотъ и другой говорили съ плачемъ. Фабіанъ также не первый потъ утиралъ съ лица. Онъ снова заговорилъ тѣмъ тонкимъ голосомъ, какимъ онъ сегодня утромъ благословлялъ къ вѣнцу свою дочь.

— Богъ свидѣтель,—кричалъ онъ,—какъ горько мнѣ на старости лѣтъ превращаться въ Лазаря, просящаго милостыни у порога богача! На свое собственное горе, я бы, можетъ быть, еще махнулъ рукой, но чужія слезы тяжело носить на совѣсти. Что же мнѣ несчастному остается дѣлать? Плетью обуха не перешибешь!.. Пришелъ часъ покориться и просить сына, чтобы онъ былъ нашимъ заступникомъ передъ своимъ отцомъ!

Тутъ онъ расплакался совсѣмъ какъ слѣдуетъ, но, стыдясь своей слабости, онъ размазывалъ платкомъ по лицу потъ и слезы и оправдывался прерывающимся голосомъ:

— Въ слезахъ нѣтъ грѣха... И собака воетъ, когда ей тоскливо.

Апостолъ же выкрикивалъ:

— И пріидетъ Іисусъ судить бѣдныхъ и богатыхъ, живыхъ и мертвыхъ...

Изъ толпы выдѣлился высокій, худой, съ черными обвислыми усами Валентій. На его изрытомъ морщинами и блѣдномъ лицѣ смѣшивалось выраженіе долгаго мученичества съ безграничнымъ тихимъ терпѣніемъ. Онъ тихо и спокойно говорилъ, какъ онъ выростилъ семерыхъ дѣтей, далъ приданное, нанималъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ вмѣстѣ съ сосѣдями учителя для сыновей, чтобы они научились хоть читать и писать. Не легко было выжать все это изъ десяти морговъ земли! Тяжелымъ трудомъ онъ надорвалъ себѣ грудь, такъ что теперь ему уже

трудно ходить за плугомъ. Однако, все это было, какъ было. Богъ не оставлялъ, а люди почти и не слыхали о немъ, такъ спокойно сидѣлъ онъ въ своей берлогѣ, трудясь и за все благодаря Бога. И хотя онъ, какъ и всѣ, не разъ слыхалъ отъ пана Корчинскаго обидное слово, но молча и терпѣливо переносилъ это, какъ подобаетъ убогому предъ богатымъ. И вотъ, на старости лѣтъ онъ тоже одурѣлъ. Подговорили его, и онъ тоже сунулся въ эту тяжбу. Что теперь будетъ? — онъ не знаетъ. Вѣрно, придется земельку свою продать, долги заплатить и пойти съ сумой на церковную паперть. Божья воля! Пусть будетъ и такъ! Если бы, однако, панъ Корчинскій согласился обождать и разсрочить уплату на дольшій срокъ, то, можетъ быть, онъ еще и выкарабкался бы при помощи одного изъ зятьевъ не очень бѣднаго человѣка... А хотѣлось бы ему этого, очень бы хотѣлось, потому что каждому пріятно думать, что онъ закроетъ глаза тамъ, гдѣ онъ ихъ въ первый разъ открылъ, и гдѣ тоже его дѣды и прадѣды...

Онъ не могъ окончить. Слезы градомъ катились по лицу этого человѣка, пріученнаго жизнью къ терпѣнію и страданьямъ; онъ до того теръ и сжималъ теперь свои худыя темныя, какъ земля, и покрытыя какими-то удивительными узлами руки, что даже суставы его пальцевъ трещали.

Витольдъ проворно нагнулся и, схвативъ эти блѣдныя, измученныя, полныя отчаяніи руки, сильно сжалъ ихъ въ своихъ. Но въ эту же минуту ихъ раздѣлили другіе, каждый со своей просьбой. Пусть бы панъ Корчинскій удовольствовался тѣмъ, что выигралъ тяжбу и не добивалъ ихъ окончательно этимъ взысканіемъ. Если же ему ужъ такъ хочется этихъ денегъ, то пусть, по крайней мѣрѣ, сдѣлаетъ имъ

какое-нибудь облегченіе, дастъ время, чтобы и свое получить, и людей не погубить. Кто-то съ отчаяніемъ махнулъ рукой.

— Напрасныя рѣчи! Никогда панъ Корчинскій не сдѣлаетъ такъ! Какое ему дѣло до нашей удачи или погибели!

— Конечно! Барану смерть — волку радость! — горько засмѣялся кто-то, стоявшій у стѣны.

— Три скверныя вещи есть на свѣтѣ,—со смѣхомъ вставилъ другой, — оводъ за воротомъ, волкъ въ овчарнѣ и жадный сосѣдъ за межой!

— Царица Савская предсказывала Соломону, что сатана, искуситель душъ человѣческихъ, пошлетъ въ этомъ мірѣ царство жадности,—жалобно провозглашалъ Апостолъ.

Теперь медленно и вразумительно заговорилъ сидѣвшій все время за столомъ Стшалковскій, степенный человѣкъ съ интеллигентнымъ лицомъ, одѣтый въ сермягу изъ домотканнаго сукна.

— Ни меня, ни моей околицы это дѣло совсѣмъ не касается, но живя такъ же, какъ и Богатыровичи въ близкомъ сосѣдствѣ съ паномъ Корчинскимъ, я не разъ тоже обжигался на этомъ самомъ огнѣ. Однако же я скажу такъ: если бы панъ Корчинскій жилъ и поступалъ съ нами по человѣчески и по братски, то, можетъ быть, такой разсчетъ и для него былъ бы выгоднымъ, можетъ быть, изъ этого выходила бы взаимная польза. Потому что я такъ говорю: у пана Корчинскаго много земли, а у насъ много рукъ; у пана Корчинскаго больше ума, а у насъ больше силы. Одного онъ съ нами ремесла человѣкъ, и только та разница, что у него станокъ большой, а у насъ маленькій. А поэтому я такъ говорю: никакъ невозможно, чтобы руки землѣ, а земля рукамъ не нужны

были, или опять, чтобы сила не нуждалась въ умѣ, а умъ въ силѣ; или же, чтобы людямъ одного ремесла не приходилось никогда вмѣстѣ поговорить, подумать, посовѣтоваться въ случаѣ нужды. Тогда я такъ говорю...

Но ему не дали окончить. Рѣчь степеннаго сосѣда, хотя и принадлежавшаго къ числу наименѣе зажиточныхъ, — что видно было даже и по его одеждѣ, — не только понравилась присутствовавшимъ, но и возбудила въ нихъ снова честолюбіе и вѣру въ себя. Только что разстроенные до слезъ упавшіе духомъ, они теперь снова пріободрились:

— А разумѣется! а какъ же! конечно!—кричали со всѣхъ сторонъ. — Не всѣмъ же умирать, когда нужда бьетъ!

— И мы, славу Богу, живемъ, хоть разныя невзгоды и гнетутъ насъ. Только изъ мертвеца никакой пользы не получишь, а за живого сумѣй лишь взяться. Какъ-то случилось, что панъ Корчинскій на все поле предъ всѣмъ міромъ изругалъ насъ лѣнтяями и бездѣльниками, потому что въ горячую пору работниковъ не было, а мы не захотѣли наниматься къ нему. Разумѣется! Еще бы! Къ чужому, да еще къ такому обидчику, никогда не пойдемъ мы въ кабалу и дѣтей своихъ тоже добровольно не дадимъ на барскія обиды или, сохрани Богъ, на надругательство экономовъ. Лучше ужъ голодъ терпѣть и въ дырявыхъ хатахъ жить, чѣмъ идти за презрѣнныя деньги въ египетскую неволю. Но если бы мы видѣли въ панѣ Корчинскомъ не обидчика, не чужого, не ругателя, но друга и наставника нашего, если бы каждый могъ быть увѣренъ, что съ нимъ обойдутся по человѣчески на его поляхъ, го! го!

Тутъ раздался грубый, торжествующій смѣхъ.

— Увидѣлъ бы тогда панъ Корчинскій, какіе мы лѣнтяи и бездѣльники! И вода въ Нѣманѣ не идетъ такъ быстро, какъ пошло бы его хозяйство! Вонъ, тѣ самые кавалеры и дѣвицы, что на гумнѣ гуляютъ и на Нѣманѣ пѣсни заводятъ, не хуже другихъ взялись бы за дѣло, а если бы еще при этомъ грошъ, другой изъ его кармановъ перешелъ бы къ намъ, то и взаимная выгода и удовольствіе изъ этого вышли бы. Или опять взять эти пустоши, что у него такъ даромъ пропадаютъ, потому что ни ихъ удобрить, ни ихъ засѣять какъ слѣдуетъ онъ не въ силахъ! Они съ удовольствіемъ брали бы ихъ въ долгосрочную аренду. Сыновей своихъ сажали бы на этихъ арендахъ и благодѣтеля бы своего благословляли при этомъ, и денежки бы по контракту аккуратно платили! Онъ трясется надъ деньгами, потому что у него долги и большіе расходы, а они опять терпятъ нужду въ землѣ, потому что своей земли у нихъ мало, а дѣтей много. Стало быть, такая комбинація была бы выгодна для обѣихъ сторонъ и—кто знаетъ?—можетъ быть спасла бы обѣ стороны отъ окончательной погибели! Вѣдь и панъ Корчинскій тоже не въ раю живетъ и не такъ ужъ прочно сидитъ въ Корчинѣ. Людямъ ртовъ вѣдь не заткнешь, болтаютъ!

Много еще разныхъ соображеній и выводовъ приводили они, обращаясь къ своему молодому слушателю, или, какъ они называли его, къ своему судьѣ, и всегда подъ конецъ выражали сомнѣніе, чтобы владѣлецъ Корчина захотѣлъ снизойти къ ихъ просьбамъ и желаніямъ и чтобы онъ могъ взглянуть на нихъ иначе, чѣмъ какъ волкъ на барановъ или господинъ на своихъ невольниковъ.

А я такъ говорю, — еще разъ разсудительно отозвался степенный Стшалковскій,—пусть голова не говоритъ ногамъ, что онѣ ей не нужны. Какъ богатому, такъ и убогому лучше жить не одинокому!

А Апостолъ прибавилъ:

— Ангелы, хотѣвшіе быть выше другихъ, упали ниже всѣхъ.

Всѣ они теперь остыли отъ нервнаго возбужденія и начинали возвращаться къ свойственной имъ медленности въ разговорѣ и движеніяхъ. Голоса притихли, расходившіяся руки успокаивались. Многіе изъ тѣхъ, которые раньше наполняли внутренность свѣтлицы подвижной толпой, сидѣли теперь въ задумчиныхъ позахъ на скамейкахъ и табуреткахъ. Подпирая щеки руками, они покачивали головами и то одинъ, то другой, разсуждали еще о трудности своего положенія вообще. Только одному Фабіану никакъ не удавалось возстановить свое равновѣсіе духа и заставить замолчать свой языкъ; притомъ же, будучи однимъ изъ самыхъ сообразительныхъ, онъ понималъ такія вещи, которыя для большинства были чужды, недоступны или просто были позабыты ими. Онъ присѣлъ на краю стола, скрестилъ руки, свѣсилъ голову на грудь и, хотя и спокойнѣе прежняго, но долго еще разсуждалъ, сидя въ этой меланхолической позѣ.

— И если бы мы еще намедни изъ-подъ сорочьяго хвоста повылетѣли, или же тотъ, кто оказывается такимъ врагомъ нашимъ, вчера только Божескимъ попущеніемъ прибылъ сюда съ другого конца свѣта, то оно бы еще не было такъ горько и обидно для насъ! Чужіе, такъ чужіе! Но вѣдь мы тутъ больше чѣмъ триста лѣтъ сидимъ, а Корчинскіе, можетъ быть, лѣтъ полтораста владѣютъ

Корчиномъ! Одинъ и тотъ же Богъ нашъ отецъ, и одна и та же земля наша мать. Въ такомъ случаѣ выходитъ, что мы хуже звѣрей, потому что и между звѣрями свой своего знаетъ. Волкъ не пожираетъ волка, и воронъ ворону не выклевываетъ глазъ...

Кто-то за столомъ перебилъ:

— А кто кому теперь свой?

Валентій Богатыровичъ медленно подхватилъ:

— Разумѣется! Покойникъ панъ Андрей — вотъ это былъ свой!

— Какъ же!—отозвались нѣкоторые, въ то время какъ иные тяжело вздохнули: когда его не стало — отца и наставника нашего не стало. Не долго онъ жилъ на землѣ, но много добра сдѣлалъ, а безъ него мы остались, какъ стадо барановъ, предназначенныхъ для убоя. Ни душой прильнуть не къ кому ни за добрымъ словомъ или совѣтомъ не къ кому, пойти. Со всѣхъ сторонъ окружили насъ стѣны, черезъ которыя перешагнуть намъ нельзя, и не откуда ждать намъ помощи и совѣта, какъ намъ быть въ этой тѣснотѣ и какъ спасаться. Иногда приходятъ намъ въ голову такія мысли, что наши внуки а, можетъ быть, и дѣти, какъ только еще немного размножатся, то все покинутъ и пойдутъ на край свѣта искать куска хлѣба, потому что здѣсь уже его не хватитъ для нихъ. Остается намъ только молить Господа, чтобы хоть души наши безсмертныя не перемѣнились въ песьи. Не одинъ разъ и при всякомъ случаѣ приходится намъ слышать отъ пана Корчинскаго, что мы черезчуръ ужъ глупы, то опять ворами и разбойниками онъ обзывалъ насъ. Можетъ, это и не совсѣмъ правда, а, можетъ быть, въ этомъ и есть немного правды. Однако же мы не считаемъ себя виноватыми, потому что и умный сдѣлается ду-

ракомъ, какъ его нужда притиснетъ, а каждому извѣстно, что мухи чаще садятся на ранахъ, чѣмъ на здоровомъ тѣлѣ.

Какъ раньше галдѣніе и шумъ смѣнились мѣрнымъ и степеннымъ говоромъ, такъ и теперь этотъ говоръ смѣнился молчаніемъ. Волна чувствъ, бурно-возбужденная возмущеніемъ и тревогой, теперь опадала, разсыпаясь постепенно затихавшими и все болѣе робкими жалобами, пока снова не возвратилась въ эти терпѣливыя сердца и не утихла въ нихъ.

Лица остыли и обсохли, не лишившись, однако, ни одной изъ своихъ безчисленныхъ складокъ и морщинъ; сложенныя на столѣ руки выдѣлялись на покрывавшемъ его полотнѣ, какъ комья земли или корки чернаго хлѣба. Даже Фабіанъ утихъ и только, тяжело дыша и оттопыривъ усы, изрѣдка бормоталъ еще:

— Не чужіе мы здѣсь... не съ другого конца свѣта прибрели сюда... не изъ подъ сорочьяго хвоста вчера вылетѣли. . больше трехсотъ лѣтъ стоитъ на этой землѣ памятникъ нашихъ основателей... больше трехсотъ лѣтъ... изъ поколѣнія въ поколѣніе царапаемъ мы эту землю нашими руками и потомъ своимъ обливаемъ!... Крѣпостными мы никогда не владѣли и поту-крови ни изъ кого не выжимали. Почему же это приходится намъ теперь ни за что пропадать? И дѣти наши пропадутъ безвременно на этихъ крохахъ земли, которыхъ мы не можемъ увеличить, какъ голодные черви; а внуки, Божескимъ попущеніемъ, и совсѣмъ развѣ во псовъ превратятся!... и родъ нашъ, какъ вода въ глубокій оврагъ, сплыветъ съ этого мѣста, и самая память о томъ, что мы когда-то тутъ жили, затеряется ...

Черезъ открытыя окна въ свѣтлицу вливался шорохъ тополей, а издали, изъ-за висѣвшей надъ водой луны и стоявшаго въ рѣкѣ золотого столба, долетала хоровая протяжная трогательная мелодія:

А когда мы будемъ, а когда мы будемъ
Оба умирать,—
Золотомъ прикажемъ на нашей могилѣ
Слова написать.

Глава XV.

Въ просторномъ Корчинскомъ домѣ свѣтились только два огонька: одинъ въ будуарѣ пани Эмиліи, другой въ кабинетѣ Бенедикта. Большая зала и еще большая столовая были погружены въ темноту, которую едва начинали разсѣивать ложившіеся тутъ и тамъ на подоконникъ и паркетъ лунные лучи.

Въ этомъ полумракѣ раздавались тяжелые непрерывные шаги. Кто-то, должно быть, въ глубокой задумчивости ходилъ по залѣ взадъ и впередъ. Задумчивость эта сказывалась въ мѣрной, монотонной поступи шагавшаго человѣка, а каждый разъ, когда онъ, проходя мимо одного изъ оконъ, вступалъ въ полосу луннаго свѣта, въ ней на секунду появлялась и затѣмъ снова сливалась съ темнотой его высокая, тяжелая фигура съ опущенной головой, заложенными назадъ руками и свѣшивающимися на грудь усами; человѣкъ этотъ казался такимъ одинокимъ, точно комната эта была пустыней, а онъ былъ единственнымъ ея обитателемъ.

Однако, за плотно закрытыми дверями другой комнаты неумолкаемымъ звукамъ его шаговъ вторилъ, тоже не переставая, пріятный и нѣжный женскій голосъ. Тамъ, въ будуарѣ, оклеенномъ обоями съ бу-

кетами полевыхъ цвѣтовъ, полулежавшая на chaise-longue бѣлая, тихая, страдающая женщина выполняла крючкомъ при свѣтѣ лампы что-то чрезвычайно искусное изъ шерсти и шелку. Вторая женщина, такая же нѣжная, но менѣе красивая и нарядная и болѣе увядшая, съ облѣпленной пластыремъ нижней челюстью, наклонила свою бѣлоснѣжную лебединую шею надъ книжкой, которую она читала вслухъ. Это было французское путешествіе по сѣвероамериканскому полуострову, населенному эскимосами. Одна читала, другая слушала о странѣ льдовъ, тюленей, сѣверныхъ оленей, снѣжныхъ хижинъ, сѣверныхъ сіяній, полярныхъ безконечныхъ ночей. Иногда онѣ прерывали чтеніе, обмѣниваясь вопросами и замѣчаніями. Одна изъ нихъ, опуская руки съ крючкомъ на колѣни, спрашивала:

— Какъ ты думаешь, Тереня, существуетъ ли среди эскимосовъ настоящая, горячая, поэтическая любовь?

Тереза не отвѣчала Она глубоко задумалась. Выставивъ свою лебединую шею подъ свѣтъ лампы, она дотрогивалась кончиками пальцевъ до своей больной, облѣпленной цѣлебнымъ пластыремъ челюсти. Эротическія мечты и тоска пронизывали дрожью бѣлыя тѣла этихъ двухъ женщинъ и покрывали ихъ лица страдальческимъ выраженіемъ.

— Читай дальше, Тереня...

Она продолжала чтеніе, но черезъ четверть часа снова была принуждена прервать его. За окномъ, гдѣ-то внизу послышалось стройное и громкое хоровое пѣніе. Пани Эмилія задрожала съ головы до ногъ. Она перепугалась. Съ нѣсколько расширившимися отъ испуга зрачками она спросила:

— Что это? Что это значитъ? Что это такое можетъ быть?

Тереза, хотя тоже сначала вздрогнула, но вскорѣ догадалась, въ чемъ дѣло, и успокоила свою пріятельницу. Это, должно быть, пѣли люди, съѣхавшіеся на свадьбу, на которую пошла горничная Софья.

— Несносные! мѣшаютъ намъ читать! О, что за шумъ! Милая Тереня, прикажи закрыть ставни и опустить шторы!

Черезъ двѣ минуты ставни были закрыты, и толстая штора опущена; теперь ни одинъ почти звукъ не доходилъ извнѣ въ плотно закупоренный будуаръ, и среди этой атмосферы лѣкарствъ и духовъ громкое чтеніе Терезы наполнило комнату отъ стѣны до стѣлы и отъ полу до потолка картинами безбрежныхъ ледяныхъ полей, безконечныхъ ночей, ослѣпительнаго сѣвернаго сіянія, тюленей, сѣверныхъ оленей и снѣжныхъ хижинъ.

Но ходившій по залѣ человѣкъ остановился, какъ вкопанный, при первыхъ звукахъ хорового пѣнія. Онъ остановился въ неосвѣщенномъ мѣстѣ залы, такъ что его совсѣмъ не было видно, и здѣсь простоялъ довольно долго. Вѣроятно, онъ слушалъ. Можетъ быть, онъ напрягалъ слухъ и ловилъ слова пѣсни:

Шумѣла дубрава, рыцари уѣзжали.

Онъ снова принялся ходить. О, какъ это было давно, давно, когда эти самые звуки и слова возбуждали въ его молодомъ, горячемъ сердцѣ...

Онъ снова остановился:

Не знала ты счастья, не знала, родная.

Глубокій продолжительный вздохъ раздался въ темномъ углу залы и пронесся надъ разстилающейся по паркету полосой лунныхъ лучей.

Дѣтей твоихъ взяла могила сырая.

Онъ вышелъ изъ темноты и, проходя черезъ полосу свѣта, вполголоса повторилъ:

— Въ могилѣ! Если бы всѣ... въ могилѣ!

Онъ не могъ слушать. Онъ не въ силахъ былъ дольше слушать эти слова и звуки, которые, взвиваясь отъ подножія высокой горы, казалось, слетали къ нему съ озаренной свѣтомъ вершины его свѣжей, высокой и горячей любви.

Тяжелымъ, мѣрнымъ, хотя нѣсколько ускореннымъ шагомъ прошелъ онъ черезъ совсѣмъ темныя сѣни и столовую, въ которую заглядывала луна, и вошелъ въ кабинетъ, освѣщенный горѣвшей на письменномъ столѣ лампой.

Этотъ кабинетъ былъ не только рабочей комнатой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и спальней и, удивительное дѣло, такъ же, какъ и горенка Анзельма, напоминалъ монашескую келью. Какъ тамъ, такъ и здѣсь чувствовалась одинокая, суровая жизнь, лишенная всякихъ радостей и мягкихъ удобствъ комфорта. Кромѣ желѣзной кровати со скромной постелью и когда-то прекраснымъ, но уже успѣвшимъ состариться ковромъ, большого письменнаго стола, нѣсколькихъ стульевъ и стараго шкафа, биткомъ набитаго хозяйственными приходорасходными книгами,— здѣсь не было больше ничего. На стѣнахъ висѣло только нѣсколько семейныхъ фотографій и пара ружей крестъ на крестъ на медвѣжьей шкурѣ.

Въ комнату эту черезъ полуотворенное окно налетѣло множество бѣлыхъ наднѣманскихъ мотыльковъ; они взвивались подъ потолокъ, кружились вокругъ лампы и съ распростертыми креповыми крылышками падали на покрывавшія столъ книги и бумаги. Бенедиктъ усѣлся передъ письменнымъ столомъ и вглядѣлся въ эти бѣлоснѣжныя крылатыя созданьица.

Что-то онѣ напоминали ему, какой-то моментъ очень отдаленный, но чрезвычайно важный, какой-то поворотный пунктъ въ его жизни.....

Когда-то, очень давно, былъ одинъ вечеръ, очень похожій на этотъ, такой же тяжелый и угрюмый. Эти мотыльки, вотъ такъ же, какъ и теперь, кружились вокругъ лампы и падали на приходорасходныя книги...

Тогда онъ что-то рѣшалъ и рѣшенія не привелъ въ исполненіе, что-то долженъ былъ сдѣлать и не сдѣлалъ... Что это было такое? Братъ... сынъ... А! братъ. Онъ протянулъ руку и вынулъ изъ-подъ пресспапье прочитанное уже письмо, которое онъ хотѣлъ еще разъ прочитать. И тогда было точно такъ же, какъ и теперь: онъ вынималъ изъ-подъ пресспапье письмо брата, читалъ его и задумывался надъ заключавшимися въ немъ совѣтами. Послѣ этого они въ теченіе многихъ лѣтъ обмѣнялись всего только нѣсколькими письмами, и то всегда тотъ отзывался первый; Бенедиктъ же отвѣчалъ лишь иногда, по истеченіи года или двухъ, и то всегда коротко и холодно... Да и къ чему же?

Сегодня онъ опять получилъ письмо отъ Доминика и испытывалъ такое ощущеніе, какъ если-бы каждое слово этого письма падало ему на сердце тяжелымъ камнемъ, а въ сердце жгучей слезой. Ему уже не разъ казалось, что онъ думаетъ о братѣ столько же, сколько о каждомъ совершенно безразличномъ для него человѣкѣ, котораго онъ очень давно не встрѣчалъ, и который для него совсѣмъ будто не существуетъ. Однако, сегодня онъ снова убѣдился, что это было не такъ. Своя кровь, своя боль, свой стыдъ! Ничего не поможетъ. Цѣлый часъ ходилъ онъ по залѣ, боролся съ мыслями и

воспоминаніями, желчно возмущался, а теперь снова вынулъ это проклятое письмо изъ подъ пресспанье, ощущая какъ бы острое наслажденіе, растравляя свою мучительную рану.

„Дорогой братъ!“

„Кажется мнѣ, что я уже болѣе трехъ лѣтъ не имѣлъ отъ тебя извѣстій; на послѣднее мое письмо ты не удостоилъ отвѣтить. Я, однако, пишу тебѣ, чтобы подѣлиться съ тобой своей радостью, проистекающей изъ двухъ причинъ. Первая причина та, что я уже, слава Богу, около года произведенъ въ тайные совѣтники, а если Богъ продолжитъ мою жизнь, то—можетъ быть—ты когда-нибудь поздравишь меня и съ кресломъ въ Сенатѣ. Какіе бы тамъ ни были твои предразсудки и предубѣжденія, все-таки пріятно имѣть брата сенатора, а покамѣсть и тайный совѣтникъ не сконфузитъ тебя. Притомъ же, въ случаѣ какого-либо несчастья или важнаго дѣла, хорошо знать, что имѣешь поддержку въ своемъ родномъ братѣ. Вотъ такъ-то повезло мнѣ на службѣ, за что я лично благодаренъ нашему отцу, потому что, если бы я не былъ въ университетѣ и не получилъ бы высшаго образованія, то никогда бы я не дошелъ до той ступени, на которой я въ настоящее время стою“...

Бенедиктъ опустилъ руки съ письмомъ на колѣни; горькая улыбка блуждала подъ его длинными усами; глаза, точно стеклянные, всматривались въ пространство. Можетъ, въ воображеніи своемъ онъ вызвалъ образъ отца, у котораго онъ спрашивалъ:

— Неужели дѣйствительно съ этой цѣлью?... неужели для подобнаго результата? Могъ ли ты ожи-

дать?.. Если ты смотришь съ того свѣта... благодаришь ли ты Творца за безсмертіе?

Другой причиной радости Доминика, которой онъ дѣлился съ давно невиданнымъ братомъ, было блестящее замужество старшей дочери. Она вышла за полковника. Для дѣвушки безъ приданнаго это была блестящая партія. Несмотря на то, что Доминику везло, на службѣ, однако, капитала онъ не собралъ и не могъ дать за дочерью никакого приданнаго. Онъ только задалъ блестящій свадебный пиръ, описаніе котораго занимало цѣлую страницу письма. Одинъ князь, два барона и четыре генерала удостоили своимъ присутствіемъ эту свадьбу. Впрочемъ, его зять, должно быть, самъ будетъ черезъ нѣсколько лѣтъ генераломъ.

Что же касается его двухъ сыновей, то одинъ былъ еще маленькій, а другой воспитывался въ военномъ училищѣ, чувствуя большое влеченіе къ военной службѣ.

Затѣмъ десятка полтора строчекъ письма занимало описаніе развлеченій и удовольствій послѣдней зимы въ столицѣ. Итальянская опера была верхомъ совершенства, а нѣкоторые балы превосходили своимъ великолѣпіемъ всѣ до сихъ поръ виданные.

Не окончивъ чтенія, Бенедиктъ положилъ письмо на столъ. Какъ эти мотыльки порхаютъ, порхаютъ вокругъ лампы и падаютъ на книги! Свѣжій вѣтеръ проникаетъ въ полуоткрытое окно. Въ домѣ и въ сердцѣ тихо, темно и мрачно. Когда это былъ такой же точно вечеръ? А! послѣ того разговора съ женой въ бесѣдкѣ. Онъ помнитъ. Тогда онъ въ первый разъ разглядѣлъ этотъ кроткій эгоизмъ и эту полную прелести немощь—физическую и духовную. Тогда онъ также сказалъ себѣ, что онъ одинъ изъ

всѣхъ трехъ долженъ здѣсь продолжать борьбу; онъ остался одинъ одинешенекъ. Что-жъ? Вездѣ одно и то же. Изъ трехъ, а кое-гдѣ изъ десяти, если не братьевъ, то ровесниковъ, друзей, оставался въ концѣ концовъ кто-нибудь одинъ. Совершенно такъ, какъ если бы изъ живого существа вытекъ потокъ крови, и только кое-гдѣ оставшіяся капли ея одиноко скитались по жиламъ, свернувшіяся, застывшія...

Но что случилось въ тотъ вечеръ, который былъ такъ похожъ на сегодняшній? Что-жъ его тогда утѣшило, подняло его духъ, приковало къ этому мѣсту... Сынъ! И точно картина, выдвинутая изъ мрака на полный свѣтъ, предъ нимъ предсталъ ясный отчетливый моментъ далекаго прошлаго. Растворилась дверь, и въ комнату вбѣжало маленькое, шаловливое, прыгающее созданіе и съ щебетаніемъ и ласками вскочило ему на колѣни. Маленькія рученки обняли его шею, невинные глаза заглянули въ его мрачные зрачки, свѣжія дѣтскія губки разгладили поцѣлуями всѣ морщины и стерли всѣ тучи съ его лица.

— Витя! Любишь ли ты Нѣманъ? Любишь ли ты этихъ мотыльковъ. Любишь ли ты тотъ боръ за Нѣманомъ, въ глубинѣ котораго, въ тѣни елей, забытый и безъ почестей спитъ вѣчнымъ сномъ твой дядя?

Дитя уже тогда любило все это, а онъ, отвергнувъ искушенія и совѣты, манившіе его куда-то вдаль, снова взялъ свой крестъ на плечи и—одинъ изъ трехъ остался здѣсь....

Что это? Поспѣшные шаги раздались въ сосѣдней комнатѣ, дверь растворилась, та самая, что и тогда, — и въ кабинетъ вбѣжалъ ловкій, стройный, молодой человѣкъ. Опять онъ! Только теперь уже

взрослый и такой возмужалый, точно каждый прожитый имъ годъ, питавшій его впечатлѣніями жизни, уподоблялъ его зерну, которое, вспоенное соками земли, разбухаетъ и даетъ ростки. Онъ бѣжалъ чрезъ сосѣднюю комнату, но у двери кабинета онъ остановился и, быстро переводя дыханіе, провелъ платкомъ по вспотѣвшему пылающему лицу. Очевидно, онъ пришелъ изъ такого мѣста, гдѣ была жара и тѣснота, а когда онъ открылъ лицо, то можно было подумать, что то мѣсто было мѣстомъ пытки. Глаза его были полны выраженіемъ невыносимой муки, избородившей его лобъ глубокими морщинами. Бенедиктъ сдѣлалъ быстрое движеніе въ своемъ креслѣ и подался впередъ.

— Витольдъ!

Появленіе сына было неожиданностью для отца.

— А что? Откуда ты? Почему ты такой разгоряченный и измученный?

Не отвѣчая ничего, молодой человѣкъ шелъ впередъ и остановился у отцовскаго письменнаго стола.

— Отецъ!..

Онъ замялся, опустилъ глаза и только черезъ нѣсколько секундъ, заложивъ свойственнымъ ему рѣшительнымъ движеніемъ руки назадъ, тихо окончилъ:

— Я прихожу, отецъ, съ устами и сердцемъ, полными жалобъ!

— На кого? чьихъ?—спросилъ Бонедиктъ.

— Людскихъ... на тебя, отецъ!

Бенедиктъ блеснулъ глазами.

— На меня, что-жъ? Развѣ я ограбилъ кого на большой дорогѣ или съѣлъ за завтракомъ чье-нибудь дитя?

— Умоляю тебя всѣмъ святымъ, отецъ! — вскричалъ Витольдъ, — брось этотъ насмѣшливый и ядовитый тонъ, какимъ ты говоришь всегда, какъ только мы коснемся извѣстныхъ сторонъ жизни, которыя для меня дороже жизни!.. Я молодъ, это правда... но чѣмъ же я виноватъ, что природа не вложила мнѣ въ грудь вмѣсто сердца компасъ съ иглой, обращенной въ сторону пользованія жизнью, прибыли и.... блестящей карьеры.

Взглядъ Бенедикта скользнулъ по лежавшему на столѣ письму Доминика, точно послѣднія слова сына его потянули къ нему.

— Ну, хорошо — началъ онъ, — развѣ-жъ я когда желалъ этого? Чего же ты хочешь?

— Для себя, отецъ, я не хочу ничего; для людей... многаго.

— Чепуха! — крикнулъ Бенедиктъ и, быстро подымаясь съ кресла, онъ съ сверкающими глазами и нахмуренными бровями говорилъ, или вѣрнѣе кричалъ: — Я знаю, гдѣ ты былъ! догадываюсь, что тебѣ тамъ наговорили! Жалуются, что я захватилъ ихъ добро, что я съ нихъ кожу деру, правда?

— Да, отецъ!

— Ну такъ подожди же!

И съ этими словами онъ бросился къ шкапу, вынулъ изъ него довольно большой свертокъ бумагъ и, возвращаясь съ нимъ къ столу, сказалъ:

— Посмотри и прочти! Ты долженъ посмотрѣть и прочитать! Ты долженъ убѣдиться, что тотъ кусокъ земли, изъ-за котораго они завели со мной тяжбу, всегда принадлежалъ Корчину... Ты долженъ устыдиться предположенія, что твой отецъ хочетъ кого-нибудь обкрадывать!.. До этого я еще не дошелъ... Нѣтъ! Какимъ бы я ни былъ, но

до этого я еще не дошелъ... Ты долженъ устыдиться!..

Когда онъ разворачивалъ на столѣ планъ Корчина, его большія руки дрожали, но, стараясь сдерживаться, онъ долго водилъ пальцемъ по плану, читалъ выдержки изъ старыхъ документовъ, говорилъ, доказывалъ, потомъ, выпрямляясь и подымая глаза на сына, онъ спросилъ:

— Что-жъ? стыдно тебѣ теперь?

— Нѣтъ, отецъ! — отвѣчалъ Витольдъ

— Какъ? Я не убѣдилъ тебя?

— Я и раньше былъ убѣжденъ въ томъ, что даже одна мысль о присвоеніи чужой собственности не могла прійти тебѣ въ голову...

— Ну такъ что же? Въ чемъ же дѣло? Чья же вина во всемъ этомъ дѣлѣ?

Витольдъ заложилъ руки назадъ и, смѣло встрѣчая пылающій взглядъ отца, отвѣтилъ:

— Твоя, отецъ!

— Фантазія! — вспыхнулъ Бенедиктъ. — Они, эта темнота непроглядная, вѣрятъ каждому подпольному ходатаю, который захочетъ сдѣлать себѣ изъ нихъ стадо дойныхъ коровъ; они на каждомъ шагу устраиваютъ мнѣ пакости и причиняютъ убытки...

— Извини, отецъ! — перебилъ его Витольдъ, — почему же они темные? Почему же они трясутся отъ жадности? Почему же они такъ враждебны?... Неужели во всемъ этомъ нѣтъ больше ничьей вины, кромѣ только ихъ однихъ?

Эти вопросы такъ поразили Бенедикта, что онъ умолкъ; съ тяжкимъ вздохомъ бросился онъ въ кресло и проговорилъ колеблющимся голосомъ:

— Почему? почему? Га! Если бы можно было у всѣхъ черныхъ призраковъ и тяжелыхъ язвъ жизни спросить: откуда, за что, почему?

— Мы спрашиваемъ у нихъ, — подхватилъ Витольдъ. Да, отецъ, мы спрашиваемъ у нихъ всей силой нашего ума и сердца, и они намъ отвѣчаютъ: Та язва, о которой мы говоримъ теперь, отвѣчаетъ: „Меня породили заблужденія и ненависть вѣковъ, загладить меня можетъ свѣтъ и любовь“.

Все, что онъ почерпнулъ изъ книгъ и отъ людей, все, что вложила въ него природа, а наука разъяснила и утвердила,—все это срывалось теперь съ его краснорѣчивыхъ дрожащихъ губъ. Въ широкихъ чертахъ излагалъ онъ тѣ идеи и теоріи, отъ осуществленія которыхъ, какъ ему казалось, зависѣли связь и возрожденіе народовъ, а въ особенности его народа. Въ нихъ онъ усматривалъ единственную опору для высшихъ мыслей и выводовъ, добытыхъ вѣковымъ трудомъ человѣчества, которые, по его мнѣнію, должны были принести избавленіе отъ кровавыхъ страданій, взывающихъ лѣсомъ поднятыхъ рукъ къ небу о мщеніи, — страданій, выростающихъ на почвѣ, вспаханной злобой и насиліемъ.

Отъ абстракцій, которыя обладали для него такимъ непреодолимымъ очарованіемъ, что, говоря о нихъ, онъ имѣлъ видъ человѣка, засмотрѣвшагося въ небеса избавленія,—онъ безпокойно перешелъ къ обыденной жгучей для него дѣйствительности. Онъ разсказалъ все, что онъ видѣлъ и слышалъ тамъ, откуда онъ пришелъ; повторялъ просьбы, съ которыми его прислали сюда, жалобы и обвиненія, которыя шумѣли у него въ ушахъ и жгли ему сердце.

Бенедиктъ молчалъ и не прерывалъ его; только тонкій знатокъ человѣческой души могъ бы отгадать, какія чувства будила въ его отравленной ожесточеніемъ душѣ пылкая рѣчь молодого человѣка. Углубившись въ кресло, онъ точно приросъ своими сгорбленными плечами къ его спинкѣ; длинные усы неподвижно свѣшивались на грудь съ его поблѣднѣвшаго, тысячью морщинъ изрѣзаннаго, лица; глаза его временами совершенно потухали, и онъ закрывалъ ихъ вѣками, то вновь опять подымалъ ихъ, метая на сына пламенные взгляды. Онъ молчалъ, какъ могила, и, какъ въ могилѣ, въ немъ совершались таинственные и мрачные процессы. Что это были за чувства, которыя онъ испытывалъ теперь: стыдъ, обида или гнѣвъ, но, во всякомъ случаѣ, онъ страдалъ и—страдая—онъ чувствовалъ, однако, что изъ горячихъ обильныхъ словъ сына подымается и бьетъ ему въ грудь какая-то голубая пѣвучая волна, когда-то хорошо знакомая ему, но затѣмъ поглощенная пропастью жизни, а теперь вновь подымающаяся къ нему изъ этой пропасти.

Издалека, совсѣмъ издалека, доносились сюда еще мелодіи старыхъ пѣсенъ, которыя пѣлъ хоръ надъ серебристой поверхностью Нѣмана; бѣлые мотыльки бились у окна, падая съ легкимъ стукомъ на письменный столъ и тревожно хлопая своими прозрачными крылышками о приходо-расходныя книги и разложенный планъ Корчина. По временамъ онъ бросалъ на нихъ взглядъ и тогда замѣчалъ лежащее на краю письменнаго стола широко раскрытое письмо Доминика. Каждый разъ, когда взглядъ его скользилъ по этому письму, губы его, уже открывавшіяся, чтобы разразиться какой-нибудь рѣзкой вспышкой, снова смыкались и, опуская смущен-

ный взоръ внизъ, онъ снова молчалъ, все усиленнѣе и съ возраставшимъ, почти болѣзненнымъ напряженіемъ вслушиваясь въ рѣчь сына.

Витольдъ очень блѣдный, съ дрожащими чертами лица, говорилъ сдавленнымъ голосомъ:

— Ты не зналъ обо всемъ этомъ, отецъ? Правда, вѣдь не зналъ? Объ ихъ несчастьяхъ, заброшенности, опасностяхъ... о тѣхъ проклятіяхъ, которыми они осыпаютъ тебя... о тѣхъ добрыхъ чувствахъ, которыми они готовы заплатить за каждое твое благодѣяніе, за каждый лучъ свѣта, который исходилъ бы отъ тебя... ты не зналъ? Скажи мнѣ, отецъ, о! скажи же мнѣ, что ты не зналъ всего этого и что только по невѣдѣнію... Какъ они вспоминаютъ дядю Андрея!.. за любовь, съ которой онъ сближался съ ними, за немного свѣта, за то, что онъ будилъ въ нихъ душу человѣческую... Какъ они его вспоминаютъ! Но вѣдь ты не зналъ всего этого, отецъ, не думалъ?.. и только поэтому...

Онъ вдругъ умолкъ. Что-то оборвало ему голосъ: можетъ быть, слезы, которыя онъ удерживалъ изо всѣхъ силъ, можетъ быть, сжатіе сердца, захватившее ему дыханіе. Онъ провелъ рукой по поблѣднѣвшему лбу и прислонился спиной къ стѣнѣ, на которой поверхъ медвѣжьей шкуры блестѣли скрещенныя ружья.

Бенедиктъ, казалось, продолжалъ еще слушать и ждать, глядя внизъ.

— Что-жъ?—отозвался онъ,—что же далѣе? Говори же... судья! Я слушаю! Хочу услышать весь твой приговоръ... На смерть ли осудишь меня, или только... на заключеніе?

Витольдъ не почувствовалъ, сколько бездонной печали было въ этихъ словахъ; онъ понялъ только

ихъ иронію, и безумная боль отразилась въ его глазахъ. Онъ выпрямился и весь задрожалъ.

— Ты не имѣешь права, отецъ, издѣваться такъ надъ самыми моими святыми чувствами,—вскричалъ онъ.—Я молодъ! что-жъ изъ этого? Намъ, дѣтямъ черной ночи, какъ солдатамъ на войнѣ, годъ долженъ считаться за два! Мы быстро созрѣли подъ зноемъ страданій!

Полуизумленно, полуиронически Бенедиктъ бросилъ:

— Страданій! ты... страдалъ?

— А ты думаешь, отецъ, что тѣ, молодость которыхъ дѣйствительно готова въ каждую болѣе свѣтлую минуту прорваться шалостью и смѣхомъ, не осматриваются вокругъ себя, не понимаютъ, не чувствуютъ судорогъ истерзанной гордости, не испытываютъ страданія, которое въ нихъ рыдаетъ, и тревоги за все дорогое для нихъ, которое кричитъ: „Спасенья!“ и заставляетъ ихъ искать этого спасенія на всѣхъ путяхъ труда и во всѣхъ безднахъ мысли? Кто такъ думаетъ, тотъ пусть спроситъ объ этомъ наши лица, отцвѣтшія на зарѣ и преждевременно утомленные глаза, пытливые искатели въ книгѣ знанія, пусть спросятъ они и то, чего никто не можетъ разглядѣть — тѣ вулканы обиды, оскорбленія, напрасныхъ порывовъ и возмущенія, которые кипятъ въ нашей груди! Да, я молодъ, что-жъ изъ этого, когда я высосалъ изъ жизни столько горькихъ соковъ, сколько нужно для того, чтобы въ головѣ зашумѣли вопросы: откуда? почему? Въ такихъ вопросахъ души созрѣваютъ быстро!..

Теперь въ глазахъ Бенедикта, открытыхъ шире обыкновеннаго, виднѣлось почти остолбенѣлое удивленіе. Этотъ мальчикъ, этотъ маленькій—какъ еще

до сихъ поръ онъ мысленно звалъ его—уже близко прикоснулся къ той купели страданій, въ которой онъ самъ погружался уже съ давнихъ поръ; болѣе того,—ея горькія жгучія воды били изъ общаго для нихъ обоихъ источника. Онъ сталъ припоминать теперь, какъ неоднократно поражали его и безпокоили какія-то блѣдныя тѣни, блуждавшія по лицу этого юноши, дымка изнуренности, туманившая пламя его взглядовъ, первыя очертанія морщинъ на лбу, который однако въ силу законовъ природы долженъ былъ сіять непорочной свѣжестью весенняго утра.

Онъ нагнулся, вытянулъ шею и всматривался въ сына. Да! это было дѣйствительно дитя бурнаго дня и темной ночи. Въ ясную погоду никогда цвѣточныя почки не раскрываютъ съ такой мучительной поспѣшностью свои пурпуровыя чашечки. Легко было догадаться, что этотъ разговоръ съ отцомъ причинялъ ему громадныя страданія и что къ этимъ страданіямъ его толкала такъ же, какъ несомнѣнно толкнула бы и ко всякимъ инымъ, сила убѣжденій и чувствъ, работавшая въ немъ съ непреодолимостью и безсознательной силой кровообращенія. Тонкой рукой, такой, какая бываетъ у жертвъ высокихъ мыслей, но страстное пожатіе которой должно было быть настойчивымъ и сильнымъ, онъ водилъ теперь по своему измученному, страдальческому блѣдному лбу надъ разгорѣвшимися глазами.

— Тяжко... страшно... страшно мнѣ говорить съ тобою такъ, отецъ! Я разрываюсь между тобой и тѣмъ, что для меня дороже тебя, меня, дороже всего на свѣтѣ! Но не я одинъ страдаю такъ! Въ чемъ причина того, что мы полны безпредѣльной жалости къ этимъ крошечнымъ муравьямъ и кротамъ,

что мы жаждемъ идти и идемъ въ ихъ темныя и тѣсныя норы, хотя бы для этого намъ пришлось пожертвовать тамъ собственнымъ тѣломъ и сердцемъ? Въ чемъ причина того, что мы не можемъ оставаться неподвижными грибами хотя бы на золотой почвѣ, но стремимся бѣжать, спасать, утѣшать, учить, будить и воскрешать? Въ чемъ лежитъ причина этого? Духъ вѣка, дѣтьми котораго мы считаемъ себя? или взбаламученное море человѣческихъ мыслей, кормчими котораго состоимъ мы сами? Или то, другое море страданій, волны котораго, вливаясь намъ въ сердце, будятъ въ насъ ясное и раннее сознаніе всеобщаго мірового страданія вмѣстѣ съ безграничнымъ сочувствіемъ къ нему? Но вѣдь это сочувствіе, эти священныя для насъ идеи движутся вмѣстѣ съ кровью въ нашихъ жилахъ, мыслятъ нашимъ мозгомъ, бьются нашимъ сердцемъ... Они—наша эпопея, въ нихъ причина всѣхъ нашихъ трагедій... Они же составляютъ нашу единственную надежду! Какую надежду? О! ея имя, отецъ, ты запрещаешь вспоминать!.. здѣсь нельзя вспомнить ни одного святого имени, потому что это влечетъ за собой блѣдный призракъ страха! Этотъ вѣчный страхъ!.. Эта осторожность рабовъ, которые чувствуютъ трепетъ при одномъ звукѣ ихъ оковъ!.. Это стремленіе благородной души зарыться въ пыль страха и матеріальнаго разсчета... это равнодушіе ко всему, что не питаетъ и не одѣваетъ тѣло... это отсутствіе любви къ землѣ и людямъ...

— Витольдъ!

Въ этомъ крикѣ, которымъ Бенедиктъ оборвалъ рѣчь сына, была такая бездна боли и гнѣва, что молодой человѣкъ умолкъ, охваченный внезапнымъ раздумьемъ. Онъ опустилъ голову.

— Я знаю, отецъ, что я былъ черезчуръ смѣлъ,— началъ онъ удивительно измѣнившимся голосомъ, — знаю, что между мной и тобой я навѣрное воздвигнулъ такую непреодолимую стѣну, которая навсегда раздѣлила бы насъ, если-бъ я послѣ того, что случилось, остался еще жить... Но если я мертвый упаду къ твоимъ ногамъ, ты простишь мнѣ... правда? простишь? и опять будешь попрежнему любить, какъ когда-то?.. Только умершему дитяти можно простить такую дерзость и такую обиду... Я чувствую въ себѣ, отецъ, что-то толкающее меня къ темнымъ безднамъ...

Онъ говорилъ это тихо, съ тихимъ пламенемъ глазъ, видящихъ предъ собою самое опасное, сосредоточенное безуміе, при этомъ онъ медленнымъ, рѣшительнымъ движеніемъ протягивалъ руку къ одному изъ висѣвшихъ на стѣнѣ ружей.

Бенедиктъ вскочилъ и, блѣдный какъ полотно, въ одно мгновеніе схватилъ его за руку.

— Сумасшедшій! ребенокъ! Что ты дѣлаешь? Ну что-жъ? Ты и на это готовъ! У васъ теперь даже эпидемія такая ходитъ!.. Вы теперь цѣлыми дюжинами пускаете себѣ пули въ лобъ! Ахъ, ты! такой умный, а въ головѣ вѣтеръ... Охъ, эти идеи, эти идеалы... тѣ... то, того... которые доводятъ этихъ молокососовъ до подобныхъ вещей... Милосердный Боже!

Онъ вырвалъ изъ рукъ сына ружье, которое онъ самъ сегодня зарядилъ въ его присутствіи, повѣсилъ его на стѣну, схватилъ обѣ руки молодого человѣка и сжалъ ихъ изо всѣхъ силъ въ своихъ широкихъ ладоняхъ. Его темное, морщинистое, усатое лицо, на которомъ отъ ужасныхъ предчувствій широко раскрылись глаза и волосы стали дыбомъ,

надъ блѣднымъ, какъ полотно, свѣтившимся крупными каплями поту, лбомъ, — было почти страшно въ эту минуту. Вытянувъ шею, онъ впивался въ лицо сына широко открытыми, испуганными глазами.

— Знаешь ты,—шепталъ онъ,—знаешь? Можетъ быть, не знаешь? но я знаю что... видѣлъ... вѣдь ты погибнешь... слышишь? съ этой твоей пылкостью, съ этимъ огнемъ... съ этимъ... то... того... погибнешь!

И продолжая все сильнѣе сжимать руку сына, онъ много разъ еще повторялъ:—Погибнешь! пропадешь! навѣрное погибнешь!

Наконецъ, съ глубокимъ вздохомъ, который, казалось, какъ вихрь, хотѣлъ подняться къ самому небу, онъ проговорилъ:

— Боже! Боже!

Точно такъ же съ такимъ же точно ужасомъ онъ призывалъ когда-то имя Божіе въ Анзельмовой хатѣ, стоя у окна, въ которое глядѣла ночная тьма. Но на этотъ разъ изъ тьмы, которая застилала ему глаза, раздался юношескій голосъ, мягкій и звучавшій какой-то удивительной гармоніей:

— Отецъ, не пугайся и не жалѣй, если сынъ твой погибнетъ на млечномъ пути будущаго, въ блескѣ зари, на жертвенномъ кострѣ! Развѣ тѣ, которые ходятъ недостойными путями самолюбія, ренегатства, житейскихъ наслажденій и нищеты духа, не погибшіе люди?

Бенедиктъ нѣкоторое время припоминалъ и размышлялъ, какъ вдругъ въ его сердцѣ внезапно проснулось воспоминаніе о братѣ, который съ кровавымъ пятномъ на лбу давно уже спалъ въ сырой землѣ. Долго еще глядѣлъ онъ на сына, не освобождая его руки изъ своего желѣзнаго пожатія.

Потомъ онъ поднесъ обѣ свои руки къ вискамъ и глухо прошепталъ:

— Кровь моя! молодость моя! волна, которая несла насъ когда-то... возвратная волна!..

Не отымая рукъ отъ висковъ, онъ склонилъ голову со спутавшейся шапкой волосъ, отошелъ къ письменному столу, повторяя:

— Возвратная волна! возвратная волна!

Ужасъ и восторгъ слышались въ этомъ шопотѣ.

Потомъ онъ открылъ лицо и, опираясь одной рукой на письменный столъ, выпрямился и поднялъ голову. Онъ удивительно измѣнился: влажные глаза его мечтательно блестѣли, осанка была полна гордости. Онъ глядѣлъ на сына.

— Слушай,—началъ онъ,—если вамъ кажется, что вы первые открыли всякія благородныя увлеченія и высокія идеи, что вы первые начали любить и землю, и народъ, и справедливость, — то вы впадаете въ грубое заблужденіе и грѣшите противъ справедливости...

Онъ на мгновеніе остановился; онъ уже такъ давно не говорилъ подобнымъ образомъ и о подобныхъ вещахъ, что ему не хватало словъ, или, можетъ быть, у него спутались мысли, но возвратная волна вновь приносила ему все, что отняла у него жизнь, и заставила его припомнить все, что онъ нѣкогда понималъ, зналъ и чувствовалъ.

— И въ нашихъ устахъ,—продолжалъ онъ,—звучалъ когда-то призывъ поэта: „Молодость, ты взвейся къ небесамъ!“ и мы летали по млечному пути въ блескѣ зари и въ жертвенномъ огнѣ! Этотъ народъ... это божество ваше... Великій Боже! Да вѣдь мы же кинулись къ нему, какъ безумные, вѣрили въ него,

какъ въ солнце, какъ въ спасеніе души, почти на рукахъ старались поднять его, разстилая ему подъ ноги свое имущество и самихъ себя... Обиды, причиненныя еще отцами, мы старались загладить и стереть съ лица земли, хотя бы собственными тѣлами... А земля! Боже! Еще будучи ребенкомъ, мальчикомъ, юношей, я любилъ каждую былинку, каждую каплю воды, каждый ея камешекъ... могъ ли я быть врагомъ людей, которые произошли изъ нея? Это я... но не мало, не мало было насъ такихъ! Смѣшно дѣлается при воспоминаніи! Молодые мудрецы, поэты... рыцари... апостолы... воскресители... высокія мечты... большія надежды... пылкія увлеченія!.. Все это какъ въ воду кануло! Смѣшно вспомнить!

Онъ дѣйствительно засмѣялся, хотя глаза его были полны слезъ. Дрожащимъ голосомъ, но съ поднятой головой, онъ снова началъ:

— Слушай! Корчинскихъ въ недостаткѣ идеаловъ, недостаткѣ любви къ... къ...—долголѣтняя привычка къ молчанію спутала его языкъ, онъ заикнулся.

— Къ тому... того...

Но обратная волна снова облила его лазурью и огнемъ.

– Никто не вправѣ упрекнуть Корчинскихъ въ недостаткѣ любви къ идеаламъ. Одинъ изъ нихъ заплатилъ за нее жизнью... другого она завела туда, гдѣ онъ медленно лишился славы и чести... третій... третій прожилъ жизнь, завидуя тому, который лежитъ въ могилѣ!

Теперь только слезы, наполнившія его глаза, вылились изъ нихъ двумя крупными каплями и изъ морщины въ морщину покатились по его щекамъ. Онъ махнулъ рукой и упалъ въ кресло, закрывая лобъ и глаза широкой ладонью.

Витольдъ, сидѣвшій на стулѣ въ двухъ шагахъ отъ него, остолбенѣлъ; молча, жадными глазами всматривался онъ въ отца, стараясь понять ту силу, которая такъ удивительно перемѣнила его во время этого разговора. Подобно кипятку, который изъ тщательно закрытаго сосуда, сорвавъ крышку, шумно и бурно выливается наружу, такъ и вся горечь, обида, гнѣвъ, которые наполняли это ожесточившееся суровое серце, выливались изъ него потокомъ обильныхъ, страстныхъ словъ. Природа не создала его молчаливымъ и скрытнымъ.

Было время, когда весь этотъ домъ оглашался раскатами его голоса, щедро разсыпавшаго среди собиравшейся здѣсь толпы призывы, поученія, совѣты, уговариванія, заговоры, разсужденія и споры, но потомъ жизнь страшно усмирила его. Сотня причинъ замкнули его уста сотней замковъ. Шли дни за днями, года за годами, а онъ все молчалъ. По мѣрѣ того, какъ уходило время, онъ даже съ самимъ собой пересталъ бесѣдовать о томъ, о чемъ прежде говорилъ со множествомъ людей. Къ этому онъ привыкъ. Сегодня только разговоръ съ сыномъ сорвалъ съ его сердца каменный покровъ и разомкнулъ его уста. Былъ ли это разсказъ? была ли это исповѣдь? было ли это оправданіе предъ безгранично любимымъ ребенкомъ, который сегодня бросилъ ему въ лицо градъ упрековъ, почти оскорбленій?

Совѣсть нашептывала ему оправданія: „Объясни, выясни, почему это дитя нашло тебя такимъ, какимъ ты сталъ, и почему ты утратилъ все то, чѣмъ теперь полна его душа, и чѣмъ ты тоже нѣкогда обладалъ въ равной съ нимъ степени!“ Сердце также кричало въ немъ: „Говори! потому что иначе никогда не

треснетъ и не обнаружится та стѣна, которая стала между тобой и твоимъ сыномъ, этой кровью отъ крови твоей, этимъ образомъ твоей молодости, этой возвратной волной вѣры, надежды, волшебныхъ героическихъ сновъ о новой зарѣ и жертвенныхъ кострахъ!“

Онъ говорилъ и разсказывалъ о томъ, что случилось и дѣлалось потомъ, когда все кануло въ воду. Давнишнія это дѣла. Ему кажется, что не два десятка, а двѣ сотни лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ измѣнилось все вокругъ него и въ немъ самомъ. Перемѣнилось же все это не сразу, не вдругъ, но постепенно; такъ же постепенно ржавчина тушитъ блескъ и зазубриваетъ остріе зарытаго въ землю желѣза; такъ же постепенно высыхаютъ, атрофируются, теряютъ силу и совсѣмъ исчезаютъ остающіеся безъ движенія члены тѣла; такъ же постепенно, какъ вечернія сумерки поглощаютъ дневной свѣтъ,—такъ безпрестанно омрачается, слабѣетъ и угасаетъ человѣкъ, пораженный тяжелой и безнадежной печалью.

Онъ могъ бы уйти туда, гдѣ было весело, но онъ не сдѣлалъ этого. Онъ могъ бы искать въ дешевыхъ утѣхахъ своей жизни доли счастья, но онъ совсѣмъ не пользовался ими. Изъ всѣхъ высокихъ идеаловъ его молодости въ немъ осталось только то, что онъ не сдѣлалъ подлости, но весь погрузился въ свой низменный и узкій трудъ; погрузился съ аскетизмомъ монаха и съ такимъ отчаяніемъ, съ какимъ утопающій хватаетъ и сжимаетъ въ рукахъ единственную доску, оставшуюся отъ разбившагося корабля. Трудъ этотъ, хоть низменный, узкій, все же озарялся какимъ-то падавшимъ сверху лучемъ. Подобно человѣку, который уди-

вляется и оправдывается, Бенедиктъ разводилъ руками и спрашивалъ:

— Что-жъ было дѣлать? что было дѣлать? Говорили, призывали, проклинали: „Земля! земля!“ Я держался за землю...

Онъ держался за землю и ради себя, потому что онъ сросся съ нею, и изъ-за честолюбиваго и гордаго желанія поставить на своемъ, и изъ-за мысли о сынѣ.

Но, загляд'вшись въ одну точку, онъ потерялъ изъ виду другія; какъ волъ, согнувшій шею подъ ярмомъ, онъ плелся по одной бороздѣ и пересталъ различать другія; онъ сосредоточилъ всѣ свои силы на одномъ страстномъ упорномъ желаніи, и у него не оказалось ихъ ни для чего другого. Желѣзо не чувствуетъ осѣдающей на немъ ржавчины, но человѣкъ на первыхъ порахъ обливаетъ слезами каждое, замѣченное имъ на своей душѣ, пятно. Когда онъ не могъ жить такъ, какъ бы желалъ; когда потомъ и желаніе другой жизни уже гасло въ немъ, когда вѣки начинали смыкаться у него надъ раскрытой книгой; когда споры и ссоры начали отдѣлять его отъ людей, когда онъ пересталъ сначала слѣдить за разными отдаленными направленіями и мыслями, а послѣ разучился и понимать ихъ,—что-то долго плакало внутри него. Какъ долго—онъ не помнитъ. Онъ только знаетъ, что съ теченіемъ времени ко всему привыкъ, что этотъ внутренній плачъ, котораго онъ уже не слышалъ въ себѣ, превратился въ глухое, постоянное раздраженіе, поминутно прорывающееся въ гнѣвномъ ожесточеніи и какъ-будто тяжелой обидѣ на весь міръ и жизнь. Иногда только еще блуждала у него въ сердцѣ далекая надежда, не направленная лично на себя.

— Можетъ быть, онъ, можетъ быть, для него... чрезъ него... съ нимъ?... Онъ думалъ о сынѣ. Это была его единственная надежда...

Въ тихомъ домѣ стѣнные часы пробили уже два часа пополуночи, а Бенедиктъ все еще бесѣдовалъ съ сыномъ, но совсѣмъ не по прежнему. Такъ же, какъ и тогда, много лѣтъ тому назадъ, Витольдъ обхватилъ руками шею отца и запекшимися губами сталъ цѣловать крупныя слезы, стекавшія по морщинамъ этого потемнѣвшаго, загорѣлаго лица. Онъ думалъ о томъ, что онъ можетъ безъ противорѣчій съ самимъ собой, съ любовью прижаться къ этой груди, которая вынесла столько острыхъ ударовъ и въ которой скрывалось или должно было скрываться нѣчто такое, что было выше и шире личныхъ интересовъ; безъ противорѣчія съ самимъ собой онъ могъ съ уваженіемъ цѣловать эти руки, которыхъ не изнѣжили роскошь и тунеядство. Онъ вспомнилъ, что даже тѣмъ, что онъ носилъ въ самомъ себѣ и цѣнилъ дороже жизни, онъ былъ обязанъ лишь отцу.

— Отецъ, до самой могилы, до послѣдняго вздоха я буду благодаренъ тебѣ за то, что ты никогда не отдѣлялъ меня отъ остального человѣчества, не ставилъ меня на пьедесталъ и не воспитывалъ царевичемъ и эгоистомъ. Если бы не ты, то меня, вѣроятно, съ пеленокъ держали бы въ ватѣ и запирали въ клѣтку предубѣжденій. Можетъ быть, я былъ бы теперь такимъ же, какъ этотъ несчастный Сигизмундъ, — картинкой, вырѣзанной изъ моднаго журнала, какимъ-то неудавшимся художникомъ, или же такимъ, какъ Ружицъ, листкомъ атласной бумаги, обмокнутымъ въ растворъ морфія.

Бенедиктъ, все еще закрывая глаза рукой, бормоталъ съ зарождающейся подъ усами улыбкой.

— Ну да, конечно, мой мальчикъ! Не одурѣлъ же я еще до такой степени, чтобы воображать, что сынъ мой вылѣпленъ не изъ того тѣста, что и остальные люди, и не настолько я оподлился, чтобы поддаться бабьей волѣ, которая сдѣлала бы изъ моего ребенка красивую тряпку.

Они смотрѣли другъ на друга, все еще нерѣшительно улыбаясь. Болѣе, чѣмъ когда-либо, они чувствовали, какъ безгранично любили они другъ друга, и понимали, какое огромное сходство было между ними. Одного увлеченія, одного момента молніеносныхъ воспоминаній было достаточно для того, чтобы съ одного изъ нихъ стерлась та ржавчина, которая въ теченіе долгихъ лѣтъ постепенно покрывала его душу, и чтобы существовавшее между ними сходство выступило открыто и ясно.

Бенедиктъ откинулъ внезапно голову назадъ и, вытирая рукой еще влажные глаза, заговорилъ:

— Точно стофунтовая тяжесть свалилась съ меня, когда я высказалъ все это предъ тобой. Ты не знаешь, и дай Богъ, чтобы ты никогда не узналъ, что значитъ — долгіе годы страдать, стиснувъ зубы, и не имѣть ни одной души въ мірѣ, передъ которымъ можно было бы смѣло и довѣрчиво высказать все, что у тебя на душѣ, поискать утѣшенія, совѣта, а порой и помощи. Можетъ быть, то, что я не имѣлъ около себя такой души, тоже было одной изъ причинъ моего затменія и одичанія! Я не разъ мечталъ, что ты будешь для меня всѣмъ этимъ, но, когда лѣтомъ мнѣ показалось, что и эта мечта такъ же, какъ и всѣ остальныя, пошла ко всѣмъ чертямъ, то на меня находили минуты такого отчаянія, что я уже завидовалъ не только Андрею, но всѣмъ мертвецамъ въ мірѣ! ...

— Но ты знаешь теперь, отецъ, что насъ раздѣляло! — вскричалъ Витольдъ, — и ты долженъ вѣрить моей привязанности ...

Онъ вдругъ замялся, смутился и опять опечалился.

— Однако же, отецъ... началъ онъ, — скажи же мнѣ, однако, какъ ты думаешь... что ты намѣренъ... относительно этихъ людей?..

Этотъ вопросъ болѣе, чѣмъ что-либо другое, могъ доказать, что дѣйствительно въ этомъ молодомъ человѣкѣ нѣкоторыя чувства и мысли обращались словно кровь и бились какъ пульсъ, составляя, можетъ быть, самое основаніе его существа. Даже въ самую торжественную минуту, въ моментъ глубочайшаго волненія, онъ не могъ ни позабыть ихъ, ни избавиться отъ нихъ. Бенедиктъ долго смотрѣлъ на него; довольная улыбка блуждала подъ его длинными усами.

— Ты упрямъ! — началъ онъ, — я вижу хорошо, что смѣешься ли ты или плачешь, спишь или ѣшь, но всегда думаешь о своемъ и на своемъ желаешь поставитъ. Мой характеръ! И у меня это желаніе не разъ такъ становилось поперекъ дороги, что всѣ райскія наслажденія не могли бы сдвинуть его съ мѣста! Нашъ, Корчинскихъ, характеръ!

Онъ задумался и мысленно глядѣлъ въ прошлое.

— Когда-то мы всѣ порѣшили было закрыть наши корчмы, чтобы не искушать мужиковъ пьянствомъ. Многіе сдѣлали это. Дажецкій не хотѣлъ. Андрей долго спорилъ съ нимъ объ этомъ, но затѣмъ пересталъ, и мы думали, что онъ уступилъ и забылъ. Однако, послѣ долгаго молчанія, онъ однажды снова затѣялъ жестокій споръ съ зятемъ о

кабакахъ и спивающихся въ нихъ мужикахъ и вотъ тутъ, въ этой самой столовой, въ увлеченіи спора, онъ пустилъ въ Дажецкаго ножомъ... къ счастью, ножъ пролетѣлъ мимо головы зятя. Такой былъ упрямый. Иногда, бывало, не говоритъ о чемъ-нибудь и не вспоминаетъ и годъ и два... кажется, что уже оставилъ въ покоѣ... какъ вдругъ снова примется за свое... И ты такой же...

Послѣ нѣкотораго молчанія онъ снова началъ:

— Кровь Корчинскихъ! Дѣдъ нашъ, легіонеръ, шестидесяти слишкомъ лѣтъ ходилъ еще на войну... А! припоминаю теперь! Съ нимъ шелъ нѣкій Яковъ Богатыровичъ, котораго, уже старикомъ, я встрѣчалъ лѣтъ двадцать тому назадъ. Немного помѣшанный былъ; все разыскивалъ какого-то Паценко, который увезъ у него жену... различныя старыя преданія и случаи разсказывалъ... Я и Андрей очень любили его; одному Доминику только немного надоѣдала его болтовня. Изъ насъ троихъ онъ всегда былъ самымъ равнодушнымъ къ подобнымъ вещамъ... очень ужъ много и слишкомъ весело развлекался онъ въ веселой столицѣ. Живъ ли еще старый Якубъ?

Еще разъ пробили часы въ столовой, а Витольдъ все еще говорилъ и отвѣчалъ на учащавшіеся разспросы отца. Бенедиктъ спрашивалъ кратко, въ нѣсколькихъ словахъ, а потомъ слушалъ сына, опираясь лбомъ на руку, устремивъ свой взглядъ куда-то далеко-далеко, будто въ отдаленнѣйшее прошлое, которое, подымаясь изъ сердца, мозга и словъ его сына, охватывало и его, подымало и почти опьяняло. Когда онъ, наконецъ, поднялся съ кресла и при свѣтѣ догорающей на письменномъ столѣ лампы остановился передъ окномъ, то въ голубоватомъ разсвѣтѣ онъ казался такимъ бодрымъ и яснымъ,

какимъ онъ не былъ, вѣроятно, ни разу съ тѣхъ поръ, какъ окончились золотыя минуты его жизни.

— Ну, ну! — сказалъ онъ — настоящія чудеса! Точно какая-то волна подхватила меня и выбросила изъ горькихъ и холодныхъ водъ на пригрѣтую солнцемъ траву!.. Ну, а теперь, мой мальчикъ, идемъ спать!.. часа на два только... часа на два... лишь-бы только немного подремать и отдохнуть. Послѣ пойдешь туда, къ нимъ, и скажешь имъ, что я не требую этого штрафа... не требую... Дѣйствительно, онъ черезчуръ великъ, а въ томъ, что всякіе мошенники обморочиваютъ ихъ и злоупотребляютъ ихъ довѣріемъ — я виноватъ! рядомъ съ ними живу, а, между тѣмъ, никогда и пальцемъ не пошевельнулъ, чтобы предупредить подобныя вещи.

Онъ печально улыбнулся.

— Андрей бы за это ножомъ пустилъ въ меня! Но только ты не сиди тамъ долго, потому что намъ нужно вмѣстѣ съ тобой обсудить разные проекты и планы на дальнѣйшее время, а потомъ, подъ вечеръ, можетъ быть, вмѣстѣ поѣдемъ на то... того...

Онъ заикнулся.

— На могилу! — окончилъ онъ.

Солнце стояло еще невысоко, когда Витольдъ вбѣжалъ въ комнату Фабіана, гдѣ за завтракомъ собралось довольно многочисленное общество гостей, еще не разъѣхавшихся по домамъ. Тонкая и длинная Гецолдова съ закуренной папиросой въ тонкихъ губахъ, а также бойкая Стажинская, въ чепцѣ съ развѣвающимися лентами, ходили вокругъ столовъ, приглашая къ закускѣ, которая, согласно обычаю, была приготовлена ихъ стараніями и на ихъ счетъ.

Фабіанъ, избавленный на это время отъ обязанностей хозяина, сидѣлъ, повѣсивъ носъ, среди пожи-

лыхъ сосѣдей. Увидавъ входившаго Витольда, онъ бросился къ нему съ притворной радостью, плохо скрывавшей его безпокойство.

Но едва вновь прибывшій проговорилъ вполголоса нѣсколько словъ, какъ лицо Фабіана вспыхнуло искренней, почти бурной радостью.

— Ура! — крикулъ онъ во все горло и, оборачиваясь къ сосѣдямъ, замахалъ обѣими руками, точно мельничными крыльями. — Псамъ киньте то, что у васъ на душѣ теперь! — кричалъ онъ — Не пришелъ еще часъ погибать намъ напрасной смертью! Смягчилось сердце Давида, когда онъ услыхалъ о Іонафанѣ, облекшемся въ печаль! Ангелъ небесный отвалилъ камень отъ гроба нашего! Аллилуія!

И говоря объ ангелѣ, онъ указывалъ на Витольда, къ которому уже начали подходить другіе. Цѣлый часъ послѣ этого тамъ раздавался шумъ и говоръ, состоявшій изъ вопросовъ, отвѣтовъ, радостныхъ восклицаній и смѣху.

— Да здравствуетъ панъ Корчинскій! Да здравствуетъ посредникъ нашъ и заступникъ! — выкрикивалъ поминутно Фабіанъ.

— Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ въ человѣцѣхъ благоволеніе! — молился Апостолъ.

— А я такъ говорю, что изъ этого посѣва, дастъ Богъ, хорошей жатвы дождемся... — слышался медленный, степенный голосъ Стшалковскаго.

Можетъ быть, тамъ цѣловали и обнимали Витольда, можетъ бытъ, ему давали тамъ какіе-нибудь совѣты или предлагали разные проекты на будущее, а, можетъ бытъ, его даже качали на рукахъ, потому что онъ выбѣжалъ изъ хаты Фабіана, запыхавшись и съ пылавшимъ лицомъ. Онъ обмѣнялся поклонами

и рукопожатіями съ молодежью, гулявшей около гумна и по зеленой улицѣ, кратчайшимъ путемъ прошелъ домой и въ этотъ день ужъ не показывался больше въ околицѣ.

Издали только видѣли, какъ онъ ходилъ съ отцомъ по дорогамъ, пересѣкавшимъ поле. Въ теченіе цѣлаго дня и отецъ и сынъ ни на одну минуту не разлучались. Долго сидѣли они вмѣстѣ въ кабинетѣ Бенедикта надъ разложеннымъ на письменномъ столѣ планомъ Корчина, что-то тихо обсуждая и выводя на бумагѣ какія-то линіи и цифры; а передъ закатомъ солнца нѣкоторые изъ свадебныхъ гостей, стоявшіе у самаго края зеленой горы, увидѣли на Нѣманѣ лодку съ двумя людьми, изъ которыхъ младшій работалъ веслами.

За Нѣманомъ оба поднялись по желтому обрыву холма и скрылись въ бору.

Передъ закатомъ солнца Эльжусина свадьба подходила къ концу. Почти на половину уменьшившееся общество гуляло въ усадьбѣ и по дорогѣ; на гумнѣ, по вчерашнему раскрытомъ настежь, Занѣвскіе по временамъ пиликали на скрипкахъ и гудѣли на контрабасѣ, а подъ эту небрежную и отрывистую музыку иногда двѣ или три пары отъ нечего дѣлать вертѣлись на току. Около обросшихъ бурьяномъ стѣнъ, у плетней, въ сливовой рощицѣ и на узкомъ крылечкѣ амбара, — вездѣ велись оживленные разговоры; въ волосахъ дѣвушекъ пестрѣли цвѣты, но у кавалеровъ уже не было на рукахъ бѣлыхъ перчатокъ; они уже потеряли ту бойкость и развязность въ движеніяхъ и осанкѣ, которыя возбуждало въ нихъ начало торжества.

Къ концу свадебное оживленіе затихало, становилось лѣнивѣе и постепенно расплывалось въ тихій

шумъ, по временамъ прерываемый веселыми звуками; но чувствовалось, что они сейчасъ должны разсѣяться въ сѣромъ однообразномъ морѣ будничныхъ заботъ и труда.

Во время полдника поднялось самое большее оживленіе. Запрягали лошадей въ брички и возы, причемъ эту обязанность исполняли сами владѣльцы, за исключеніемъ арендатора Гецолда и управляющаго Ясмонта, которые, однако, шумѣли больше всѣхъ, отдавая громкія приказанія работникамъ, исполнявшимъ обязанность кучеровъ.

Первый шаферъ расторопно устанавливалъ надлежащій порядокъ въ поѣздѣ, который долженъ былъ сопровождать молодыхъ до ихъ дома, то есть до Ясмонтовской околицы. Съ этой цѣлью онъ прежде всего по примыкающей къ полю дорогѣ отправилъ телѣгу для музыкантовъ. За нею онъ поставилъ пароконную бричку молодыхъ; затѣмъ слѣдовали тѣ экипажи, въ которыхъ, согласно обычаю, должны были ѣхать родители молодого, двѣ свахи и два свата. Теперь наступала очередь перваго шафера, а потому Казиміръ Ясмонтъ самъ повелъ за узду своего прекраснаго чернаго коня въ красивой упряжи, запряженнаго въ бричку цвѣта майской зелени; послѣ этого онъ прекратилъ наблюденіе за установкой поѣзда, потому что относительно его продолженія не существовало никакихъ предписаній. Кто пожелаетъ или кого пригласили, тотъ поѣдетъ, какъ ему захочется — впереди или сзади, особнякомъ или совмѣстно—это безразлично. Кто не желаетъ или кого не пригласили, тотъ останется или направится въ другую сторону, ничуть не нарушая вѣжливости и обычаевъ.

Только въ концѣ поѣзда долженъ еще непремѣнно ѣхать братъ невѣсты съ сундуками, въ кото-

рыхъ содержится ея приданное. Если брата не имѣется, то обязанность эту долженъ выполнять ближайшій родственникъ. Но у Эльжуси было нѣсколько братьевъ, и на обязанности самаго старшаго изъ нихъ лежало везти приданное сестры вслѣдъ за свадебнымъ поѣздомъ. На большой телѣгѣ, стоявшей въ зеленомъ переулкѣ, Юлекъ помѣстилъ уже два выкрашенныхъ въ зеленый цвѣтъ сундука съ выпуклыми крышками и теперь своимъ глуповатымъ голосомъ добивался третьяго, котораго ему, однако, долго не выносили. Молодая съ помощью матери и свахъ кончала наполненіе его сокровищами, которыя она должна была увезти съ собою, то есть: клѣтчатыми и полосатыми юбками, фартухами, коврами собственной работы, мотками льняной и шерстяной пряжи, изготовленной ея собственными руками, а затѣмъ, въ довершеніе всего, безчисленными свертками тонкаго и толстаго холста, тоже вытканнаго дома.

Казиміръ Ясмонтъ, возвратившись отъ бричекъ, осмотрѣлся туда-сюда по усадьбѣ и, остановившись у запертыхъ дверей дома закричалъ изо всѣхъ силъ:

— А теперь, господа дружки и шафера, споемъ прощальную пѣснь нашей молодой!

Въ одно мгновеніе по обѣ стороны дверей образовались двѣ группы, одна изъ парней, другая изъ дѣвушекъ. Это были не однѣ только дружки и шафера, но всѣ, кто хотѣлъ и умѣлъ наизусть пѣть прощальную пѣсню. Мужской хоръ, въ которомъ явственно выдѣлялись тонкій дискантъ перваго шафера, прекрасный голосъ Яна и басовое, почти гробовое гудѣніе Домунтовъ, началъ заносчивый, отрывистый, почти повелительный мотивъ:

Садись ужъ, садись, дорогая;
Стоитъ ужъ лошадка лихая,
Разлука тебя не минетъ
И коникъ стоитъ у воротъ.

Всѣ сразу точно оборвали. Черезъ нѣсколько секундъ хоръ дѣвушекъ, въ которомъ запѣвалъ звучный, чистый, какъ серебряная струна, голосъ прекрасной Осиповичовны и подтягивали слабые, тоненькіе голоски маленькихъ Сѣмащанокъ, отвѣтилъ грустной протяжной мелодіей:

Еще я не буду садиться,
Еще я должна отцу поклониться:
Спасибо тебѣ, батюшка милый!
У тебя я въ золотѣ ходила,—
Теперь ужъ не буду!

Мужчины снова грянули первой повелительной строфой.

Еще я не буду садиться,
Еще я должна съ матушкой проститься:
Спасибо тебѣ, матушка родная,
Что у тебя безъ заботы жила я,—
Теперь ужъ не буду!

Послѣ третьяго приказанія садиться послѣдовалъ отвѣтъ:

Еще я не буду садиться,
Еще я должна брату поклониться:
Спасибо тебѣ, братецъ мой милый,
Что въ одной хатѣ съ тобою я жила,—
Теперь ужъ не буду!

Тутъ со стукомъ растворилась дверь отъ сѣней, и молодая перепрыгнула черезъ высокій порогъ, блеснувъ бѣлыми чулочками изъ подъ чернаго шерстяного платья. Заплаканная и озабоченная, не глядя ни на кого, она пробѣжала между поющими, устре-

милась къ сливовой рощицѣ и начала свертывать узкія полосы разостланнаго на травѣ полотна. Она поспѣшно тянула его, свертывала и, наконецъ, бросилась бѣжать обратно съ двумя свертками недобѣленнаго полотна подъ мышками и однимъ въ рукахъ. Всѣ смотрѣли на нее съ нѣкоторымъ удивленіемъ. Казиміръ Ясмонтъ щелкнулъ пальцами.

— Молодецъ, хозяйка! И на свадьбѣ даже не забыла о недобѣленномъ полотнѣ!

Стоявшій за нимъ Михаилъ Богатыровичъ засмѣялся и покрутилъ усъ.

— Какъ же! Еслы бы ее ангелы на небо брали, то и тогда она смотрѣла бы, нельзя ли еще чего-нибудь съ земли захватить!

— Это не то, что панна Цецилія, которая вчера сняла съ шеи такую хорошенькую ленточку и отдала ее бѣдной подругѣ, у которой не было никакого украшенія! — вскричалъ черноволосый Ладысь Осиповичъ, поглядывая влюбленнымъ взоромъ на голубоглазую Цецильку Станѣвскую.

Послѣ этого они снова грянули:

Садись же, садись, дорогая;
Тебя ожидаетъ лошадка лихая;
Разлука тебя не минетъ,
Ужъ коникъ стоитъ у воротъ.

А дѣвушки отвѣчали:

Еще я не стану садиться—
Прежде нужно столамъ, лавкамъ поклониться.
Спасибо вамъ, столы и лавки,
Что вы были всегда бѣлы и гладки,
Теперь ужъ не будете!

Спасибо вамъ, родные пороги,
Что ходили по васъ мои ноги,
Теперь ужъ не будутъ!

Юлекъ съ помощью братьевъ вынесъ третій сундукъ, разрисованный большими цвѣтами, и устанавливалъ его на телѣгѣ.

На дорогѣ, вокругъ вытянувшихся гуськомъ бричекъ и телѣгъ, поднялась цѣлая кутерьма прощанія, поцѣлуевъ, приглашеній, окликовъ и даже споровъ. Не такъ-то легко было усадить всѣхъ своевременно и въ надлежащемъ порядкѣ. Музыканты не причиняли затрудненій: первые размѣстились на передней телѣгѣ и высоко подняли свои смычки, чтобы въ надлежащій моментъ съ силой ударить ими по струнамъ своихъ инструментовъ. Но въ послѣднюю минуту молодой гдѣ то запропастился, а потому сидѣвшая уже на бричкѣ Эльжуся вопила во все горло: — „Франусь!“ — а когда онъ прибѣжалъ, она принялась сильно пробирать его.

Вслѣдъ за этимъ Гецолдова, кислая и скривившаяся,—ей не хватило папиросъ,—не хотѣла садиться въ бричку Стажинской, съ которой ей приходилось ѣхать, и настаивала на томъ, чтобы ѣхать съ мужемъ на своихъ собственныхъ лошадяхъ, громко и кисло доказывая, что всѣ эти порядки и церемоніи — одни предразсудки, которыхъ уже никто не придерживается, за исключеніемъ простыхъ, необразованныхъ людей; но когда первому шаферу съ помощью поклоновъ и предложенной къ ея услугамъ раскрытой папиросницы, удалось, наконецъ, уломать гордую сваху и убѣдить ее занять надлежащее мѣсто, возникли опять новыя затрудненія въ размѣщеніи дружекъ и шаферовъ.

Та съ тѣмъ, а тотъ съ этой хотѣли ѣхать; тутъ было слишкомъ тѣсно, а тамъ опять неудобно... Казиміръ Ясмонтъ на минуту потерялъ терпѣніе и, махнувъ рукой, повелъ отчаяннымъ взоромъ по до-

рогѣ; вдругъ лицо его прояснилось неописаннымъ блаженствомъ.

По тропинкѣ, вившейся между плетнями изъ глубины околицы, вышла на дорогу Домунтовна и направлялась къ группѣ, окружающей брички. Никто не замѣтилъ ее, кромѣ Ясмонта, который, позабывъ о поѣзжанахъ, церемоніалѣ и обо всемъ на свѣтѣ, поспѣшилъ ей на встрѣчу. Она шла быстро, и поэтому они встрѣтились на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла его зеленая бричка съ прекраснымъ чернымъ конемъ, рывшимъ копытомъ землю.

Новое превращеніе совершилось съ богатой „наслѣдницей". Она была въ черномъ, очень простомъ платьѣ, гладкая юбка и плотно прилегающій лифъ дѣлали нѣсколько тоньше ея черезчуръ сильно развитый станъ. Ея загорѣлую шею обвивала, свѣшиваясь на грудь, траурная ленточка, вѣроятно, въ знакъ печали. Гладко заплетенная коса, точно вѣнкомъ красновато-коричневой пшеницы, обвивала ея голову, оттѣняя менѣе обыкновеннаго румяное лицо, а синіе глаза, съ слегка покраснѣвшими вѣками, разсѣянно и съ огорченіемъ оглядывались кругомъ. Въ такомъ видѣ остановилась она передъ Ясмонтомъ, который, срывая темно-синюю шапку съ своихъ кудрей, привѣтствовалъ ее низкимъ поклономъ и нѣжнымъ взглядомъ.

— Обманываетъ ли меня тщетная надежда или вы дѣйствительно намѣреваетесь отправиться вмѣстѣ съ нами въ путь?

Она вѣжливо присѣла, опуская вдоль чернаго платья свои красныя руки.

— За приглашеніе благодарю, — отвѣтила она, — но мнѣ теперь не до веселья. Рожь на сѣмена еще не вымолочена и за дѣдушкой нужно смотрѣть, а то ему что-то нездоровится.

И она снова окинула безпокойнымъ взглядомъ всѣхъ окружающихъ, очевидно, кого-то отыскивая. Она была вѣжлива, кротка, тиха и даже говорила въ полголоса. Ясмонтъ указалъ ей на свою бричку.

— Если бы вы удостоили оказать эту честь моей таратайкѣ и поѣхали вмѣстѣ со мною, то, можетъ быть, эта прогулка принесла бы вамъ облегченіе. Отлично несетъ... какъ на рессорахъ!

— Благодарю васъ—дѣдушку нельзя оставить!..

Онъ съ видимымъ огорченіемъ задумался на минутку.

— А если я когда-нибудь рискну пріѣхать туда, гдѣ отнынѣ будутъ пребывать всѣ мои мысли, могу ли я надѣяться на неслишкомъ неласковый пріемъ?

Она опять присѣла.

— Очень рада. Дѣдушка очень любитъ, когда его навѣщаютъ гости.

— Но я вамъ не причиню этимъ безпокойствія?

— О, какое же безпокойство! Напротивъ, мнѣ тоже доставляетъ удовольствіе пріятное общество.

Онъ уже собирался разсыпаться въ благодарности за полученное разрѣшеніе бывать у нея, какъ вдругъ изъ свадебнаго поѣзда раздались призывавшіе его голоса. Всѣ, наконецъ, сидѣли уже на бричкахъ и телѣгахъ, но не могли же они тронуться въ путь безъ старшаго шафера. Онъ только и могъ, что поцѣловать руку Ядвиги и шепнуть ея братьямъ, мимо которыхъ онъ пробѣжалъ:

— Прелесть, что за дѣвушка! Ей Богу, я никогда въ жизни не видывалъ такой великолѣпной таліи и такихъ чудныхъ глазъ!

Вскочивъ въ свою зеленую бричку, онъ крикнулъ:

— Вотъ такъ! Никто не хотѣлъ со мной ѣхать, сиротой я остался! Хорошо же! Самъ я теперь себѣ панъ и атаманъ!

Онъ усѣлся, выпрямился, лихо заломилъ шапку на головѣ, прикрѣпилъ совершенно излишній кнутъ къ козламъ, увѣренной рукой взялся за ременныя вожжи и во весь голосъ скомандовалъ:

— Музыканты! жарьте! Въ путь господа!

Торчавшіе въ воздухѣ смычки дружно опустились на струны; звуки скрипокъ и контрабаса, наигрывавшихъ во главѣ отряда торжественно-радостный маршъ, смѣшались съ грохотомъ колесъ и топотомъ лошадей. Брички одна за другой сворачивали на дорогу, пересѣкающую поле, и отъ каждой изъ нихъ, точно развѣвающееся крыло, летѣло въ одну сторону золотистое облачко пыли; двое или трое всадниковъ галлопировали по краямъ жнивья; послѣднимъ ѣхалъ возъ, нагруженный широкими сундуками, на которыхъ, точно на вершинѣ башни, сидѣлъ Юлекъ съ вѣчной своей улыбкой, открывавшей бѣлые зубы среди рыжей густой растительности его лица, а рядомъ съ возомъ галлопировалъ черный косматый Саргасъ, поминутно оборачивавшійся къ своему господину съ веселымъ лаемъ. Заходящее солнце золотило блѣднымъ блескомъ выцвѣтшій коверъ полей и на минуту возвратило свѣжесть росшимъ на нихъ деревьямъ; небо пестрѣло множествомъ бѣлыхъ кудрявыхъ облаковъ и разноцвѣтныхъ тучекъ на голубомъ фонѣ.

Достаточно было нѣсколькихъ минутъ, чтобы на шумной до того дорогѣ воцарилась полная тишина. Одни разъѣхались, другіе расходились по своимъ усадьбамъ. Янъ, проводивъ глазами уѣхавшій поѣздъ, обернулся и лицомъ къ лицу встрѣтился съ Домунтовной

Она стояла у самой окраины покрытаго жнивьемъ поля, около группы высокаго, почти доходившаго ей до плеча, репейника, напоминающаго сѣрыхъ бородатыхъ стариковъ, осыпанныхъ съ головы до ногъ молочнымъ блестящимъ пухомъ. По лицу Яна пробѣжало выраженіе непріятнаго удивленія; она замѣтила это.

— Не бойтесь, панъ Янъ,—начала она,—я не за тѣмъ пришла сюда, чтобы причинить вамъ непріятность, но за тѣмъ...

Она опустила глаза, а ея руки безсознательно искали передника, но, не найдя его на праздничномъ платьѣ, она начала ощипывать пухъ съ ближайшаго куста репейника.

— Я за тѣмъ пришла сюда,—тихо продолжала она,—чтобы увидѣться съ вами и сказать, что я до гробовой доски останусь благодарной вамъ.

— За что же эта благодарность?—удивился молодой человѣкъ.

— А за то,—отвѣтила она,—что когда вчера всѣ чернили меня и осыпали насмѣшками, вы одинъ, имѣвшій право сердиться и осуждать меня, заступились за меня и защищали. Братья все разсказали мнѣ и тоже очень хвалили васъ.

— Никакихъ я похвалъ не заслуживаю, — отвѣтилъ Янъ, — и никакого права на васъ сердиться не имѣю. Я увѣренъ, что, бросивъ этотъ камень, вы просто хотѣли подшутить надо мною.

Все ея лицо облилось пурпуровымъ румянцемъ, а блестящій пухъ, выщипанный ею изъ репейника, вырвался изъ ея пальцевъ и разлетѣлся по воздуху. Ея пристыженный, недовѣрчивый взглядъ скользнулъ по его лицу.

— Нѣтъ, ужъ вы, пожалуйста, не притворяйтесь и меня ко лжи не искушайте! Сдѣланнаго не воро-

тишь, а ложью пятна не смоешь, а только такъ его зачернишь—такъ, что и не выведешь потомъ. Что сдѣлалось, то такъ ужъ и останется. Не за тѣмъ я пришла сюда, чтобы лгать и отпираться отъ своего поступка, а за тѣмъ, чтобы заявить вамъ, что я къ вамъ не питаю больше ни гнѣва, ни обиды, ни какой-либо претензіи. Сердцу не прикажешь и насильно милъ не будешь. Развѣ вы виноваты въ томъ, что для васъ взошло другое солнце? Напротивъ. Дай вамъ Богъ счастья, здоровья и успѣха.

Снова немного блестящаго пуху улетѣло изъ ея пальцевъ; она подняла глаза на друга своего дѣтства; они свѣтились слезами.

— Отъ всего сердца желаю вамъ всего хорошаго!—прошептала она.

Онъ, смягченный и растроганный, пылко отвѣтилъ:

— И я тоже останусь навсегда лучшимъ вашимъ другомъ и надѣюсь, что счастье не минетъ также и васъ въ этомъ мірѣ...

— Надѣюсь,—прошептала она въ отвѣтъ, — надѣюсь, что и меня не оставитъ Господь...

— А, можетъ быть, и въ скорости пошлетъ спутника жизни такого, который былъ бы достойнымъ васъ...

Слеза скатилась по ея пылавшей щекѣ и упала на конецъ траурной ленточки, висѣвшей у нея на шеѣ, но она, подымая спокойно и немного гордо голову, отвѣтила:

— Надѣюсь, надѣюсь, что удостоюсь и этого также. Если ужъ такая судьба для женщины, чтобы не торчать одной, какъ жердь, въ этомъ мірѣ, то, вѣроятно, и мнѣ ея не минуть...

— Въ такомъ случаѣ и я также отъ всей души желаю вамъ всего хорошаго и прошу не сердиться на меня...

— А я васъ прошу не поминать меня лихомъ...

— Какъ же! я на всю жизнь останусь вашимъ другомъ...

Она протянула ему руку; онъ съ уваженіемъ поцѣловалъ ее.

— Пора мнѣ домой,—проговорила она,—работникъ молотитъ рожь на сѣмена, еще, пожалуй, плохо вымолотитъ, да и дѣдушкѣ нездоровится!

Она медленно отвернулась, прямая и сильная, въ своемъ черномъ платьѣ, съ вѣнкомъ изъ коричневой пшеницы на головѣ, и медленно пошла по тропинкѣ въ глубь околицы.

Какое-то воспоминаніе точно толкнуло Яна въ сердце, до того онъ весь вздрогнулъ и быстро, почти бѣгомъ, бросился къ своей усадьбѣ. Передъ разговоромъ съ Домунтовной онъ видѣлъ Юстину, разговаривавшую съ Анзельмомъ въ воротахъ ихъ усадьбы. Но гдѣ была она теперь? Можетъ быть, ушла уже? Увидѣла, что онъ такъ долго разговаривалъ съ Ядвигой, и Богъ знаетъ, что могла подумать! Запыхавшійся и встревоженный, онъ пробѣжалъ черезъ садъ и вбѣжалъ во дворъ. Анзельмъ, немного съежившись, сидѣлъ на ступенькѣ крылечка, прислонившись спиной къ столбу.

— Гдѣ панна Юстина, дядя? Только что была здѣсь, а теперь ея нигдѣ не видать! Куда она пошла? Можетъ быть, домой?..

Старикъ махнулъ рукой по направленію обрыва.

— Кажется, пошла къ Нѣману...

Янъ уже бросился по указанному направленію, но голосъ дяди вдругъ остановилъ его.

— Янекъ! подожди немного! послушай! Чего ты носишься, какъ сумасшедшій? Что ты голову теряешь? Что изъ этого будетъ? Выйдетъ ли что изъ этого?

Онъ говорилъ это съ суровостью, подъ которой скрывалось большое безпокойство; Янъ тоже сразу было остановился, и видно было, что онъ старался понять слова дяди, но не могъ, до того его жгло нетерпѣніе и что-то толкало впередъ.

— Ай, ай, дядя! пусть уже послѣ, теперь мнѣ некогда!—вскричалъ онъ и бѣгомъ пустился въ указанную сторону.

Едва онъ очутился на краю зеленой горы, какъ сейчасъ же увидѣлъ на половинѣ ея склона, подъ развѣсистымъ серебристымъ тополемъ, бѣлое платье и черныя косы, перевитыя гроздями красной рябины. Въ одно мгновеніе онъ очутился около Юстины.

— Я страшно испугался,—проговорилъ онъ,—я думалъ, что вы уже ушли домой, не попрощавшись!

Юстина движеніемъ руки указала на разстилавшуюся передъ ними картину. Она была величественно и ослѣпительно прекрасна. Блѣдное осеннее солнце въ моментъ своего заката нарядилось въ такія ослѣпительныя краски, какими оно не обладало, даже находясь въ зенитѣ своего величія. Солнечнаго диска совсѣмъ не было видно, такъ какъ его заслоняла пелена золота, затканная пурпуромъ и аметистами; выше же, по всей лазури неба разсѣялись хлопья облаковъ, залитые багрянцемъ и золотомъ, и неровныя, разорванныя, точно изъ крепа, полосы серебра и аметистовъ. Все это, точно живое, двигалось, плыло, переливалось, мѣнялось и, какъ въ зеркалѣ, отражалось въ широкихъ, прозрачныхъ, почти неподвиж-

ныхъ водахъ рѣки, которая тоже, начиная отъ далекаго изгиба, разстилалась сперва самымъ чистымъ золотомъ, а затѣмъ открывала разбросанные въ безпорядкѣ на днѣ рубины, опалы, аметисты и агаты. Она казалась какимъ-то распахнувшимся рудникомъ драгоцѣнныхъ камней, слегка прикрытымъ сверху хрустальной глыбой. Въ занѣманскомъ бору, тоже пронизанномъ золотымъ свѣтомъ, желтые стволы сосенъ отчетливо отдѣлялись одинъ отъ другого, а между ними даже издали можно было различить красноватую ржавчину засыхающаго папоротника и серебристую сѣдину устилавшихъ лѣсную почву мховъ. Наверху, по верхушкамъ сосенъ, почти уже чернымъ, скользили и ложились золотые и изумрудные блестки. Все это великолѣпіе, точно заколдованная картина, стояло въ полной тишинѣ. Воздухъ не двигался; птицы засыпали въ гнѣздахъ, и только въ листвѣ серебристаго тополя по временамъ что-то чирикало, шелестѣло и вдруъ умолкало.

Янъ смотрѣлъ на воду, небо, боръ.

— Чудно!—прошепталъ онъ.

— Чудно,—говорила Юстина.

Они взглянули другъ на друга и снова погрузились взоромъ въ раскрытый подъ ихъ ногами рудникъ драгоцѣнностей. И съ неба и изъ-подъ воды падало и обливало ихъ съ головы до ногъ зарево горячаго, ослѣпительнаго свѣта. Они стояли въ немъ оба неподвижные, молчаливые, охваченные той внутренней дрожью, которой наполняетъ людей приближеніе великаго, рѣшительнаго момента ихъ жизни. Такъ, налетая издалека, вихрь пронизываетъ лѣсныя чащи и точно такъ же предъ восходомъ солнца дрожь наслажденія и тревоги пробѣгаетъ по просыпающейся землѣ.

Они начинали разговоръ, который все какъ-то не клеился; ихъ голоса утихали, и слова обрывались. Казалось, что они желали говорить о чемъ-то, но не могли. Еще не могли!

По лицу Юстины, подъ загорѣлой кожей, поминутно вспыхивалъ стыдливый румянецъ; глаза Яна каждую минуту устремлялись къ ней и съ какой-то угрюмой тревогой отворачивались въ другую сторону. Выходило такъ, точно они ожидали, пока съ нихъ соскользнетъ и угаснетъ тотъ ослѣпительный яркій свѣтъ, въ которомъ каждая черточка, каждое движеніе ихъ лицъ выдѣлялись съ рельефностью рѣзьбы на яркомъ фонѣ.

Дѣйствительно, вскорѣ этотъ пожаръ на небѣ сталъ угасать, и одновременно съ этимъ воды рѣки тоже подернулись сѣрой пеленой, по которой кое-гдѣ только блуждали лиловыя и красноватыя полосы. Деревья бора слились и образовали одну черную сплошную, непроницаемую для глаза стѣну. Сумерки мягкими волнами начали спускаться отъ звѣздъ, постепенно зажигавшихся одна за другой на небѣ. Тишина царила огромная.

Вдругъ, среди тишины, изъ отдаленнаго пункта околицы долетѣлъ протяжный, нѣсколько разъ повторенный окрикъ. Кто-то кого-то звалъ. Точно какой-то шаловливый духъ, притаившійся въ бору, подхватилъ этотъ зовъ и понесъ его въ глубину бора, долго повторяя его протяжнымъ, серебристымъ звукомъ.

— Эхо,—шепнула Юстина.

— Съ этого самаго мѣста, гдѣ мы стоимъ, лучше всего слышно эхо,—отвѣтилъ Янъ и, точно желая доставить удовольствіе своей спутницѣ, звучно закричалъ:—Го! го!

За рѣкой, въ глубинѣ бора, раздалось долго, бодро, весело:

— Го! го! го! го!

Послѣдній звукъ долетѣлъ уже только протяжнымъ, расплывающимся вздохомъ.

— Поговорите вы теперь немножко съ эхомъ,— попросилъ Янъ.

Онъ подошелъ къ Юстинѣ такъ близко, что рука его притронулась къ рукаву ея платья; дрожь слышалась въ его притихшемъ голосѣ.

— Ля, ля, ля, ля!—закричала она.

— Панна Юстина,—началъ Янъ,—скажите эху то имя, которое для васъ дороже всѣхъ на свѣтѣ! Прошу васъ, прошу, умоляю всѣмъ на свѣтѣ назвать того, кто вамъ милъ!

Она стояла подъ касающимися ея лба вѣтвями тополя такая пылающая и взволнованная, что дыханье на секунду замерло у нея въ груди. Наконецъ, во все болѣе и болѣе сгущающейся темнотѣ, надъ все болѣе темнѣющей рѣкой пронеслось имя:

— Янекъ!

Боръ протяжно, громко, пѣвуче отвѣчалъ три раза:

— Янекъ! Янекъ! Янекъ!

Юстина смотрѣла на распѣвшійся боръ и чувствовала, что станъ ея обвиваетъ нетерпѣливая, но все-таки робкая рука... Съ сильно бьющимся сердцемъ она пробовала еще разговаривать съ эхомъ.

— Я-не-къ!—закричала она еще разъ.

Но эхо не откликнулось, до того слабъ былъ на этотъ разъ ея голосъ, и такъ быстро заглушилъ его на ея губахъ поцѣлуй. Медленно, освобождаясь изъ его объятій, она стала передъ нимъ лицомъ къ лицу, положила обѣ руки ему на плечи и добровольно, съ трепетомъ счастья и наслажденіемъ без-

граничнаго довѣрія склонила свою голову ему на грудь.

— Царица моя! дорогая! единственная! моя ли ты? моя ли? моя?

— Навсегда!—отвѣтила она.

Надъ далекимъ изгибомъ Нѣмана, точно изъ воды, выплывалъ огненный серпъ восходящей луны, быстро увеличивался, округлялся, подымался и, наконецъ, повисъ надъ рѣкой огромнымъ пылающимъ шаромъ. Звѣзды гасли, весь міръ утопалъ въ тишинѣ и мягкомъ мечтательномъ полусвѣтѣ. Подъ серебристымъ тополемъ лился шепотъ—такой тихій, что его даже не слыхалъ человѣкъ въ большой косматой шапкѣ, который неподвижно сидѣлъ на вершинѣ горы, подъ липами, опустивъ на руки голову и обернувшись лицомъ къ лунѣ.

Глава XVI.

На другой день много гостей сразу посѣтило Корчинъ. Прежде всего, еще задолго до полудня, передъ крыльцомъ остановился изящный экипажъ, изъ котораго выскочилъ одѣтый въ самый модный плащъ и фантастическую шляпу Сигизмундъ Корчинскій, который нетерпѣливо спросилъ о дядѣ у выбѣжавшаго навстрѣчу казачка. Бенедиктъ былъ дома и пригласилъ племянника къ себѣ въ кабинетъ, въ которомъ сейчасъ же послышалась очень оживленная бесѣда въ три голоса. Сигизмундъ раздраженнымъ голосомъ что-то доказывалъ, на чемъ-то настаивалъ и чего-то просилъ. Онъ добивался, чтобы Бенедиктъ старался убѣдить его мать въ необходимости, если

ужъ не продать, то, по крайней мѣрѣ, отдать въ аренду Осовцы и уѣхать съ нимъ за-границу. Онъ окончательно порѣшилъ уѣхать съ женой черезъ два мѣсяца, но ему жаль и нѣсколько неловко оставить мать одну и притомъ, какъ онъ утверждалъ, въ состояніи остраго нервнаго разстройства.

Бенедиктъ даже не хотѣлъ слушать о подобныхъ совѣтахъ невѣсткѣ и поэтому отказалъ наотрѣзъ, а племянника старался образумить. Витольдъ вспыхивалъ и быстро говорилъ и, казалось, о чемъ-то умолялъ и въ чемъ-то убѣждалъ двоюроднаго брата.

Не прошло и часу послѣ пріѣзда Сигизмунда, какъ пріѣхалъ Кирло въ изящной рессорной бричкѣ, запряженной прекрасными лошадьми Ружица. Очевидно, онъ пріѣхалъ теперь прямо отъ своего богатаго родственника изъ Воловщизны. Неизвѣстно почему, можетъ быть, изъ фантазіи, или, чтобы разсмѣшить стоявшую на крыльцѣ Леоню, онъ, согнувшись, вошелъ на цыпочкахъ въ сѣни, снялъ и повѣсилъ на вѣшалкѣ плащъ, представляющій подражаніе тѣмъ, какіе въ это лѣто носили Дажецкій и Сигизмундъ, и, обернувшись къ Леонѣ, поднялъ торжественно палецъ вверхъ и тихо спросилъ:

— А панна Юстина спитъ?

Дѣвочка отвѣтила, что еще не видала сегодня Юстины, но что она, вѣроятно, давно уже не спитъ, можетъ быть, шьетъ, или одѣвается, чтобы сойти внизъ.

— Пусть же не надѣваетъ ничего тяжелаго, — шепнулъ гость,—чтобы ей легко было прыгать къ потолку...

Леоня широко раскрыла глаза.

— Почему же это Юстина должна сегодня прыгать подъ самый потолокъ?

— Отъ радости, панна Леоня, отъ радости! — улыбался Кирло.—Увидите, панна Леоня, какая здѣсь сегодня радость будетъ, а послѣ... свадебка будетъ!.. свадебка!..

Онъ потиралъ руками и попросилъ въ высшей степени заинтересованную дѣвочку доложить матери о его пріѣздѣ. Пани Эмилія, проснувшаяся до этого лишь за четверть часа, пила въ постели какао, но, узнавъ о пріѣздѣ дорогого сосѣда, велѣла просить его въ будуаръ, а сама принялась поспѣшно и тщательно одѣваться въ длинный бѣлый, покрытый кружевами пеньюаръ.

Кирло, со шляпой въ рукѣ, выставляя впередъ оттопырившуюся крахмальную грудь сорочки, съ торжественной осанкой и таинственнымъ выраженіемъ лица проходилъ чрезъ залу.

Наконецъ, къ крыльцу подъѣхала бричка, простая тряская бричка, которую тащила пара рабочихъ коней, съ парнемъ въ простой сермягѣ на козлахъ; она была наполнена значительнымъ количествомъ существъ разнаго возраста и обоего пола. Въ ней находились: женщина, голова и шея которой были закутаны въ бѣлую кисею, подростокъ-дѣвочка въ соломенной шляпкѣ, два мальчика въ школьныхъ блузахъ и смуглый. черноволосый четырехлѣтній ребенокъ. Бенедиктъ и Витольдъ, узнавъ въ окно пани Кирло, выбѣжали ей навстрѣчу. Снимая въ сѣняхъ вуаль и указывая на сопровождавшую ее гурьбу, пани Кирло, очень смущенная, сказала:

— Извините, пожалуйста, извините, что я пріѣзжаю съ такой гурьбой, но мы всѣ гостили два дня у Теофиля и теперь возвращаемся оттуда. Я на полчасика только заѣхала, чтобы захватить мою Марыню и поговорить о важномъ дѣлѣ.

Несмотря на смущеніе, она, очевидно, была чѣмъ-то обрадована; она нагнулась къ маленькой Бронѣ, которая сейчасъ же послѣ того, какъ ее высадили изъ брички, ухватилась за фалды стараго шелковаго платья своей матери вытерла платкомъ съ ея личика пыль, пригладила, насколько возможно было, ея растрепанные волосы и, присѣвъ на полъ, начала завязывать тесемки, очевидно, новыхъ башмаковъ.

Когда она поднялась, Бенедиктъ очень привѣтливо пригласилъ ее въ залу. Видно было, что онъ питалъ большое уваженіе, а, можетъ быть, и сочувствіе къ этой женщинѣ.

Но пани Кирло стала отговариваться. Она знала, что пани Корчинскую утомляютъ всякіе разговоры и посѣщенія, и поэтому не холѣла ее безпокоить; впрочемъ, она заѣхала сюда только лишь на полчаса, чтобы захватить дочь и переговорить съ хозяиномъ и Юстинкой о дѣлѣ. Ея дѣло касалось только ихъ двоихъ, а потому, можетъ быть, гдѣнибудь въ сторонкѣ, въ какой-нибудь боковой комнатѣ . . .

Бенедиктъ предложилъ ей свой кабинетъ, но въ эту самую минуту сверху сбѣжала старшая дочка пани Кирло, которая гостила уже нѣсколько дней въ Корчинѣ и жила въ комнатѣ наверху съ Мартой и Юстиной. Свѣжая и веселая, бросилась она къ матери на шею и сейчасъ же защебетала, разсказывая, какъ она превосходно веселилась на свадьбѣ, о танцахъ, въ которыхъ она принимала участіе, о пѣсняхъ на Нѣманѣ и т. д.

Пани Кирло, растроганная, глядѣла на нее и гладила рукой ея свѣтлые волосы.

— Первый разъ въ жизни разстались мы на такой долгій срокъ,—сказала она, оборачиваясь къ Бе-

недикту: — но это хорошо, что дитя немного развлеклось. У насъ, въ Ольшанкѣ, жизнь очень однообразная и трудовая, а молодость нуждается въ развлеченіяхъ ...

Она еще не кончила говорить, какъ на лѣстницѣ показалась Юстина, которая быстро подбѣжала къ ней и поцѣловала у нея руку. Юстина давно уже къ ней питала большую симпатію и уваженіе и говорила, что замѣчаетъ въ ней большое сходство со своей рано утраченной матерью. Но сегодня лицо молодой дѣвушки такъ сіяло, такое спокойствіе и и счастливая нѣга виднѣлись на ея смугломъ лицѣ и въ ея глазахъ, что пани Кирло внимательно посмотрѣла на нее и, обнимая ее, шепнула на ухо:

— Ты догадываешься, съ чѣмъ я пріѣхала ... и всѣ тучки на твоемъ небѣ разсѣялись! Я рада .. о, какъ я рада! Я такъ искренно желаю счастья тебѣ и еще кому-то ... еще кому-то!

Юстина ничего не отвѣтила, только лукавая улыбка проскользнула по ея губамъ и блеснула въ глазахъ.

— А теперь, дѣти, — обернулась пани Кирло къ своей командѣ, — ступайте въ садъ! Пока я поговорю съ паномъ Бенедиктомъ и Юстинкой, можете посмотрѣть на прекрасный корчинскій садъ. Только пожалуйста, тихо, прилично, не шумите, а то пани Корчинской будетъ непріятно!

Мальчики сейчасъ же двинулись; Рузя взяла маленькую Броню за руку, намѣреваясь и ее увести съ собой, но дитя, повернувъ къ сестрѣ испуганные глаза, ухватилось уже обѣими рученками за юбку матери.

— Я здѣсь ... я съ мамой, — вырвалась жалобная просьба изъ коралловыхъ губокъ.

Пани Кирло пожала плечами.

— Пусть ужъ останется ... что подѣлаешь съ этой черной растрепкой? Впрочемъ, это еще такое малое и глупое созданье, что при немъ можно все говорить. Навѣрное ничего не поймет и повторять не станетъ.

Гурьба дѣтей съ Марыней во главѣ двинулась въ садъ. Чрезъ залъ всѣ проходили на цыпочкахъ, потому что запертая дверь пани Эмиліи вызывала въ нихъ нѣчто вродѣ благоговѣнія и страха. Витольдъ, который сегодня только въ первый разъ увидѣлъ свою молоденькую пріятельницу, тоже пошелъ за ней въ садъ. Сигизмундъ, небрежно заложивъ руки назадъ, началъ медленно прохаживаться по пустой залѣ.

Въ кабинетѣ пани Кирло усѣлась около стола, на которомъ лежали нѣкоторыя книги Витольда; у колѣнъ ея прикурнула Броня, розовое платьице и смуглыя ручки которой рельефно выдѣлялись на черномъ фонѣ платья матери. Юстина сѣла сбоку, а Бенедиктъ помѣстился противъ нея.

Но едва только пани Кирло, до корней волосъ покраснѣвшая отъ смущенія и волненія, успѣла пробормотать нѣсколько словъ, какъ въ дверяхъ появилась необыкновенно оживленная пани Эмилія, закутанная въ длинный бѣлый, покрытый кружевами пеньюаръ. За нею показался Кирло со шляпой въ рукѣ, улыбающійся и торжествующій; изъ-за него выдвинулась Тереза съ медовой сладостью въ голубыхъ глазахъ, съ облѣпленной пластыремъ челюстью и съ осеннимъ цвѣткомъ въ порыжѣвшей косѣ; граціозная же, завитая и нарядная дѣвочка съ блѣдненькимъ личикомъ, притаившись въ углу, никѣмъ не замѣченая, уже нѣсколько секундъ, широко раскрыла любопытные глаза.

Хозяйка, со свойственной ей мягкостью поздоровавшись съ гостьей, опустилась въ стоявшее у письменнаго стола кресло мужа.

— Надѣюсь, — проговорила она тихо тономъ просьбы, — что вы позволите мнѣ принять участіе въ вашей интимной бесѣдѣ. Я знаю, что дѣло идетъ о Юстинкѣ, въ которой и я также принимаю живое участіе.

Тереза, не говоря ни слова, остановилась въ робкой позѣ за спиной пріятельницы. Вѣдь тутъ дѣло шло о любви! Она знала объ этомъ: вся ея поза, взгляды и сложенныя руки, казалось, умоляли о позволеніи остаться здѣсь. Кирло вдвое согнулся передъ Юстиной и такъ крѣпко прижался губами къ ея рукѣ, что она принуждена была ее отдернуть.

Пани Кирло, въ высшей степени смущенная этимъ неожиданнымъ увеличеніемъ общества, краснѣла и безпокойно двигалась на стулѣ. Послѣ короткаго молчанія она, однако, заговорила, набравшись храбрости и энергіи.

— Господа, я не стану скрывать или смягчать того, съ чѣмъ я сюда пріѣхала. Чѣмъ проще, тѣмъ лучше. Я являюсь въ качествѣ посла. Кузенъ мой, Теофиль Ружицъ, уполномочилъ меня просить руки Юстинки. Онъ потому не рѣшается сдѣлать предложеніе самъ, лично, что это его сильно взволновало бы и разстроило, и притомъ онъ не увѣренъ въ томъ, какой отвѣтъ получитъ, но если онъ будетъ благопріятный, то онъ пріѣдетъ сейчасъ же... сейчасъ же!

Эта рѣчь никого не удивила, потому что всѣ уже предвидѣли ее. Пани Эмилія, однако, умиленно сложила на груди свои хорошенькія ручки, и вскрикнула слабымъ голосомъ:

— Что за счастье для Юстинки! Какой благородный, прекрасный, возвышенный поступокъ со стороны пана Ружица!

Тереза имѣла такой видъ, точно она возносилась на небо; сидѣвшій на стулѣ Кирло подался немного впередъ и всѣмъ своимъ видомъ и улыбкой торжествовалъ и радовался. На лицѣ Юстины не выразилось ни малѣйшаго волненія. Она сидѣла съ опущенными глазами и съ задумчивой улыбкой на губахъ.

Пани Кирло послѣ краткаго молчанія снова собралась съ духомъ и продолжала:

— Теофилю серьезно нравится Юстинка, и мнѣ кажется, что настоящій его поступокъ служитъ лучшимъ доказательствомъ этого. Я увѣрена, что она могла бы быть счастлива съ нимъ, потому что у него золотое сердце, да и голова тоже не изъ плохихъ... Однако же, прежде чѣмъ обѣщать ему, что я поѣду сюда отъ его имени, я откровенно и рѣшительно заявила ему, что разскажу Юстинкѣ о немъ всю правду... Если она, зная обо всемъ, согласится спасти и осчастливить этого бѣднягу — хорошо; если нѣтъ — то что же дѣлать? Но я ни за какія блага въ мірѣ не могу никого обманывать. Теофиль согласился и даже самъ просилъ меня, чтобы я обо всемъ предупредила Юстинку.

— Что же? Бурное прошлое? Разстроенное состояніе? — вопросительно бросилъ Бенедиктъ.

Кирло скривилъ губы и, недовольно помахивая рукой, бормоталъ:

— Совершенно лишнее! Совершенно лишнее! Глупая щепетильность!

Выраженіе большого огорченія появилось на лицѣ у пани Кирло; смущеннымъ взоромъ она окидывала

лица присутствующихъ. Видно было, что она предпочла бы говорить въ присутствіи не столь многочисленныхъ слушателей; но дѣлать было нечего, такъ какъ всѣ присутствующіе имѣли полное право находиться здѣсь.

— Нѣтъ, — отвѣчала она на вопросъ Бенедика, — совсѣмъ не то. Состояніе еще прекрасное, даже, можно сказать, большое, а прошлое ... ну, что было, то прошло и быльемъ поросло! Какое бы оно тамъ ни было, но онъ теперь искренно раскаивается въ немъ, и все же онъ унесъ въ цѣлости изъ него свое золотое сердце. Тутъ дѣло другое ... Теофиль ... Теось ...

Она запнулась, покраснѣла болѣе обыкновеннаго и почти шопотомъ окончила:

— Теось мор ... морфи ... Боже! Да какъ же это называется? Я вѣчно забываю!.. Мор ... морфинистъ.

Бенедиктъ глядѣлъ на нее большими глазами.

— Что же это за дьяволъ такой? — спросилъ онъ. — Я никогда не слыхалъ ...

Тихо, съ запинкой и съ большимъ сожалѣніемъ, пани Кирло шепотомъ разсказала все, что она знала объ этомъ предметѣ отъ своего кузена, стараясь оправдать его. Онъ сильно хворалъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ; заграничные доктора привили ему эту проклятую привычку ...

Бенедиктъ дергалъ усы внизъ.

— Попросту говоря — пьяница! — замѣтилъ онъ.

Пани Кирло даже затряслась вся, до того это выраженіе кольнуло ее. Но вѣдь, право же, онъ не виноватъ, что этотъ большой свѣтъ довелъ его до этого, и большое состояніе дѣлало его жертвой всякихъ искушеній и похожденій. Онъ страстно жела-

етъ вылечиться, пробовалъ уже не разъ, потому что ему стыдно предъ самимъ собой и жаль своей молодой жизни ... но до сихъ поръ онъ не могъ ничего сдѣлать. Развѣ, можетъ быть, женщина, которую онъ полюбилъ, вылечитъ его . . Клинъ клиномъ лучше всего вышибать ... Когда онъ будетъ чувствовать себя счастливымъ, онъ перестанетъ скучать; правильная, порядочная, семейная жизнь возвратитъ ему здоровье и возбудитъ въ немъ желаніе заняться имѣніемъ. Для Юстинки это представляется настоящей задачей сестры милосердія, если только она захочетъ, если только то, о чемъ она узнала, не оттолкнетъ ее.

Тутъ пани Эмилія подняла вверхъ сложенныя руки.

— Оттолкнуть! О, Боже!—вскрикнула она.—То, о чемъ мы узнали, дѣлаетъ пана Ружица еще болѣе интереснымъ... возбуждаетъ къ нему еще большую симпатію, такъ какъ свидѣтельствуетъ о натурѣ, жаждущей вырваться изъ оковъ сѣрой дѣйствительности, упиваться хоть бы снами о томъ, что прекрасно, возвышенно, поэтично. Дѣлить жизнь съ подобнымъ человѣкомъ, вмѣстѣ съ нимъ любить, мечтать...

— Можетъ быть, и напиваться тоже,—пробормоталъ въ усы Бенедиктъ, который казался меньше восхищеннымъ этимъ предложеніемъ.

— Это истинное счастье,—окончила пани Эмилія.

— Дѣйствительно, можно умереть отъ подобнаго счастья,—звенѣлъ за спинкой кресла тоненькій голосокъ Терезы.

— Состояніе барское... прекрасное имя... связи... нечего и говорить! — шепталъ Кирло съ блаженной улыбкой.

Пани Кирло же со слезами въ глазахъ обернулась къ Юстинкѣ.

— Сердце у него золотое; хорошую и привязанную женщину онъ сумѣетъ оцѣнить и сдѣлать счастливой. Если бы ты знала, Юстинка, насколько онъ добръ къ намъ! Другой на его мѣстѣ знать бы не хотѣлъ бѣдныхъ родственниковъ, а онъ для насъ другъ, почти какъ братъ и... даже благодѣтель, потому что, знаешь,—почему бы мнѣ не сознаться въ этомъ, бѣдность вѣдь не порокъ, — онъ обѣщалъ взять на свое попеченіе нашихъ мальчиковъ и платить за ихъ воспитаніе... уже за одно полугодіе заплатилъ... но это ничего не значитъ въ сравненіи съ его сердцемъ и расположеніемъ! Бронку нашу очень любитъ и иногда на рукахъ ее носитъ... Пріѣхалъ какъ-то къ намъ въ Ольшинку и какъ началъ просить насъ: пріѣзжайте всѣ въ Воловщизну хоть на нѣсколько дней! Ну, вотъ мы и гостили у него два дня всей компаніей, и какъ онъ принималъ насъ! Я ужъ и не говорю о деликатесахъ и разныхъ тамъ барскихъ удовольствіяхъ — не въ нихъ дѣло... но самъ намъ прислуживалъ, съ дѣтьми игралъ и только по временамъ впадалъ въ эту свою несчастную апатію... Золотое сердце и очень бѣдный человѣкъ... несмотря на свое богатство!

Она вытерла влажные глаза и, обращаясь къ Юстинѣ, спросила полунетерпѣливымъ, полупросительнымъ тономъ:

— Ну, что же, Юстинка?

Пани Эмилія, что случалось чрезвычайно рѣдко, вышла изъ себя.

— Ну, разумѣется, Юстинка согласна!.. Это настоящее чудо... неожиданность судьбы.

— Это развѣ ужъ Святой Антоній устроилъ...— звенѣла Тереза.

— Я заранѣе, заранѣе припадаю къ ножкамъ будущей пани Ружицъ,—съ низкимъ поклономъ разсыпался Кирло.

Бенедиктъ молчалъ, навивалъ на палецъ усы и, наконецъ, въ свою очередь спросилъ:

— Ну, что же, Юстина? Говори же!

Юстина подняла глаза; она была совершенно спокойна; устремивъ дружескій взглядъ на пани Кирло и слегка поклонившись ей, она начала:

— Я очень благодарна господину Ружицу за его лестное для меня предложеніе. Я знаю, однако, что не мало потребовалось совѣтовъ и внушеній для того, чтобы склонить его къ этому шагу, а также догадываюсь, что онъ не мало долженъ былъ бороться и съ собой, прежде чѣмъ рѣшиться на этотъ шагъ. Впрочемъ, я это отлично понимаю. Ни мое положеніе, ни воспитаніе, ни привычки и вкусы—не даютъ мнѣ возможности быть для него соотвѣтственной подругой жизни. Я не обладаю никакими данными для того, чтобы занять блестящее положеніе въ свѣтѣ, но не питаю также и никакихъ претензій на это положеніе...

— Тѣмъ болѣе, тѣмъ болѣе ты должна оцѣнить этотъ героизмъ любви, — вставила пани Эмилія.

— Тѣмъ больше видно въ этомъ чудо Провидѣнія,—вторила ей Тереза.

— Все это, взятое вмѣстѣ,—окончила Юстина, попрежнему обращаясь къ пани Кирло, — сдѣлало бы для меня невозможнымъ принять подобную жертву, за которую я ему, однако, очень благодарна... Но самымъ важнымъ и рѣшающимъ обстоятельствомъ въ

этомъ вопросѣ является то, что я со вчерашняго дня помолвлена...

Всѣ присутствующіе, пораженные минутной нѣмотой, почти одновременно закричали:

— Что? Когда? Какъ? Съ кѣмъ? Съ кѣмъ?

Юстина встала. Что-то подняло ее со стула и словно облило кипяткомъ.

— Съ корчинскимъ сосѣдомъ, собственникомъ куска земли въ богатыровичской околицѣ, съ Яномъ Богатыровичемъ! — отвѣтила она медленно немного дрожащимъ отъ волненія голосомъ.

Теперь только громъ изумленія разразился надъ присутствовавшими. Комната наполнилась восклицаніями:

— Что это? Какъ это? Кто это? Ты шутишь! Она шутитъ! Вы шутите!

Однако, видно было по Юстинѣ, что она вовсе не шутитъ. Брови ея сдвинулись, и она, закинувъ голову, сверкающими глазами водила по окружающимъ. Наконецъ Бенедиктъ махнулъ рукой.

— Да подождите же, господа, — вскрикнулъ онъ, — дайте мнѣ самому разспросить ее обо всемъ!

Онъ обернулся къ племянницѣ:

— Ты не шутишь, Юстинка? Серьезно говоришь? Ты въ самомъ дѣлѣ обручилась съ какимъ-то тамъ Богатыровичемъ?

Она показала ему свою руку.

— Видишь, дядя, у меня на пальцѣ нѣтъ кольца моей матери; я его вчера ему отдала. Сердце, рука и будущность моя принадлежатъ ему.

Бенедиктъ какъ-то странно крякнулъ, что-то пробормоталъ, поглядѣлъ на племянницу и снова спросилъ:

— По какому же ты случаю могла познакомиться съ нимъ?

По губамъ ея пробѣжала улыбка, немного грустная; она внимательно нѣсколько секундъ глядѣла дядѣ въ глаза.

— Вы правы, дядя; мы и они только случайно можемъ знакомиться!

— Ну, ну,—пробормоталъ Бенедиктъ,—эта философія—одно, а твоя будущность — другое! Влюбилась ты въ этого человѣка, что ли, а? Въ самомъ дѣлѣ любишь его?

Опять точно электрическая искра ударила ей въ сердце, охвативъ пламенемъ лобъ и наполнивъ влажностью глаза. Она подняла голову.

— Я люблю его всѣмъ сердцемъ и какъ въ то, что живу, вѣрю, что я любима взаимно, — отвѣтила она.

Съ паней Эмиліей „сдѣлалось дурно". Неожиданно истерическій клубокъ началъ подступать ей къ горлу. Съ глазами, полными слезъ, она закричала уже сдавленнымъ голосомъ:

— Юстинка, можетъ ли это быть? Ты, такая гордая! Ты, которая изъ гордости никогда не хотѣла ничего принять отъ меня, когда я, бывало, хотѣла одѣвать тебя, какъ слѣдовало! Ты, которая изъ гордости не допускала ни одной самой невинной шутки! Ты отвергаешь теперь блестящую партію, высокое положеніе въ свѣтѣ и хочешь выйти за мужика... да, за мужика!.. О, Боже! Что же это за таинственная загадка человѣческаго сердца!

Юстина улыбалась.

— Никакой загадки въ этомъ нѣтъ,—отвѣтила она.—Именно потому, что я такъ горда. Я не хочу быть женой, взятой изъ великодушія и героизма,

благодаря чуду Провидѣнія или святому Антонію, изъ милости, по совѣту... Я предпочитаю быть обязанной своимъ существованіемъ и счастьемъ человѣку, который меня любитъ и будетъ трудиться вмѣстѣ со мной.

— Чепуха!—закричалъ Бенедиктъ.—Эти всѣ чудеса, таинственность загадки,—во всемъ этомъ нѣтъ ни на грошъ здраваго смысла! Понравилась молодому человѣку хорошая и недурная дѣвушка — особенное чудо! Дѣвушка влюбилась въ красиваго и, можетъ быть, хорошаго парня—тоже таинственность и загадка! Все это не стоитъ выѣденнаго яйца!.. Но что въ этомъ случаѣ дѣйствительно серьезно, дитя мое,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Юстинѣ,—такъ это то, что ты, можетъ быть, не знаешь хорошо той жизни, на которую рѣшаешься идти.

— Я узнала ее близко и хорошо, дядя...

— Погоди! А трудъ? Ты знаешь ли, какой тамъ трудъ тебя ждетъ?

На этотъ разъ она ужъ вышла изъ себя.

— Ахъ, дядя, — энергично возразила она, — да вѣдь именно отсутствіе труда и составляло отраву и стыдъ моей жизни до сихъ поръ! О, какъ я благодарна тому, который, предлагая мнѣ хоть низкую, но собственную кровлю, вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ не только удовлетвореніе моему сердцу, но и занятіе для рукъ и мысли, жизненную задачу, возможность кому-нибудь помочь, трудиться и для себя, и для другихъ!

Глаза Бенедикта смягчились, прояснились и все теплѣе глядѣли на лицо племянницы. Но онъ все еще нерѣшительно проговорилъ:

— Ну... а съ этимъ умственнымъ несоотвѣтствіемъ какъ же будетъ?

— Его не существуетъ, дядя; кто бы нашелъ это несоотвѣтствіе, тотъ судилъ бы только по внѣшнему виду. Я не ученая и не артистка; никакими выдающимися способностями или талантами я не обладаю, но имѣю настолько разсудительности, чтобы сознавать и видѣть это. Изъ того, что я знаю, я безъ сожалѣнія отброшу тѣ мелочи, которыя ни мнѣ, да, кажется, и никому не принесли бы никакой пользы; а если изъ того свѣта, которымъ я обладаю благодаря тебѣ, дядя, у меня останется немного болѣе того, чѣмъ онъ... чѣмъ они обладаютъ...

Волненіе захватило ей голосъ, но она закончила съ высоко поднятой головой и сіяющими глазами:

— Съ какимъ счастьемъ внесу я этотъ свѣтъ въ ихъ среду!.. О, съ какимъ счастьемъ буду я свѣтить имъ моей бѣдной маленькой лампой, чтобы имъ было хоть немного свѣтлѣе, виднѣе, веселѣе!

Бенедиктъ всталъ, покручивая усъ вверхъ.

— Всѣ вы, молодые, пляшете теперь подъ одну дудку! Но,—прибавилъ онъ,—вы правы, нечего говорить, вы правы!

Пани Эмилія почувствовала колотье въ лопаткахъ, въ боку, въ груди и у нея едва хватило силы, чтобы простонать:

— Тереня! Помоги мнѣ подняться, Тереня!

Тереза поспѣшно помогла ей подняться съ кресла и повела ее къ дверямъ.

Первый разъ въ жизни Кирло не сдѣлалъ ни малѣйшаго движенія, чтобы поспѣшить на помощь ослабѣвшей и почувствовавшей себя дурно хозяйкѣ. Точно окаменѣвшій и прикованный къ стулу, сидѣлъ онъ съ раскрытымъ ртомъ и осовѣлыми глазами. Онъ не понималъ того, что случилось, что говорили

вокругъ него,—просто не понималъ. Онъ не могъ ни удивляться, ни сердиться, ни возмущаться, потому что всѣ мысли разбѣжались изъ его головы, кромѣ одной, упорно вертѣвшейся.

— Теось Ружицъ получилъ отказъ ... онъ, Ружицъ, обладатель Воловщизны, племянникъ княгини, получилъ отказъ!

Онъ пошевелилъ губами и тихо произнесъ:

— Теось получилъ отказъ!.

Какъ автоматъ, всталъ онъ со стула и со шляпой въ опущенной рукѣ, съ открытымъ ртомъ и съ осовѣвшимъ взглядомъ, шелъ чрезъ залу. Отворяя дверь въ будуаръ пани Эмиліи, онъ снова повторилъ:

— Теось получилъ отказъ ...

Въ залу въ это время шумно вбѣжалъ Витольдъ. За нѣсколько минутъ передъ тѣмъ Леоня, потихонечку и незамѣтно выпорхнувшая изъ отцовскаго кабинета, пробѣжала по залѣ, прощебетала нѣсколько словъ Сигизмунду, сидѣвшему тамъ у стола и просматривавшему старыя иллюстраціи и альбомы и, сбѣжавъ съ крыльца въ садъ, начала звать во все горло:

— Витя! Витя!

Все, что она подслушала, притаившись въ уголкѣ кабинета, она разсказала брату и, выполнивъ здѣсь свою задачу, порхнула наверхъ къ Мартѣ.

Витольдъ же, выслушавъ сестру, бѣгомъ бросился въ домъ, минуя Сигизмунда, въ остолбенѣніи стоявшаго посреди залы, ворвался въ кабинетъ и схватилъ за обѣ руки Юстину.

— Юстинка, душечка, сестрица! Я немножко ожидалъ этого, но только немножко,—я думалъ, бушменка одержитъ въ тебѣ верхъ и не устоитъ предъ прекрасной татуировкой. Значитъ, ты рѣшилась осчастливить этого честнаго парня, сдѣлаться

работницей нашей дорогой земли, вносить свѣтъ въ среду своихъ братьевъ! Браво! Поздравляю и радуюсь!.. Ахъ, какъ я радъ!

И, обхвативъ ее за талію, онъ, смѣясь и цѣлуя ей руки, сдѣлалъ съ ней два тура вокругъ комнаты, но вдругъ какъ-то сталъ серьезенъ и, сильно сжимая руки кузины, дружески глянулъ ей въ глаза.

— Помни же, — сказалъ онъ, — что я для тебя братъ не только по крови, но и по духу. Мы будемъ и сотрудниками и помощниками одинъ другому... Считай меня братомъ и другомъ... оба считайте!

Бенедиктъ, глядя на волненіе сына съ той ясностью, которая въ послѣдніе дни такъ смягчала и разглаживала его лицо, улыбался.

— Комедіи, комедіи съ этой молодежью!—бормоталъ онъ въ длинные усы.—Воображаютъ, что весь міръ перевернутъ вверхъ дномъ и чудесъ надѣлаютъ... а!

Печаль заволокла ему глаза, онъ махнулъ рукою.

— Что-жъ, Юстинка, — спросилъ онъ, — это неизмѣнное твое рѣшеніе?

— Настолько неизмѣнное, — отвѣтила она, — что ничто въ мірѣ, даже твоя воля, дядя, не въ силахъ заставить измѣнить его!

Она наклонилась и цѣловала его руки; онъ прижималъ ея голову къ своей груди.

Тогда и пани Кирло поднялась со стула и хотѣла говорить, но этимъ движеніемъ она разбудила маленькую Броню, которая, подымаясь, запуталась въ тесемкахъ башмаковъ и растянулась на полу у ногъ матери; но это, очевидно, случалось съ ней довольно часто; она не издала ни малѣйшаго звука, поднялась на четвереньки, затѣмъ совсѣмъ встала на

ноги и, широко разводя своими обнаженными маленькими темными рученками, тихонько проговорила:

— Мама, домой!

Однако, пани Кирло, вся въ слезахъ и съ пылавшимъ лицомъ, не обращая никакого вниманія ни на непріятность постигшую Броньку, ни на ея желаніе, подошла къ Юстинѣ и взяла ее за руки.

— Жаль мнѣ, очень жаль моего бѣднаго и добраго кузена! — начала она, — но я не умѣю лгать; можетъ быть, ты поступила разсудительно ... сдѣлала хорошій выборъ .. можетъ, ты будешь счастлива ...

Она искренно поцѣловала ее.

— Когда ты уже будешь хозяйкой въ своей хатѣ, — тихо шептала она, — я отдамъ къ тебѣ свою Рузю ... въ твою хату отдамъ, чтобы она была тебѣ помощницей и ученицей твоей ... и училась и привыкала собственными руками работать около земли ...

Она улыбалась сквозь слезы.

— А, можетъ быть, ты современемъ найдешь тамъ для нея, какъ нашла для себя, какого-нибудь красиваго и честнаго парня.

Она хотѣла еще что-то шепнуть на ухо Юстинѣ, но почувствовала, что ее кто-то дергаетъ за платье. Маленькая Броня у ея ногъ протягивала къ ней свои смуглыя рученки и, глядя на нее своими черными, какъ уголь, глазами, серьезно повторила:

— Когда же я, мама, хочу домой!

Дѣйствительно, пани Кирло пора было домой, гдѣ ее ожидали разныя занятія и заботы; притомъ же она должна была еще сегодня заѣхать хоть на минутку въ Воловщизну, а потому она отправилась съ Витольдомъ искать свою команду.

Бенедиктъ крикнулъ вслѣдъ уходившему сыну:

— Скажи тамъ кому-нибудь, Витя, чтобы попросили ко мнѣ Марту.

Онъ обернулся къ Юстинѣ:

— Ты уже говорила объ этомъ отцу?

У нея еще не было времени сдѣлать это, потому что Ожельскій вставалъ поздно и долго завтракалъ въ своей комнатѣ, а когда онъ былъ занятъ ѣдой, тогда съ нимъ ни о чемъ нельзя было разговаривать.

— Пойди же къ нему теперь и скажи... все-жъ-таки отецъ! а я долженъ поговорить съ Мартой и разспросить ее.

Юстина прошла чрезъ пустую столовую и, направляясь уже къ лѣстницѣ, вдругъ услыхала позади себя свое имя. Она обернулась и увидѣла Сигизмунда, стоящаго у стѣны съ замѣтно поблѣднѣвшимъ и испуганнымъ лицомъ.

— Чего ты хочешь, кузенъ? — спросила она.

— Минутку разговора съ тобой! ради всего, что для тебя дорого, одной минутки разговора прошу я у тебя!

— Съ удовольствіемъ! — отвѣтила она съ вѣжливымъ равнодушіемъ и подошла къ нему ближе.

— Кузина, правда ли это... правда ли, что ты отказала Ружицу и выходишь за какого то... какого то... que sais-je? мелкопомѣстнаго?.. мужика?

— Правда, — отвѣтила она спокойно.

— Великій Боже! такой мезальянсъ... сдѣлать подобный мезальянсъ, — это значитъ, рѣшиться на вѣчную рознь во вкусахъ и мысли! Знаешь? это значитъ, поступить безнравственно!

Она быстро, съ нескрываемой насмѣшкой посмотрѣла ему въ лицо.

— Слухъ ли меня обманываетъ, или ты дѣйствительно заботишься, кузенъ, о нравственности и гармоніи вкусовъ въ супружествѣ?

Онъ немного смутился, но испугъ и волненіе не покидали его лица и всей фигуры. Онъ былъ одѣтъ, какъ всегда, по послѣдней модѣ, но въ эту минуту онъ утратилъ значительную долю этого изящества и корректности. Юстина хотѣла уйти; онъ схватилъ ее за руку, которую она сейчасъ же вырвала у него.

— Что же еще? — холодно спросила она.

— А то, — закричалъ онъ, — что я въ совершенствѣ отгадываю тотъ мотивъ, подъ вліяніемъ котораго ты рѣшилась на этотъ безумный шагъ. Я понимаю ... ты хочешь воздвигнуть непреодолимую стѣну между собой и прежнимъ воспоминаніемъ ... прежнимъ чувствомъ ... и мной! Если бы ты вышла за Ружица, то мы принадлежали бы къ одному кругу, должны были бы встрѣчаться ... видѣться .. а поэтому ты скрываешься въ другую сферу .. смѣшиваешься съ толпой для того лишь, чтобъ умереть для меня ... чтобъ я умеръ для тебя.

Она смотрѣла на него широко раскрытыми глазами, не понявъ сразу значенія его словъ, а потомъ какъ бы не довѣряя собственнымъ ушамъ.

Онъ былъ внѣ себя отъ искренняго ужаса и въ этомъ возбужденномъ состояніи, казалось, даже измѣнялъ своему темпераменту и обычнымъ манерамъ. Онъ схватился за голову.

— Не дѣлай этого! заклинаю тебя! Не губи себя и не обременяй моей совѣсти такой страшной тяжестью. Я всегда видѣлъ бы тебя предъ собой, будто призракъ убитаго мною человѣческаго существа! Сжалься надо мной и надъ собой! Я тебѣ обѣщаю удалиться, избѣгать тебя и никогда ни ма-

лѣйшимъ образомъ не подвергать тебя борьбѣ съ самой собой, которая должна быть ужасной, если привела тебя къ подобному отчаянному шагу!

Теперь только она поняла и повѣрила своимъ ушамъ; она тщетно старалась удержаться отъ громкаго хохота, но лицо ея дрогнуло и, наконецъ, она разразилась неудержимымъ, звучнымъ, серебристымъ смѣхомъ. Это былъ смѣхъ, вырвавшійся изъ глубины молодой груди и счастливой души, настолько счастливой, что всякій пустякъ могъ вызвать въ ней почти дѣтское веселье. Съ этимъ смѣхомъ, точно съ жемчужной неудержимой гаммой, она отвернулась отъ него, пробѣжала черезъ сѣни и быстро стала подыматься по лѣстницѣ. Она уже скрылась за поворотомъ лѣстницы, но смѣхъ ея все еще слышался въ сѣняхъ, хотя уже слившійся съ шаловливо звучавшими то staccato, то allegro звуками скрипки.

Сигизмундъ выпрямился, полуоткрылъ ротъ, окинулъ, уже начинающимъ входить у него въ привычку, взоромъ свою округляющуюся фигуру и пробормоталъ сквозь зубы:

— Какая вульгарность!

Въ небольшой комнатѣ, между кроватью съ разбросанной въ безпорядкѣ постелью и столомъ, покрытымъ приборомъ для бритья и туалетными принадлежностями, Ожельскій въ цвѣтномъ халатѣ игралъ на скрипкѣ. Окно было раскрыто; голубые глаза играющаго скользили по виднѣвшимся въ него верхушкамъ деревьевъ; онъ улыбался, поднимался на пальцахъ и, казалось, уносился въ высоту вмѣстѣ съ волнами звуковъ; врывавшійся въ окно вѣтерокъ шевелилъ и подымалъ надъ головой его бѣлые какъ молоко волосы.

Юстина, въ глазахъ которой еще свѣтился смѣхъ, только что утихшій въ ея груди, съ горячимъ румянцемъ на лицѣ подошла къ погрузившемуся въ музыку отцу.

— Отецъ, — сказала она, — я должна поговорить съ вами о чемъ-то очень важномъ какъ для себя, такъ и для васъ.

Не переставая играть, онъ разсѣянно посмотрѣлъ на нее.

— Что тамъ такое? ага! зчаю... панъ Ружицъ... но подожди, пусть я сперва, того... серенаду окончу!..

Юстина въ ожиданіи усѣлась у окна; звуки серенады то staccato, то allegro, то andantissimo, долго еще раздавались въ комнатѣ. Наконецъ, онъ окончилъ, чмокнувъ губами и, цѣлуя кончикъ смычка, блаженно улыбнулся:

— А что?.. цаца того... серенадочка!

Между тѣмъ, вскорѣ послѣ ухода Юстины изъ кабинета, черезъ боковую дверь туда тихо проскользнула Марта. Она не вошла по своему обыкновенію громко, со стукомъ и шумомъ, а скорѣе какъ-то проскользнула удивительно тихо, смущенная, накрывшись темнымъ платкомъ.

— Ты присылалъ за мной, Бенедиктъ, а я и сама собиралась къ тебѣ итти, потому что у меня есть большая просьба къ тебѣ... только я не знаю... честное слово, какъ это сказать...

— Что-жъ, можетъ быть, и ты обручилась съ какимъ-нибудь красивымъ парнемъ? — пошутилъ Бенедиктъ.

Она махнула рукой и присѣла противъ него на краю стула.

— Ну, я уже не настолько глупа, чтобы думать о подобныхъ вещахъ... отвѣтила она удивительно

тихо и покорно; — но видишь ли ... Юстинка выходитъ замужъ, и если ты согласишься... позволишь, то я при ней... въ ея... въ ихъ хатѣ буду жить...

— Что? что? — вскричалъ Бенедиктъ.

— Честное слово, мнѣ очень хочется поселиться съ ними, — продолжала она, опустивъ глаза и сложивъ руки на колѣняхъ, — даромъ хлѣба ѣсть я у нихъ не буду, потому что и опытъ по хозяйству у меня есть, и силъ еще много ... имъ, моимъ голубкамъ, пригодятся мои руки, а, можетъ быть, и голова тоже немножко ... а здѣсь я не нужна ... вѣчное горе! не нужна никому, никому, никому ...

— Какъ это, не нужна? Что ты такое выдумываешь? — началъ горячиться Бенедиктъ.

Она трясла головой съ высокимъ гребнемъ и твердила:

— А не нужна! Что же, дѣти выросли ... женѣ твоей я никогда не могла ни понравиться, ни угодить ничѣмъ ... а что касается хозяйства — большая важность, возьмешь экономку на мое мѣсто ... Юстинка же сочувствуетъ мнѣ, любитъ ... она всегда больше всѣхъ любила меня ... притомъ же и тѣхъ людей къ которымъ она идетъ ...

Она запнулась и провела пальцемъ по влажнымъ рѣсницамъ.

— Этихъ людей я тоже знала когда-то ... любила ... сама судьба толкала меня къ нимъ ... но я не пошла ... за то теперь пойду, потружусь немного съ ними, а потомъ, вѣрно, ужъ недолго ждать, они сколотятъ для меня четыре доски и сами отнесутъ на кладбище ... вотъ чего мнѣ хочется ... Юстинка и Янекъ рѣшили повѣнчаться черезъ два мѣсяца ... за это время ты, Бенедиктъ, пріищешь себѣ экономку. Уфъ! не могу!

Она поперхнулась и закашлялась.

Бенедиктъ смотрѣлъ, слушалъ и, наконецъ, разразился:

— Фантазія! скоро, кажется, весь Корчинъ переселится въ Богатыровичи!.. ну, — прибавилъ онъ съ улыбкою, — развѣ ужъ только моя жена и панна Тереза не пойдутъ туда!

Онъ всталъ и обернулся къ Мартѣ:

— Что ты только болтаешь? Что за глупость пришла тебѣ въ голову! Ты здѣсь не нужна! Боже милостивый! Да вѣдь мы съ тобой двадцать съ лишнимъ лѣтъ работаемъ вдвоемъ! только насъ двое и работало здѣсь! Не нужна! Да что же бы я подѣлалъ, если бы у меня не было тебя? Вѣдь я не только своему, но и твоему труду обязанъ тѣмъ, что удержался въ Корчинѣ! Честная, трудолюбивая, хорошая хозяйка, привязанная къ дому и хозяйству женщина — шутка развѣ? Не нужна! Да вѣдь ты моихъ дѣтей на своихъ рукахъ выняньчила и выростила! Ты ихъ, какъ мать и ... за мать ... любила и баловала! Витольдъ многимъ обязанъ тебѣ, потому что ты посѣяла у него въ сердцѣ любовь къ добру и человѣчеству ... я самъ всегда считалъ тебя другомъ и искренно любилъ тебя, только, видишь ли, заботы и всякія несчастія сдѣлали меня такимъ угрюмымъ и печальнымъ, что у меня и охоты никакой не было высказывать то, что я чувствовалъ. Но я до самой смерти буду тебѣ благодаренъ и не отпущу тебя отъ себя, какъ ты себѣ хочешь, а не пущу ... Фантазія! она не нужна! Всю жизнь работала, какъ волъ, и вдругъ не нужна! Ее никто не любитъ здѣсь! А я? Мы выросли вмѣстѣ, работали вмѣстѣ ...

Онъ широкими шагами ходилъ по комнатѣ, дергая внизъ усы и размахивая руками. Марта подняла

на него свои черные, быстрые, огненные глаза, полные удивленія, трогательной нѣжности и радости.

— Голубчикъ! — вскрикнула она, — и ты дѣйствительно думаешь такъ, какъ говоришь? ты говоришь это не изъ жалости къ старой родственницѣ, не изъ вѣжливости?

— Но Ей Богу же! — крикнулъ Бенедиктъ, — опомнись, сама подумай!

— Боже мой, Боже! — закричала она, срываясь со стула съ обычною въ ней порывистостью и, припавъ къ Бенедикту, схватила его руки. Голубчикъ мой, братикъ мой! какъ же ты осчастливилъ меня! Вѣчная потѣха!.. А я думала, что я старая рухлядь, никому здѣсь ненужная и всѣмъ надоѣвшая! Потому что ты не имѣешь понятія, что это значитъ, прожить всю жизнь, не имѣя любящаго сердца, безъ добраго слова. Вѣчная печаль меня грызла, — такая тоска, такое уныніе, что иногда предпочла бы лучше въ могилѣ гнить! Какъ я ни старалась образумить себя, но все-таки меня постоянно томила жажда, чтобы какая-нибудь близкая душа была искренно расположена ко мнѣ, чтобы я могла сдѣлать хоть кого-нибудь счастливымъ! Я хотѣла попробовать тамъ ... но теперь уже не хочу ... честное слово не хочу, не пойду ... Вѣчный смѣхъ! съ какой же стати уйду я отсюда, если я тебѣ нужна и если ты, меня любишь, какъ братъ сестру?.. Ой, голубчикъ мой, какъ ты меня утѣшилъ, какъ осчастливилъ! Вѣчная потѣха!

Она жалась къ нему, цѣловала его плечи и, наконецъ, такъ закашлялась, что только черезъ нѣсколько минутъ могла снова заговорить.

А теперь, — начала она, успокоившись, — теперь, братецъ, ты долженъ мнѣ разрѣшить взять дня на

два пару лошадей... въ городъ поѣду, къ доктору... Я должна полечиться, чтобы имѣть силы какъ можно дольше служить тебѣ. Года три тому назадъ я простудилась, укладывая въ погребѣ овощи на зиму, но не обращала вниманія на это... „Къ чему я буду лечиться? зачѣмъ? вѣчное горе!“ думала я и никому не хотѣла причинять хлопотъ... Иногда мнѣ бывало очень скверно, но я скрывала отъ тебя, какъ смертельный грѣхъ... „Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!“ думала я,—но теперь дѣло другое. Если я тебѣ нужна, если ты любишь меня и уважаешь, то я должна лечиться... чтобы какъ можно дольше служить тебѣ, а, можетъ быть, еще и... уфъ! не могу!

Она смѣялась и кашляла.

— А, можетъ, еще и на свадьбѣ твоихъ дѣтей потанцовать! Вѣчный смѣхъ! Вѣчный смѣхъ!

Бенедиктъ ласково цѣловалъ ее въ голову и лобъ.

— Успокойся, — сказалъ онъ,—садись и говори мнѣ все, что ты знаешь о Богатыровичахъ вообще, а объ этомъ женихѣ Юстинки въ особенности. Я ея опекунъ и, хотя она дѣвушка совершеннолѣтняя, энергичная и неглупая, но все-жъ-таки я не могу давать свое согласіе на вѣтеръ. Витольду я не слишкомъ довѣряю, потому что онъ смотритъ на все сквозь розовые очки, но я знаю, что ты всегда интересовалась этими людьми, теперь у нихъ на свадьбѣ была, видѣла, слышала,—говори же мнѣ все, что ты знаешь о нихъ.

Эта просьба снова осчастливила Марту, такъ какъ служила доказательствомъ того, что она была на что-то нужна, что родственникъ довѣряетъ ей и вѣритъ въ ея здравый смыслъ.

А потому она тихонько усѣлась на стулѣ и сосредоточенно, съ раздумьемъ, долго говорила, раз-

сказывала. Она еще не окончила говорить и разсказывать, какъ въ столовой послышались поспѣшные шаги, а затѣмъ въ дверяхъ кабинета появился Ожельскій. Онъ былъ въ халатѣ, опоясанномъ шнуркомъ, и въ рукахъ держалъ смычокъ. Его румяное, всегда добродушное лицо выражало теперь гнѣвъ и возмущеніе.

— Милостивый государь,—закричалъ онъ съ порога,—это того.. глупость, на которую вы, вѣрно, не дадите своего согласія! Вы, милостивый государь, опекунъ Юстины, и я не ожидалъ, чтобы дочь моя могла подвергнуться въ вашемъ домѣ подобному того.. безчестію.

Онъ громко сопѣлъ и, гордо выпрямляя свою круглую фигуру, поднялъ смычокъ вверхъ.

Тутъ нѣтъ никакого безчестья для Юстинки — началъ Бенедиктъ, вставая.—Она дѣвушка совершеннолѣтняя, имѣетъ свою собственную волю и выйдетъ, за кого захочетъ.

— Выйдетъ за того... а пану Ружицу, барину въ полномъ смыслѣ этого слова, отказала! А я, милостивый государь, я... то... что буду дѣлать? Развѣ я могу пойти съ нею въ э... э... эту простую избу? Я, милостивый государь, то... т... того... не привыкъ... тамъ, вѣрно, даже фортепьяно негдѣ поставить... меня тамъ то... то... того... съ голоду уморятъ!

Слезы застилали ему глаза и, перейдя отъ гнѣва къ печали, онъ почти всхлипывалъ. Бенедиктъ положилъ ему руку на плечо и, нахмуря лобъ, спокойно проговорилъ съ выраженіемъ брезгливости на губахъ:

— Будьте покойны; какъ до сихъ поръ вы жили въ Корчинѣ, такъ и послѣ будетъ тоже самое. Ра-

зумѣется, вы не могли бы тамъ ужиться, но я съ величайшимъ удовольствіемъ предоставляю къ вашимъ услугамъ мой домъ. Впрочемъ, вѣдь у меня остаются еще ваши деньги, которыя я буду въ состояніи выплачивать Юстинкѣ только по частямъ.

Ожельскій съ жадностью выслушалъ это и значительно успокоился.

— Но, видите ли, все же это какъ-то не того... чтобы благородная дѣвушка дѣлала подобный мезальянсъ...

Бенедиктъ на минуту задумался.

— Милый мой— отвѣтилъ онъ,—вспомните свою собственную молодость... Можетъ быть, Юстинка будетъ счастливѣе въ этомъ мезальянсѣ, чѣмъ моя двоюродная сестра была въ бракѣ съ вами... вполнѣ, впрочемъ, подходящемъ.

Ожельскій раскрылъ слегка ротъ и смутился. Какое-то воспоминаніе проснулось въ немъ и немного всколыхнуло его.

Сердце, милостивый государь... началъ онъ,— сердце не... того... не слуга. Если съ моей стороны и были какія-нибудь... того... то виною этому... того... сердце!

— Ну,—прервалъ Бенедиктъ,—не будемъ говорить о прошломъ, а относительно будущаго можете быть покойны. Ступайте наверхъ, играйте тамъ свои сонаты и серенады, а Марта сейчасъ пошлетъ вамъ туда завтракъ.

Ожельскій минутку подумалъ и взглянулъ на смычокъ.

— Ну, если такъ,—началъ онъ,—то пусть ужъ Юстинка себѣ... того... но все-таки какъ-то неприлично, чтобы благородная дѣвица за какого-то тамъ... того... то... неприлично!.. неприлично!...

И онъ ушелъ, все еще покачивая головой и повторяя послѣднее выраженіе, но вполнѣ уже успокоенный.

Бенедиктъ долго еще говорилъ съ Мартой и Витольдомъ, который проводилъ и усадилъ въ бричку пани Кирло съ ея командой и, попрощавшись съ ними, поспѣшно возвратился къ отцу.

Затѣмъ, услыхавъ, что въ столовой накрываютъ къ обѣду, Бенедиктъ попросилъ Марту, чтобы она подождала съ обѣдомъ часа два, а Витольду приказалъ позвать Юстину.

Она прибѣжала встревоженная. Она боялась спора и размолвки съ дядей.

— Пойдемъ!—сказалъ ей Бенедиктъ, надѣлъ соломенную шляпу и подалъ ей руку.

Она догадалась, куда онъ хочетъ идти съ ней, и съ крикомъ радости бросилась къ его рукамъ.

Они пошли дорогой, тянувшейся бѣлой полосой вдоль полинявшаго ковра полей. Бѣлыя облака покрывали небо; подъ ними летали стаи ласточекъ и кое-гдѣ колыхались ястреба. Въ воздухѣ стояла холодная, грустная, мягкая тишина осени.

Бенедиктъ съ Юстиной вошли въ усадьбу Анзельма и Яна и быстро прошли черезъ садъ по дорогѣ, на которой теперь сохла трава и желтѣли вянущіе цвѣты бѣлой кашки; вспугнутая ими черно-бѣлая сорока, сидѣвшая на сапѣжанкѣ, громко застрекотала, за плетнемъ запѣлъ пѣтухъ, а желтый Муцикъ съ громкимъ лаемъ выбѣжалъ имъ на встрѣчу со двора; но Юстина погладила его, и песъ прижался своей лисьей мордочкой къ ея платью и весело замахалъ пушистымъ хвостомъ, съ любовью глядя ей въ глаза.

Потомъ ихъ замѣтилъ высокій, ловкій, золотоволосый парень, косившій отросшую траву въ глубинѣ

сада, около воротъ двора. Онъ замѣтилъ ихъ, и сразу вся кровь сбѣжала у него со щекъ; остолбенѣвъ отъ тревоги, онъ сейчасъ же догадался, что обозначаетъ это появленіе Юстины вмѣстѣ съ дядей. Неописуемая радость молніей сверкнула у него изъ глазъ; коса, блеснувъ, со звономъ вывалилась у него изъ рукъ на траву. Онъ нѣсколькими прыжками очутился передъ Бенедиктомъ, опустился на колѣни и прильнулъ горячими губами къ его рукѣ. Бенедиктъ, однако, глядѣлъ не на него, а на Анзельма, который, стоя въ длинномъ кафтанѣ подъ вырѣзаннымъ грубыми завитушками навѣсомъ крылечка, слегка сгорбившись, медленнымъ движеніемъ подымалъ руку къ большой бараньей шапкѣ.

Глаза обоихъ этихъ людей встрѣтились; нѣкоторое время они молча глядѣли другъ на друга. Наконецъ, Бенедиктъ положилъ руку на склонившуюся предъ нимъ голову Яна и проговорилъ тономъ вопроса:

— Сынъ Юрія?

Анзельмъ выпрямился и открылъ голову. Снопъ морщинъ, лежавшій у него между бровями, разбѣжался по всему лбу и даже по вискамъ тонкими и длинными нитями, точно косыми лучами. Онъ приподнялъ немного руку съ большой шапкой, указалъ ею на занѣманскій боръ и, немного заикаясь, отвѣчалъ.

— Того са... самаго, который спитъ въ одной могилѣ съ вашимъ братомъ!

КОНЕЦЪ.

Каталогъ изданій

Книгоиздательскаго Товарищества

„ПРОСВѢЩЕНІЕ“.

С.-Петербургъ, Забалканскій пр., с. д. № 75.

Сочиненія справочнаго характера.

	Р.	К.
Большая Энциклопедія. [4] Словарь общедост. свѣдѣній по всѣмъ отрасл. знанія, подъ общ. редакц. *С. Н. Южакова.* 10,000 рис., картъ и план. въ текстѣ и на 1000 отд. прил. — 220 в. по 50 к. или 22 т. въ роск. полукож. перепл. по 6 руб.	132	—
Географическій атласъ. 84 л. картъ и 16 л. плановъ городовъ въ 8°. — 15 в. по 40 к., въ роск. полукож. перепл.	7	80

Изящная литература.

Всемірная библіотека. Собр. соч. лучш. иностр. и русскихъ писателей.

	Р	К.
Крыловъ, И. А. [1. 10] Редакція *В. В. Каллаша.* Худож. прил. — 4 т. по 75 к. въ изящн. кол. перепл.	5	—
Пушкинъ, А. С. [4. 8. 10] Редакція *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша.* 30 худож. прил. — 8 т. 7 р. 50 к., въ изящн. кол. перепл.	9	—
Кольцовъ, А. В. Редакція *А. И. Введенскаго.* 1 томъ. Цѣна 1 руб., въ изящн. кол. перепл.	1	50
Лермонтовъ, М. Ю. [4. 8. 10] Редакц. *А. И. Введенскаго.* 15 худож. прил. — 4 т. по 75 к., въ изящн. кол. перепл.	5	—
Гоголь, Н. В. Редакція *В. В. Каллаша.* 36 худож. прил. — 9 т. 9 р., въ изящн. кол. пер.	13	50
Танъ В. Г. Съ портретомъ автора. 10 том. 10 руб., въ изящн. коленкор. перепл.	15	—
Ольга Шапиръ. Съ портретомъ автора. 10 том. Цѣна 15 руб., въ перепл.	20	—
Максимовъ, С. В. Со вступительной статьей *П. В. Быкова.* 20 томовъ 20 руб., въ изящн. кол. перепл.	30	—
Помяловскій, Н. Г. [8. 10] Портр. и біогр. автора, составл. *Н. А. Благовѣщенскимъ. 10-е изданіе.* — 2 т. 3 р., въ изящн. кол. перепл.	4	—
Островскій, А. Н. [4. 8. 10] Ред. *М. И. Писарева.* Факсимиле, портреты автора и др. худож. прил. — 12 т. 19 р. 20 к., въ изящн. кол. перепл.	25	20
Потѣхинъ, А. А. [4. 8. 10] Ред. *автора.* Портр. и факсимиле его. — 12 т. 12 р., въ изящн. кол. пер.	18	—

Подробные иллюстрирован. каталоги высылаются, по требованію, безплатно.

	Р.	К.
Невѣжинъ, П. М. Съ портрет. и факсимиле автора 12 том. 18 руб., въ изящн. перепл. . .	24	—
Аксаковъ, С. Т. Редакція *А. Г. Горнфельда.* Портреты и худ. прил. 6 т. 6 р., въ изящн. пер.	9	—
Н. Я. Соловьевъ. Съ портр. автора. 2 т. по 1 р. 25 к., въ перепл.	3	50
Чарльзъ Диккенсъ. Пер. съ англ., со вступ. статьей *Д. П. Сильчевскаго.* 30 том. по 75 к., въ пер.	37	50
Георгъ Брандесъ. Перев. съ датск. *М. В. Лучицкой.* 20 том. по 75 коп., въ перепл.	25	—
Элиза Оржешко. Перев. съ польск., подъ ред. *С. С. Зелинскаго.* 12 том. по 75 коп., въ перепл.	15	—
Гюи де-Мопасанъ. Переводъ съ франц., со вступ. стат. *З. А. Венгеровой.* 15 т. 15 р., въ пер.	22	50
Эдгаръ По. Перев. съ англ., съ критико-біограф. очерк. *М. А. Энгельгардта.* 3 т. 3 руб., въ пер.	4	50
Эмиль Зола. Перев. съ франц., подъ ред. и со вступит. статьями *Е. В. Аничкова* и *Ѳ. Д. Батюшкова.* 30 т. по 1 р. 50 к., въ перепл.	60	—
Театръ Еврипида. Стихотворный переводъ съ греческ., съ введеніемъ и объяснит. статьями *И. Ѳ. Анненскаго.* 1 т. 6 р., въ изящн. перепл.	7	25
Современная библіотека.		
Стихотворенія П. Я. (Якубовича-Мельшина). 2 т. I т. ц. 1 р. 50 к; II т. ц. 1 р. 25 к.	2	75
Дѣвушки. Сборн. разсказ. *В. А. Лазаревскаго* .	1	—
Колымскіе разсказы. Сборн. разск. *В. Г. Тана*	1	—
На туманъ. Сборн. разск. *В. Г. Тана*	1	—
Жертвы Дракона. Романъ *В. Г. Тана.* . .	—	80
Княжна. Романъ *А. В. Амфитеатрова*	1	50
Жаръ-цвѣтъ. Фант. ро[illegible]. *А. В. Амфитеатрова.*	1	50
Черныя маски. Пьеса *Леонида Андреева* . .	—	50
Анфиса. Пьеса *Леонида Андреева*	—	75
Братья Карамазовы. Романъ *Ѳ. М. Достоевскаго.* За 3 тома	3	—
Преступленіе и наказаніе. Ром. *Ѳ. М. Достоевскаго.* За 2 тома.	2	—
Изъ чужеземныхъ поэтовъ. Сборникъ стиховъ *К. Д. Бальмонта*	1	25
Цари Биржи. Романъ *Вас. И. Немировича-Данченко*	1	50
Стихотворенія. *Д. С. Мережковскаго*	1	50
Король биржи. Романъ *Э. Штильгебауэра* . .	1	25
Райскій уголокъ. Романъ *Э. Штильгебауэра.*	1	25
Каспаръ Гаузеръ. Романъ *Я. Вассермана.*	1	75
Восемь племенъ. Книга для юношества *В. Г. Тана,* съ 24 прилож. въ худож. обложкѣ	1	50

Подробные иллюстрирован. каталоги высылаются, по требованію, безплатно.

Соч. по исторіи, исторіи культуры, литературы и искусства.

	Р.	К.
Исторія человѣчества *(Всемірная исторія).* 4-7 Общ. ред. ***Г. Гельмольта.*** Пер. съ доп. изв. русск. ученыхъ. 260 прил. — 90 в. по 50 к., 9 т.	54	—
Исторія первобытной культуры. Соч. д-ра ***Г. Шурца.*** Пер. и доп. проф. *И. Н. Смирнова.* 15 в. по 50 к., въ перепл.	8	60
Исторія нѣмецкой литературы *съ древнѣйш. врем. до настоящ. времени.* 1-2-9 Соч. профф. ***Фр. Фогта*** и ***М. Коха.*** Пер. проф. *А. Л. Погодина.* 15 в. по 50 к., въ перепл. . . .	8	60
Какъ англичане критикуютъ свои государств. расходы. Соч. акад. ***Ив. Ив. Янжула.*** Цѣна 1 р. 25 к., въ роск. полук. пер.	1	75
Въ поискахъ лучшаго будущ. Соч. акад. ***Ив. Ив. Янжула.*** 2-ое изд. Ц. 3 р., въ изящн. пер.	3	75
Главныя теченія польской политич. мысли (1863—1907 гг.). Соч. проф. ***А. Л. Погодина.*** Цѣна 3 р., въ изящн. перепл. . .	3	75
Исторія искусства *всѣхъ временъ и народовъ.* 8 Соч. проф. ***К. Вермана.*** Пер. подъ ред. *А. И. Сомова.* 60 в. по 40 к. или 3 т. въ перепл.	27	—
Сокровища искусства. 100 геліогравюръ разм. 51×38,5 сант. — 25 в. по 3 р., въ худож. пер.	82	—

Сочиненія по естествознанію и медицинѣ.

	Р.	К.
Вселенная и человѣчество. 4. Сочин. проф. ***Г. Крэмера.*** Пер. подъ ред. проф. *А. С. Догеля.* 100 в. по 40 к. или 5 т. въ перепл. . .	55	—
Міросозданіе, *общедост. астрономія.* 3-4-5-10 Соч. д-ра ***В. Мейера.*** Пер. съ доп. и указ. по русск. астрон. л-рѣ проф. *С. П. Глазенапа.* 15 в. 7 р. 50 к., въ перепл.	8	60
Исторія земли. 1-2-4-6 Сочиненіе проф. ***М. Неймайра.*** Пер. съ дополн. по геолог. Россіи и указат. по русск. л-рѣ, подъ ред. проф. *А. А. Иностранцева.* 30 вып. 12 р. 80 к., въ 2 перепл. . .	15	—
Жизнь природы. Соч. д-ра ***Вильгельма Мейера.*** Пер. подъ ред. проф. *Н. А. Гезехуса.* 29 худож. прил. — 15 в. по 50 к., въ роскош. перепл.	8	60
Земля и жизнь. Соч. проф. ***Ф. Ратцеля.*** Пер. подъ ред. проф. *П. И. Кротова.* 400 рис. и 67 худ. прил. — 30 в. по 50 к. или 2 т. въ перепл.	17	—
Жизнь растеній. 1-4-6 Соч. проф. ***А. Кернера фонъ-Марилауна.*** Пер. съ дополн., подъ ред. проф. *И. П. Бородина.* 30 в. 12 р. 80 к. или 2 т. въ пер.	15	—
Происхожденіе животнаго міра. 4-5-6 Соч. проф. ***В. Гааке.*** Пер. подъ ред. проф. *Ю. Н. Вагнера.* 15 в. 6 р. въ перепл.	7	—
Жизнь животныхъ Брэма. 4-5-6-10 Перев. подъ ред. профф. ***А. С. Догеля*** и ***П. Ф. Лесгафта.*** 60 выпуск. по 35 коп., въ 3 перепл.	24	—

Подробные иллюстрирован. каталоги высылаются, по требованію, безплатно.

	Р.	К.
Человѣкъ. [1.4] Соч. проф. *І. Ранке.* Пер. подъ ред. проф. *Д. А. Коротневскаго.* 30 в. 12 р. или 2 т. въ перепл.	14	20
Народовѣдѣніе. [8.9] Соч. проф. *Фр. Ратцеля.* Пер. съ доп. проф. *Д. А. Коротневскаго.* 1103 рис. и 62 худ. прил. — 36 в. по 35 к. или 2 т. въ перепл.	15	—
Красота формъ въ природѣ. Соч. проф. *Э. Геккеля.* Пер. подъ ред. проф *А. С. Догеля.* 100 больш. табл. съ описс. текстомъ. — 20 в. по 1 р. и 1 дополн. вып. 50 к., въ изящн. перепл.	23	50
Африка. [8.10] Соч. проф. *В. Сиверса* и *Ф. Гана.* Пер. проф. *Д. А. Коротневскаго.* 15 в. по 50 к., въ перепл.	8	50
Азія. Соч. проф. *В. Сиверса.* Перев. подъ ред. проф. *А. Н. Краснова.* 15 вып. по 50 к., въ перепл.	8	50
Сѣверная Америка. Соч. д-ра *Э. Деверта.* Перев. проф. *А. Л. Погодина.* 14 вып. по 50 коп., въ перепл.	8	—
Южная и Средняя Америка. Соч. проф. *В. Сиверса.* Перев. проф *А. Л. Погодина.* 14 вып. по 50 коп. Въ роск. полукож. перепл.	8	—
Австралія, Океанія и Полярныя страны. Соч. профф. *В. Сиверса* и *В. Кюкенталя.* Пер. съ дополн. проф. *А. Н. Краснова.* 15 вып. по 50 к., въ перепл.	8	50
Европа. Соч. проф. *А. Филиппсона.* Пер. съ дополн. ст. о Россіи *В. П. Воронцова.* 15 вып. по 50 коп., въ перепл.	8	50
Книга о здоровомъ и больномъ человѣкѣ. [8.10] Соч. проф. *К. Э. Бока.* Пер. съ нѣм. Рис. и худ. прил. — 2 т. по 2 р., въ изящн. перепл	6	—
Новый способъ лѣченія. Сочин. *М. Платена.* Перев. подъ ред. д-ра мед. А. П. Зеленкова. Около 600 рис., 63 прил. — 4 т. въ роск. перепл.	25	—

Популярно-научные альбомы картинъ по естествознанію и географіи.

Альбомы картинъ: 1) по зоологіи млекопитающихъ. [1.6.10] Текстъ проф. *В. Маршалля.* Пер. *Г. Г. Якобсона* и *Н. Н. Зубовскаго,* съ пред. проф. *Ю. Н. Вагнера.* 258 рис. Въ перепл.	1	75
2) по зоол. птицъ. [1.4.6.10] Текстъ проф. *В. Маршалля.* Пер. *Г. Г. Якобсона* и *Н. Н. Зубовскаго,* съ пред. проф. *Ю. Н. Вагнера.* 238 рис. Въ изящн. кол. перепл.	1	75
3) по зоолог. рыбъ. [1.4.6.10] Текстъ проф. *В. Маршалля.* Пер. *Г. Г. Якобсона* и *Н. Н. Зубовскаго.* 208 рис. Въ перепл.	1	75
4) по зоол. низшихъ животныхъ [4.8.10] Текстъ проф *В. Маршалля.* Пер. *Г. Г. Якобсона.* 292 рис. Въ изящн. кол. перепл	1	75
5) по географіи растеній. [8.10] Текстъ д-ра		

Подробные иллюстрированн каталоги высылаются, по требованію, безплатно.

	Р.	К.
М. Кронфельда. Пер. прив.-доц. *А. Г. Генкеля.* 216 рис. Въ изящн. кол. перепл.	1	75
6) по географіи Европы. 5. 6. 7. 10 Текстъ д-ра *А. Гейстбека.* Пер. съ доп. *А. П. Нечаева,* съ пред. *Д. А. Коропчевскаго.* 233 рис. Въ изящн. кол. перепл.	1	50
7) по географіи внѣевр. странъ. 5. 6. 7. 10 Текстъ д-ра *А. Гейстбека.* Пер. *А. П. Нечаева,* съ пред. проф. *Д. А. Коропчевскаго.* 325 рис. Въ изящн. кол. перепл.	1	75
Школьный атласъ картинъ изъ „Жизни животныхъ" Брэма. 8. 10 *Отд. зоол.* 55 табл. Большой альбомъ in folio въ папкѣ	1	75

Серія сочиненій „Промышленность и техника".

	Р.	К.
Исторія и современная техника строительнаго искусства. 8. 10 Пер. подъ ред. и съ дополн. проф. *В. В. Эвальда.* 900 рис. и 14 прил. — 10 в. по 50 к., въ полук. перепл.	6	—
Силы природы и ихъ примѣненія. 6. 8. 10 Пер. подъ ред. проф. *Н. А. Гезехуса.* 1000 рис. и 3 прил. — 10 в. по 50 к., въ полукож. перепл.	6	—
Электричество, его добываніе и примѣненія въ промышленности и техникѣ. 9 Пер. подъ ред. и съ дополнен. проф. *В. В. Скобельцына.* 900 рис. и 13 прил. — 10 в. по 50 к., въ полукож. перепл.	6	—
Сельское хозяйство и обработка важнѣйшихъ его продуктовъ. Перев. подъ ред. и съ дополн. профф. *В. Я. Добровлянскаго* и *А. В. Ключарева* и др. 629 рис. и 9 прил. — 10 вып. по 50 коп., въ полукож. перепл.	6	—
Горное дѣло и металлургія. 6 Пер. съ дополн. подъ ред. профф. *И. В. Мушкетова* и *В. И. Баумана.* 600 рис. и 12 прил. — 10 в. по 50 к., въ полукож. перепл.	6	—
Технологія металловъ. 8. 9. 10 Пер. съ дополн. подъ ред. проф. *А. Н. Митинскаго.* 1600 рис. и 6 прил. — 10 в. по 50 к., въ полукож. перепл.	6	—
Обработка камней и земель и технологія химическ. производствъ. 8. 10 Переводъ подъ ред. проф. *В. В. Эвальда.* 600 рис. и 3 прил. — 10 вып. по 50 к., въ полук. перепл.	6	—
Обработка волокнистыхъ веществъ. Пер. съ доп. подъ ред. проф. *С. А. Ганешина.* 680 рис., 5 прил. — 10 в. по 50 к., въ полук. перепл.	6	—
Пути сообщенія. Пер. подъ ред. проф. *Н. Н. Митинскаго.* 764 рис. и 14 прил. — 10 в. по 50 к., въ полукож. перепл.	6	—

Подробные иллюстрирован. каталоги высылаются по требованію, безплатно.

	Р.	К.
Міровыя сношенія и ихъ средства. Пер. подъ ред. проф. ***Н. А. Гезехуса.*** 285 рис. и 3 прил. — 10 в. по 50 к., въ полукож. перепл. .	6	—

Маньчжурія. Соч. ***А. Домбровскаго и В. Ворошилова.*** Составл. по новѣйш. даннымъ. Приложенія (геогр. карта, русско-китайскій словарь и пр.). Цѣна 1 р. 60 к.

Сибирь и ея экономическая будущность. Соч. ***Кл. Оланьона,*** съ предисл. *Фр. Пасси.* 15 иллюстрир. прилож. Цѣна 2 руб., въ изящн. коленкор. пер. — 2 р. 50 к.

Жизнь бабочекъ.[1] Соч. проф. ***Штандфусса.*** Пер. и доп. подъ ред. *И. Я. Шевырева.* 200 рис. Цѣна въ изящн. коленкор. перепл. — 3 р. 25 к.

Очерки изъ прошлаго и настоящаго Японіи. Соч. ***Т. А. Богдановичъ.*** Составл. по новѣйш. источникамъ, съ прилож. текста японской конституціи. 440 стр., 25 худож. прил. Цѣна 1 р. 25 к., въ изящн. кол. пер. — 1 р. 75 к.

Японцы о Японіи. Статьи о Японіи, сост. выд. японск. дѣят. подъ ред. ***Стэда.*** Пер. съ англ., подъ ред. съ пред. и дополн. ***Д. И. Шрейдера.*** Цѣна 3 р. 75 коп., въ роскошн. переплетѣ — 5 руб.

Кройка женскаго и дѣтскаго платья по способу составленія патрона-слѣпка. Соч. ***Бержъ.*** Перев. съ франц. подъ ред. *Е. Н. Янжулъ.* 139 рис. Роскош. изданіе. Цѣна 2 руб.

„Законный" бракъ. *(Проблемы брака, материнства, школы.)* Сборникъ статей ***Архимандрита Михаила.*** Цѣна 60 коп.

---

[1] *Изданіе* ***рекомендовано*** *Уч. Ком-томъ М-ства Нар. Просв. для фунд. и учен., старш. возр., библ. средн. учебн. заведеній М-ства.*

[2] *Изданіе* ***рекомендовано*** *Уч. Ком-томъ Собств. Его Импер. Величества К-ріи для фунд. библ. средн. учебн. зав. В-ства учр. Имп. Маріи.*

[3] *Изданіе* ***рекомендовано*** *Уч. Ком-томъ М-ства Земл. и Гос. Им. для библ. подвѣд. М-ству учебн. зав-ній.*

[4] *Изданіе* ***рекомендовано*** *Гл. Упр-мъ военно-учебн. зав-ній въ библ. кад. корпусовъ.*

[5] *Изданіе* ***одобрено*** *Уч. Ком-томъ М-ства Народн. Пр. для фунд. и учен., старш. возр., библ. средн. учебн. зав., для безпл. учит. инст. и сем. и для безпл. нар. чит. и библ.*

[6] *Изданіе* ***одобрено*** *Уч. Ком-томъ М-ства Земл. и Гос. Им. для библ. подвѣд. М-ству учебн. зав-ній.*

[7] *Изданіе* ***одобрено*** *Учебн. Ком-томъ Собств. Его Импер. Величества К-ріи по учр. Имп. Маріи для учен. библ., ср. и старш. возр., ср. учебн. зав-ній и для библ. старш. возр. Маріинскихъ уч-щъ.*

[8] *Изданіе* ***допущено*** *Уч. Ком-томъ М-ства Нар. Просв. въ библ. средн. учебн. зав-ній и въ библ. учит. инст. и семин., а также въ учит. библ. гор. уч-щъ.*

[9] *Изданіе* ***допущено*** *Уч. Ком-томъ М-ства Земл. и Гос. Им. для библ. подвѣд. М-ству ср. учебн. зав-ній.*

[10] *Изданіе* ***допущено*** *Уч. Ком-томъ М-ства Нар. Просв. въ безпл. нар. чит. и библ.*

Подробные иллюстрирован. каталоги высылаются, по требованію, безплатно.

Типо-лит. Т-ва „Просвѣщеніе". Спб., Забалканскій пр., с. д. № 75.

